

**ВРЕМЯ
И МЫ** 146
2000



ЧТО ВЕК ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

ВРЕМЯ

**ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

И МЫ

Выходит один раз
в квартал

ИЗДАЕТСЯ С 1975 ГОДА

146
2000

**МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЯ И МЫ**

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ДМИТРИЙ БЫКОВ	ЛЕВ НАВЗОРОВ
<i>(зам. гл. редактора)</i>	ВОЛЬФГАН ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ДОБИН	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ЭДУАРД ШТЕЙН
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД <i>(зам. гл. редактора)</i>

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"
АДРЕС ФИЛИАЛА: 113303 МОСКВА,
УЛ. КАХОВКА, 6-26
ТЕЛ.: (095) 318-10-46
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ
ВЛАДИМИР КАПИАНИДЗЕ

Американское отделение журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Владимир Добин
Адрес отделения: Ha-avot Street 20-6,
Richon Le-Zion, 75323 ISRAEL
Тел.: 03-967-04-42

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Rezidence Lortlleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ГАЙД-ПАРК ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Что век грядущий нам готовит?.....	5
ПРОЗА	
<i>Борис ХАЗАНОВ</i> Праматерь.....	23
<i>Борис РАХМАНИН</i> Три рассказа.....	50
<i>Владимир ФРИДКИН</i> В России и за границей.....	99
ПОЭЗИЯ	
<i>Лариса МИЛЛЕР</i>	115
<i>Наум БАСОВСКИЙ</i> Былые мифы провозжая.....	129
<i>Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ</i> Мир - духа отраженный свет.....	136
<i>Ирина МАШИНСКАЯ</i> Ведь ты один, как никогда.....	144
СОВРЕМЕННЫЙ МИР	
<i>Дмитрий БЫКОВ</i> Антикоммунист.....	150
<i>Вадим ДУБНОВ</i> Этюд о евреях.....	168
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i> Русское нашествие и новый Израиль.....	176
<i>Рабби Адин ШТЕЙНЗАЛЬЦ</i> Кто мы: трагические актеры или самобытная нация?	188
ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, СВОБОДНЫЙ РЫНОК	
<i>Андрей НУЙКИН</i> Реквием по перестройке.....	194
<i>В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ</i> Предвыборный гамбит Бориса Ельцина.....	212
<i>Владимир ШЛЯПЕНТОХ</i> Россия и Моника Левински.....	226
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>Аркадий ЛЬВОВ</i> Разговоры с Симоновым.....	240
ВЕРНИСАЖ	
Пятое лицо Уинстона Черчилля.....	286
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ.....	296

В редакции журнала "Время и мы"

Утвердить заведующим Московского филиала журнала
"Время и мы" Члена Союза писателей Москвы
Владимира КАПИАНИДЗЕ

ЧТО ВЕК ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Новогодняя анкета редакции

Интернет в двадцать первом веке, семья и отношения между людьми, Будущее России, устройство мира и геополитика — с этими и другими вопросами перед наступлением нового двухтысячного года редакция обратилась к ряду авторов журнала «Время и мы». Ниже публикуются их размышления на эти темы.

Виктория ПЛАТОВА, писательница

Размышления «предмета из прошлого»

«...Я не трус: я готов стать предметом из прошлого,
если таков каприз времени...»
И. Бродский.

Однажды мне довелось листать толстенный альманах, вышедший в свет в России в 1900-м году. Он так и назывался: «19-й век» и содержал обзор всех наиболее значительных событий и явлений столетия во всех частях света. А несколько последних страниц альманаха были посвящены научным прогнозам и гипотезам, высказанным в веке истекшем относительно нового 20-го века. И вот там я прочла:

«В конце 19-го века ряд ученых высказал предположение, что в веке 20-м люди будут летать на луну. Нам это кажется столь же невероятным, как если бы кто-то стал утверждать, что в 20-м веке Россия будет не продавать, а покупать зерно.»

20-й век минувшего тысячелетия, едва начавшись, обрушил на человечество такой шквал научно-технического прогресса — при колоссальном отставании этически-нравственного совершенствования, — что все постигшие нас катастрофы и глобальные потрясения оказались так же неминуемы, как чума в эпоху средневековья.

Я безусловно верю в метафизическую связь научных открытий с нравственным миром индивидуума. Скажем, создание атомной бомбы — на первый взгляд, всего лишь оружия, которое может быть применено в военных действиях. Но даже не будучи применено — никогда больше! — оно одним своим существованием коренным образом изменило соотношения полов в цивилизованном мире. Феминистки искренне верят в то, что их упорная борьба за свои права привела к победе над сильным полом, но на деле это заслуга изобретенной и лишь однажды опробованной в войне атомной бомбы. В тот самый момент, когда она была создана, на свет появился первый ребенок, с первым своим криком вдохнувший в легкие воздух безнадежности. То есть, если все нравственные качества мужчины из века в век определялись и воспитывались прошедшей или предстоящей войной: патриотизм, личное мужество, надежность в дружбе, верность долгу, чувство ответственности — все это было в одночасье уничтожено, низведено до уровня ничего не значащих символов изобретением атомной бомбы. В предстоящей глобальной битве, независимо от того, возникнет она или нет, от мужчины ничего не требуется — ни личного мужества, ни ответственности за чью-либо жизнь. И он навсегда теряет свою роль ведущего и ответственного начала жизни.

Гомосексуализм становится единственным прибежищем, где он может еще чувствовать себя равноправным партнером. В новом тысячелетии ему предстоит потерять и ту последнюю функцию, которая придает ему еще какой-то уравнивающий его с женщиной смысл.

Семья в ее традиционном смысле останется уделом части общества, не пригодной для участия в создании и потреблении достижений технического прогресса. Удел этой части общества будет весьма незавиден, но именно ей

предстоит хранить и развивать духовные, моральные ценности человечества. Потому что именно в первом веке нового тысячелетия человечеству откроется и окончательно подтвердится история его возникновения на земле. Если уже сегодня достижения генной инженерии и биологии позволяют предположить возможность создания на земле абсолютно совершенного генотипа — творца высших технологий, а наличие космических кораблей допускает мысль, что и земляне способны избавить свою планету от ненужного им, отбракованного генетического фонда, — почему бы нам не представить свою планету, как такое же место сброса отбракованного генетического материала обитателями иной планеты, иной цивилизации в период ее наивысшего расцвета?

Этот генный мусор и послужил основой возникновения на земле жизни человека — жизни мятущейся и страждущей, с ее воспевателями и губителями, с безумством поэзии, томлением звуков, вечным непокоем души. И только время от времени непредсказуемая встреча на генетическом уровне позволяет где-то в Киеве появиться на свет человеку, спокойно и просто извлекающему в уме корень из четырех строчек цифр, и от него же родиться сыну, извлекающему в уме корень аж из восьми строчек цифр, что так же бесполезно, если только не служит объяснению нашего загадочного возникновения на земле.

Но именно мы, возникшие из отбракованного генного материала инопланетной цивилизации, мы, еще слагающие стихи, еще воспевающие любовь и славословящие природу, — мы именно есть и будем подлинные Земляне.

И, может быть, в грядущую эпоху противоестественного отбора у человечества возникнет потребность сберечь эти «предметы из прошлого» и тем самым избежать печальной участи тех инопланетных цивилизаций, что занесли на землю свой генетический мусор, но обрекли себя на бесследное исчезновение. И тогда наступит на земле новая эпоха «Нового Возрождения».

Валентин ЛЮБАРСКИЙ, врач

Назад к будущему

Каким, спрашиваете, видится мне будущее? Светлым видится. Тем самым, в которое все прогрессивные люди когда-то верили и в котором нынче все умные люди разуберились. Все гениальное, говорят, просто, и вывела меня к этому прозрению такая двухходовка: или будущего вообще не будет, или оно будет светлым. Точнее — разумным. «Все разумное действительно, все действительно разумно». Переводить только надо было «рациональное» вместо «разумное». Это существенно: «разумно» подразумевает этически правильное, а «рационально» — только функционально. Усовершенствование средств разрушения и облегчение доступа к ним неизбежно приведет или к разрушению системы, содержащей иррациональное, или к устраниению его из системы.

После торжества в 1989 г. демократической рациональности над коммунистической иррациональностью заговорили было о «конце истории» как «борьбы противоположностей». Осталось будто бы одно «единство». Однако вскипевшие вскоре националистические страсти убили надежду. Но это от того, что — «лицом к лицу». Если же исторически смотреть — ясно, что линия разумного начала всегда шла по восходящей. Еще недавно Европа не могла без войн. А сейчас война между странами Запада немыслима. Значит, не «все уроки истории забываются». Намывая из тяжкого опыта какие-то крупинцы разума, не сила, является все же основной детерминантой человеческой истории. Хотя на лице истории просвечивает он не часто. О конкретной расстановке сил и сфер влияния в будущем гадать не стану. Но это, если вдуматься, и не важно. Ведь во все времена человек живет в настоящем, а для настоящего неважно, каким будет будущее, важно идти к нему с хорошим настроением. Причем верно это, даже если у человечества нет будущего. Путь только и важен. Никаких конечных целей — лишь движение и меняющиеся ориентиры вдоль пути.

Усовершенствование отношений между странами не обязательно, однако, будет сопровождаться усовершенствованием отношений между людьми. Потому-то и не важно знать конкретные формы будущего, что для каждого «атома» общемирового организма жизнь всегда будет сводиться к процессам на атомистических уровнях, в сути своей не меняющимся тысячелетиями. Конечно, важна та атмосфера, та среда, в которой взвешены «атомы». Больше, чем чем-либо другим, определяются они культурой. Мой любимый конек тот, что на рубеже 19-20-го веков наша культура свернула не туда. Вернее, поначалу-то туда, но потом завязла в критике «наших недостатков» — ради самой критики. Рискну предположить, что в 21-м веке это направление истощит себя. Не исчезнет, но перестанет доминировать. Из модернистского тупика педалирования страданий культура вернется назад к классическому образцу — «через страдания к радости».

Наглядной иллюстрацией и печальным примером функциональной несостоятельности системы, рациональной по форме, иррациональной по содержанию, является Россия. От будущего России может зависеть будущее мира. Не каким оно будет, а будет ли вообще. В предположениях о ближайшем развитии России надо разделять две линии: что при данном раскладе было бы лучше и что будет. Беря исторически, лучше, видимо, было бы развитие вперед — проламываться через трясины «временных трудностей» в направлении расширения свобод. Но брать надо в масштабе жизни одного поколения. И в таком масштабе лучше, видимо, назад. Вернее — на месте. Окопаться, подтянуть ряды, подлечить-подкормить отставших. Как будет? Видимо, так и будет — назад, какая-то форма авторитарности. Хорошо бы по-чилийски, не по-аргентински.

Но все предсказания о будущем есть параллельное перемещение в будущее фактов и факторов настоящего. Обязательно появятся какие-то принципиально новые, открывающие непредвиденные возможности. Только что народившееся, революционное по сравнению со всеми предыдущими средство массовой коммуникации, средство, Интернет, может непредсказуемо революционизировать ис-

торический процесс. Говоря вообще, история направляется «борьбой противоположностей» в сторону достижения какого-то динамического равновесия внутри «единства противоположностей». Иначе говоря, в сторону устранения разности потенциалов, в сторону гомогенизации мира, никогда не достигая ее. Интернет будет, я уверен, способствовать резкой интенсификации процесса. «Перепев устаревших гуманистических песен?» — скажут мне. Правильно, но только если «отражение жизни» важнее жизни.

Мирон РЕЙДЕЛЬ, режиссер

Ислам и матриархат — наше светлое будущее

Анализировать, предвидеть и прогнозировать — это удел ученых. Художник воспринимает жизнь эмоционально. Он не может, да и не должен объяснять, почему случится это и почему именно так. Он так чувствует.

Начнем с геополитики. Именно она установит нормы взаимоотношений между людьми, от нее будет зависеть продолжительность жизни человеческого рода.

В конце XX века при содействии Америки, России и ведущих европейских стран проснулся вулкан исламского фундаментализма. Его смертоносная лава ненависти к «неверным» растекается по миру. В центре Европы формируются исламские государства. События в Чечне и Дагестане, в Алжире, в Косово и Таджикистане, Афганистане и Восточном Тиморе — явления одного вселенского процесса.

До недавнего времени наступлению ислама противостояло только одно государство — Израиль. Сегодня вынудили включиться в эту борьбу Россию. Десятилетиями она пилила сук, на котором сидит, вооружая за счет обнищания собственного народа оголтелых экстремистов. Нынче она, похоже, спохватилась. Увидела, что в центре страны имеет мощный исламский конгломерат, который может стать пятой колонной. В одиночку России не справиться. А евро-

пейские страны вместе с Америкой пока еще не разглядели грядущей опасности. Рассчитывают всех и все купить.

Кто остановит эту лаву? Политики? Они слишком зависят от тех, кому служат. Организация Объединенных Наций? Она предаст. Как предала Чехословакию, Израиль, Югославию, Афганистан, Восточный Тимор. Солдаты? Против орд ослепленных ненавистью мусульман армии христианских стран бессильны. Уже есть опыт: Афганистан, Ирак, Чечня, Югославия.

Исламский фундаментализм не религия. Это идеология нищих, голодных, затравленных и запуганных невежд, которых посылают на смерть хитрые и лживые политики. У них одна цель — власть. На знаменах исламских фундаменталистов начертан призыв их духовного лидера из Тегерана «Убей неверного!» А «неверный» отнюдь не иноверец, а тот, кто лучше живет, кто образованнее, умеет работать, кормить себя и других.

Парадоксально это звучит в конце двадцатого века, но остановить эту орду сможет только сильная религия. Не набожность, не слепое суеверие, а вера. Вера — тот цемент, который скрепляет общество даже не религиозных людей, поддерживает уровень духовности. Русское православие — компромисс иудаизма, наивного христианства и языческого суеверия — никогда не было таким цементом. Всегда служило власти, было причиной национальных распрей. Русское общество не очень-то протестовало, когда большевики расстреливали священников, попирали национальные традиции. Американское протестанство — толерантное, добренькое, оно всегда готово послать несчастным излишки со своего стола, в том числе и ракеты, но у Америки нет излишка сыновей для защиты европейской цивилизации. Не исключаю, что Римский Папа попытается бросить клич на новый крестовый поход. Да вот соотношение сил нынче иное, нежели было во времена тех походов.

Только две страны способны остановить исламизацию мира — Индия и Китай. Хотя бы уже потому, что их население — около трех миллиардов. Индия испытала иго ислама и сегодня противостоит ему. Но обе страны — потенциальные враги. Им надо договориться. А то окажут-

ся по разные стороны линии фронта, и тогда... даже невозможно предсказать, предчувствовать, что будет тогда. Обе страны имеют атомное оружие.

Борьба с наступлением воинствующего ислама определит геополитику грядущего века. Интернет, доведенный до фантастического совершенства, станет непосредственным участником этой борьбы. А может быть даже оружием. Уже сегодня исламские террористы имеют в Интернете десятки страниц, на которых ведут свою пропаганду. А в будущем Интернет, вероятно, поможет им и убивать, взрывать и грабить.

В такой ситуации мужчина двадцать первого века — напуганный, разочарованный, неуверенный в завтрашнем дне — спрячется дома. Интернет, телевидение заменят ему и его семье прямые межличностные контакты, человеческое общение. Развивающийся уже сегодня комплекс неполноценности отодвинет мужчину на вторую позицию. Первую займет женщина. Не только в семье, в государстве тоже. Такая расстановка сил в обществе и определит взаимоотношения между людьми третьего тысячелетия.

Татьяна МУШАТ, писательница

Действующий герой с характером и лицом

Вы спрашиваете, как я отношусь к Интернету? Дело в том, что, как бы я лично к нему ни относилась, Интернет живет и будет жить. Его, как и всякое открытие, нельзя закрыть. Потом какая-нибудь новая сеть, еще более эффективная, сейчас даже трудно себе представить, какая именно, заменит эту, обмотавшую земной шар так плотно, как не мог бы сделать ни один допотопный гигант паук — родоначальник всех сетей в мире.

Нам, людям доинтернетовского поколения, в каком-то смысле повезло. А может быть, как раз в том самом смысле и не повезло. Как считать. Мы помним еще те времена, когда ходили к врачу, вооруженному только сте-

тоскопом и знаниями, почерпнутыми от Бога или из заочного института. Врач нас выслушивал, выстукивал, мял, жал — он обращался с нами, как живой с живыми. Врач от Бога ставил диагноз, врач-заочник выдавал бюллетень, что тоже, в общем, было не плохо.

Современному врачу, вооруженному компьютером или Интернетом, не нужны эти анахронизмы. Он узнает о нас все за считанные секунды. Представьте себе, если и практикующие хирурги уйдут со сцены? Кто будет резать?

Но все эти страхи именно от того, что мы знавали другие времена, которые, надо честно признать, далеко не всегда были хорошими.

Я еще помню время, когда закутанная в теплый платок, высохшая, как жухлый стручок, учительница, выпускница Бестужевских курсов, сидя, потому что уже не могла стоять, хриплым затухающим голосом объясняла перед выпускными экзаменами тем из нас, кому интересно, разницу и общность лирики Пушкина и Лермонтова. Правда, полкласса потом писало на свободную тему: «Мы свой, мы новый мир построим!»

Может, именно потому, что помним то, чего кроме нас уже никто не помнит, нас и обуревают страхи от возможности обучения по Интернету? Собрать у дисплеев детей во всех точках земного шара — только представьте себе эту аудиторию — и вдалбливать им все, все, что угодно. Тебе как лектору нужно видеть их глаза? Будут и глаза. Будет и контроль, все будет. Перед этими возможностями бледнеет картина, нарисованная еще Брэдбери в его «451 по Фаренгейту». Хотя, если я не ошибаюсь, он первый сделал телеэкран, тогдашнюю явно пугающую новинку, действующим героем с характером и лицом. Вот и Интернет сегодня — действующий герой с характером и лицом.

Но суть-то в том, что лицо этого Идола высвечивается по запросу пользователя.

И если пользователь запросит Пушкина с Лермонтовым, значит, еще не все потеряно. Он хочет с ними говорить, хотя ему, этому современному пользователю, намного труднее, чем нам когда-то, самостоятельно искать вечных гениев красоты в безграничной свалке зна-

ний, накопленных человечеством и загруженных в нутро Интернета. Но если он будет не один, а по одному во всех точках земного шара или — совсем уж из области фантастики — если добру и красоте будут учить с экрана Интернета, то мы можем спокойно уходить.

Марк ПОПОВСКИЙ, писатель

Вдумайтесь, что нам сулит Интернет

В возрасте под восемьдесят значительно чаще думаешь о прошлом, нежели о будущем. Тем не менее попробую поделиться догадками о тенденциях века наступающего.

Интернет — гордость нашего времени, конечно же перекочует в следующее столетие. Но принесет ли это изобретение большую радость жителям наступающего столетия — не уверен. После пятидесяти лет профессионального общения с учеными, написав и издав более 25 книг о проблемах науки, я усвоил одну печальную истину: почти все достижения науки рано или поздно обращаются в общественное зло. Достижения классика микробиологии Луи Пастера оказались, как не горько это признать, фундаментом бактериологического оружия. Химики XIX и начала XX века своими замечательными открытиями проложили дорогу к оружию химическому. Вся мировая военная индустрия построена сегодня на мирных (первоначально) изобретениях. Можно не сомневаться: Интернет в свой час окажется важным элементом военной индустрии и послужит очередному кровопролитию.

Но меня отталкивает от Интернета и другая сторона этой технической новинки. Уже сегодня Интернет помогает кое-кому вторгаться в жизнь других личностей. Предвижу, что в наступающем столетии личность будет просматриваться и проглядываться соответствующими инстанциями и заинтересованными лицами все более нагло и повсеместно. Интернет — враг нашей независимости, боюсь, что со временем тот кагебешный надзор, от которого мы

удрали на Запад, покажется нам детской игрой по сравнению со все более процветающей эпохой Интернета.

Каким мне видится **Будущее России**? Грустным. За семьсот лет своей истории народ страны, где нам довелось родиться, привык жить в атмосфере страха и нависающего над его головой кулака. Только насилие, угрозы, постоянная атмосфера страха побуждали основную массу населения к сколь-нибудь серьезному труду и в какой-то степени удерживали ее от повального воровства. Утеря жестокого госкулака на многие десятилетия задержала переход российского общества к нормальному (для России) порядку. Наиболее благодетельным был бы возврат к законной имперской системе, но царская власть в XXI веке в Россию не вернется. Поздно... Нам предстоит еще много десятилетий наблюдать смену политических бездарностей в Кремле. Процесс этот может растянуться на два-три поколения.

Массовое разрушение **здоровья россиян**, сокращение сроков жизни мужчин и женщин закончится не скоро. В двухтысячном и следующем за ним годами сокращение сроков жизни коснется еще многих миллионов. Нищета — неизменный убийца во все времена. Я и сам, родившись летом 1922 года в Одессе, в семье голодающих, был обречен на неизбежную смерть. Я наверняка погиб бы, если бы в те же дни в одесский порт не вошел американский корабль, груженный сухим молоком и другими продуктами, предназначенными для голодающих советских граждан. Но в начале XXI столетия Запад, полагая, уразумеет, что прокормить много-миллионный не желающий работать народ нереально.

...Беседуя с иммигрантами, навестившими недавно СНГ, я постоянно слышу о тамошней повсеместной грубости и даже хамстве, всеобщей раздраженности и недоброжелательстве публики. Все понимают: недоброжелательство — результат тягот быта и отсутствия надежды на принципиальные перемены. Можно не сомневаться, эта ситуация продлится еще многие годы. То обстоятельство, что часть населения жульническим или иным образом все-таки обогащается, будет лишь усиливать взаимное раздражение всех остальных. Всеобщая завистливость, присущая нашему народу, получит при этом лишь дополнительную почву.

Типичное для Америки уважение к успеху ближнего нашим землякам за ближайшее столетие не осилить.

В заключение несколько слов о том, как мне видится **будущее мира**. Думаю, что цивилизованному христианскому миру предстоят в ближайшие десятилетия многочисленные атаки мира мусульманского и, конечно же, коммунистического Китая. Кто победит, предсказывать не берусь. Но никогда не забываю: восторженное отношение к идеям коммунизма-социализма, длящееся уже много столетий (см. «Город Солнца» и другие подобные произведения), не случайность. Эта идея прочно сидит в мозгу людей разных рас и национальностей определенной конструкции. Время от времени идея эта накапливает число сторонников и всплывает на поверхность общества с автоматом в руках. Хотелось бы надеяться, что мои дети, внуки и правнуки не пострадают от этой чумы в 2017 году.

*Юрий ДРУЖНИКОВ, писатель,
профессор Калифорнийского университета*

Вместо самиздата графоманиздат

Скепсис растет с возрастом, но ведь и тенденции конца века, вы уж меня извините, не прибавляют оптимизма. Невольно раскладываю следующий век на две части: технологическую и культурную.

Если в первой сегодня, на зависть чекистам, я за несколько секунд перегоняю пятисотстраничный роман из Калифорнии издателю в Сибирь, то завтра научатся материю перегонять на расстояние, и заказанный автомобиль вырастет на моих глазах в гараже из ничего. Сегодня моя жена с чужой пересаженной печенью здорова. Крепкое долголетие граждан цивилизованных стран не за горами. Но вот больной вопрос следующего века: *для чего?*

Вроде бы Америка задает тон всему миру, но не во всем. На филфаке в Москве, когда я учился в пятидесятых, мы читали в семестр по *тридцать* толстых книг. На рубеже 21-го века в Америке я с трудом заставляю сту-

дентов прочесть за семестр *две*. Гуманитарное образование сокращается, иностранные языки в системе университетов чахнут. Кино и телевидение все чаще демонстрируют психиатрические проблемы их создателей, вовлеченных в большую коммерцию. Голливудское неписаное правило, перед которым меня не так давно поставили: число выстрелов и мордобоев в фильме должно превышать число слов. Славный и опасный Самиздат выродился в Графоманиздат, и Интернет полон честолюбивой продукции, в которой попросту недостаточно запятых.

История, философия, хорошая проза, симфоническая музыка востребуются в основном старой интеллигенцией. Поистине, как говорил Честертон, классики — это те, кого хвалят, не читая. Молодежь, которой работать треть будущего века, почти поголовно идет в новые технологии — там дело верней. И духовный дисбаланс, думается мне, будет растущей черной дырой цивилизации после двухтысячного года. Грозное предупреждение следующему столетию — достичь технологического удовлетворения и, пока не все потеряно, серьезно обратиться к искусству и культуре. Пока что за золотым и серебряным веком литературы явственно видится 21-й — железный, с терминатором, вооруженным компьютером, а человечеству нужен век платиновый, век культуры.

По-видимому, конвергенция систем будет иметь свое развитие. Процент социализма растет в Америке: взгляните на сегодняшнюю медицину, страховые компании, съедающие частных врачей, монстров индустрии, становящихся бесконтрольными, несмотря на антимонопольные законы, все большую бюрократизацию. Но что-то не видится помощь государства в развитии культуры. На все есть огромные деньги, кроме этого. Порочный круг бездуховности грозит нам. Что за индивиды рвутся к управлению сознанием миллионов людей в следующем столетии, если им для пользы дела нужна Моника Левински? Ведь они растлители нации, описанные Данте в «Аду». А российские верхи — просто потенциальные пациенты доктора Фрейда. Что за люди участвуют в выборах, если им в 21-м веке нужны Жириновский или Зюганов?

Обидно, но приходится повторить слова маркиза де Кюстина, сказанные в 1839 году: будущее России видится мне в мрачном свете. Добавлю: Кюстин предвидел и распад колосса на куски. В 1988 году в споре на эту тему, опубликованном «Новым русским словом», я сказал, что в перспективе Россия вернется к размерам Московии 12-го века. Тогда мне досталось от патриотов, но через три года СССР рухнул. Сейчас все хотят там отделяться, как взрослые дети от семьи в американском обществе. Конечно, отделится Сибирь. И многие губернии станут княжествами. И идет повсеместный развал культуры, замена ее попсой. Но тут я остановлюсь, чтобы дать слово оптимистам.

Сергей ИВАНОВ, обозреватель радио «Либерти»

Верю только Нострадамусу

У Андре Моруа в дневнике есть запись, датированная 10 сентября 1938 г.: «Получил почту: медицинский журнал просит написать для них статью "Литература в 2038 году". Ответил им, что мы в тот год как раз выйдем из нового пещерного века».

Моруа всего-то ощутил дыхание надвигавшейся войны. Масштабов ее он себе не представлял. Мы же знаем эти масштабы. Знаем и про Корею с Вьетнамом, и про затяжную войну большевиков против своего народа, и про Афганистан, и про Балканы. А теперь вот новая кавказская кампания, конца которой не видно. Чем нас можно удивить, так это затишьем.

Уж на что пессимист был Моруа и то, пожалуй, не угадал. Не выйдем мы в 2038 г. из пещерного века: слишком уж основательно вошли.

Об оптимистах и говорить не приходится. Сколько я слышал на своем веку предсказаний, столько их не исполнилось. Все предсказатели попадали пальцем в небо.

И любимые вожди моего детства, Сталин с Ворошиловым, заверявшие меня, что, если что, воевать мы будем только на территории врага. И снова товарищ Сталин,

сообщивший после войны своим избирателям, что, если мы выплавим сколько-то чугуна и стали, «мы будем гарантированы от всяких случайностей». Помнится, как только выплавили, так случайности и посыпались.

И наш дорогой Никита Сергеевич, пообещавший, что нынешнее (то есть мое) поколение будет в 1980 г. жить при коммунизме.

А ведь он, надо полагать, свято верил в то, о чем говорил. И Сталин с Ворошиловым верили. Чего им было врать? Теперь, на пороге третьего тысячелетия, никто в России никому не верит. Да никто, кажется, никого и не старается убедить. Верят только Нострадамусу: этот не соврет. Каждый год кто-нибудь заново толкует его четверостишия, или, как говорят в народе, катрены.

Предсказывать что-либо берутся теперь только люди отчаянные, которым терять нечего. Снилось ли кому из диссидентов в страшном сне, что придет на смену советской власти? Мог ли кто вообразить, что соберутся в лесочке три человека и аннулируют союз нерушимый? Какие уж тут предсказания!

Или вот американцы. Неужели им было невдомек, что их миротворческие бомбы ничего, кроме хаоса и нового всплеска антиамериканизма, не породят? Впрочем, им, скорее всего, было на это наплевать.

А если взять науку! Листаю журнал «Тайм». И не начала века, а всего-навсего десятилетней давности. На обложке цифра: 2000. Ионные звездолеты, электронный мозг, думающий наподобие человеческого, таблетки от рака, от болезни Альцгеймера, электромобили вместо нынешних, озоновые дыры затягиваются... Ничего не сбылось!

А литература! Помню, собрались тогда же, лет десять назад, не то в Маастрихте, не то еще где-то серьезные люди и объявили, что роман как жанр умер. Никто романов больше писать не будет. Повесть еще туда-сюда, очерк там (понынешнему эссе), а романов ни-ни. Не успели, как говорится, просохнуть чернила в этом Маастрихте, как Милан Кундера, Алан Иснер, Алессандро Баррико и прочие, несть им числа, завалили рынок своими романами и продолжают заваливать.

Так что почитать в пещерном веке будет чего. Единственное утешение.

Ирина МАШИНСКАЯ, педагог

Информационный империализм

Думаю, что скорость будет одним из главных понятий в 21-м веке. Я мало что смыслю в этом отношении, но в моем понимании Интернет есть прежде всего количественный переворот, просто ускорение доступа к информации всякого рода или, иначе, скорость попадания в какую-то точку многомерного информационного пространства. Несмотря на очевидные и частные удобства Интернета, это —

разрушительная тенденция, а в смысле культуры — саморазрушительная. Есть некий предел восприятия, за которым — уже не восприятие, а *возбуждение* от обилия информации и скорости ее подачи. С новыми людьми этого возбужденного типа я имею дело как учитель — это подростки. Около 25% из них в США имеет такой странный диагноз ADD (Attention Deficit Disorder) или ADHD (Attention Deffen Hyperactivity Disorder), и как следствие уже имеются новые таблетки, такие беленькие, директор приносит их утром прямо в класс.

Скорость развития самого Интернета тоже возрастает, и скорость этого роста скорости тоже, и я не думаю, что мы можем вообразить, что эта невидимая сеть прозрачных машин, о которой говорил еще Шпенглер, будет собой представлять в 21-м веке. Это такой постоянно набирающий скорость поезд, и, стоя на платформе, ты, может, и догадываешься, что увидит пассажир, сидящий в нем, через, скажем, полчаса, но никакими силами уже не представить ландшафты за окном через 50 лет такого непрерывного, все ускоряющегося движения.

Есть скорости для человеческого интеллекта предельные, и, перейдя их, человек перестает думать, не то что чувствовать (чувство вообще требует больше времени, чем мысль). Поэтому такие вещи, как раскаяние, чувство вины в 21-м веке, боюсь, уйдут первыми, ибо уже сейчас их что-то не видно. И я боюсь, что с исчезновением таких чувств человек может сломаться. Чувства эти заменила даже не государственная религия, что само по себе не Бог весть

что, их заменил суд и вариант суда — политический процесс, то есть игра. Это суд как театр, но не греческий театр рока и не психологическая драма XIX века, а зрелище — вроде народного представления о ярмарке.

Интернет вообще многое делает условным, воображаемым. Не случайно он связан с политическими играми, создающими реальность, в которой убить человека так легко. Это предполагает все большую инфантильность масс людей. Смотрите, сколько взрослых играют сейчас в видеоигры — в электричке, всюду. А там все черное и белое, там персонаж носит имя Слизь, и ясно, что его надо уничтожать, и уничтожать его физиологически приятно. Что ж удивляться, что нация вяло протестует против бомбежек страны, описанной телевидением как местонахождение такой слизи. Это такое привычное деление на good news и bad news. И разве не так же мы убиваем тараканов и комаров?

То есть я думаю, что Интернет, начала которого — в математике, логике, был создан доктором Джекилом, то есть еще культурой, но само дитя уже этой культуре не принадлежит, а принадлежит цивилизации, мистеру Хайду. Разница же между культурой и цивилизацией очевидна. И я думаю, что человеческая энергия в 21-м веке будет направлена все более вовне, а не внутрь, и это цивилизациям свойственно. Это будет такая информационная экспансия, своего рода информационный империализм. И, боюсь, это не противоречит милитаризации мира в 21-м веке, которым опять будут руководить генералы.

Я человек по рождению космополитический, но радоваться этому уже давно перестала. Я не люблю границ государственных, но этническая очерченность — отнюдь не изоляционизм — кажется мне необходимым условием мировой гармонии. Чем размытее, однороднее мировое пространство, тем выше энтропия, тем ближе к хаосу. Думаю, что процесс размывания границ будет продолжаться и на информационном, и на просто человеческом уровне, то есть люди будут терять национальные корни. И эту потерю *отчизн* я ощущаю как потерю *культур*, и следовательно, культуры. Ибо всечеловеческие холмы — удел

гениев, остальное же человечество, к которому себя отношу, должно развиваться в неких этнических (культурных, традиционных) пределах. Я имею в виду, что размытие этих *этических* пределов волнами цивилизаций — римской, американской — ведет к *этнической* размытости, к нравственной относительности.

Мне кажется, что сейчас мы движемся именно в этом направлении, что мир группируется в три аморфных комка: евро-американский, восточноазиатский и исламский. Но может быть в конце 21-го века маятник качнется в другую сторону, дробления и определенности?

Несколько слов о долголетию. Не думаю, чтобы это нам грозило. Физически, если климатическое потепление будет продолжаться, то еще до того, как начнут таять ледники и массам людей надо будет переселяться из прибрежных равнин, возникнут эпидемии, к которым человечество никогда, как мы знаем, не готово. Если же начинается движение климата в сторону похолодания (а баланс сейчас очень тонкий, разница среднемировых температур в десятые доли градуса может решить дело), физически, предположим, человек выживает и даже здоровеет. Но есть еще здоровье душевное. Мне кажется, что возбуждение и нервозность, связанные с повышением скорости жизни, эту жизнь сокращают, то есть, выигрывая часы на бытовом уровне, мы долголетие и вообще жизнь проигрываем. То есть тот же Интернет нам проблемы долголетия, кажется, решил в обратную сторону.

А вообще, проблема сейчас не как жить дольше, а как остаться человеком. То есть существом, находящимся поневоле внутри цивилизации и говорящим на ее языке, но способным взглянуть на нее извне и на этом же языке ее себе описать. То есть задача, требующая от нас душевных способностей уровня Андрея Платонова.



Борис ХАЗАНОВ

ПРАМАТЕРЬ

Mother o'mine, o, mother o'mine...
R.Kipling*

«Я, — сказал рассказчик и отхлебнул из красивой фарфоровой чашки, — приветствовал идею нашего клуба, если можно его так назвать, с удовольствием слушал моих предшественниц, но теперь наступила моя очередь, и я испытываю некоторую растерянность».

«Видите ли, всё это дела давно минувших дней... Я чувствую, что мне не уйти от необходимости быть откровенным, предельно откровенным, — как говорится, взялся за гуж! — а между тем предмет таков, что о нём, может быть, вовсе невозможно рассказывать благопристойным литературным языком, от которого мы всё ещё не отвыкли здесь, вдали от России. Тема эта подпольная, тёмная...» Он взял коржик из вазы и внимательно осмотрел его.

*О мать моя... (Р.Киплинг. "Свет погас").

«Вдобавок от меня требуется, чтобы я не только припомнил и рассказал всё как было, но и вернулся, так сказать, в себя самого. В того мальчика, который остался там и живёт своей жизнью, хотя его давным-давно не существует. Вы знаете, как легко погрузиться в прошлое и как трудно, почти невозможно не притащить туда своё настоящее, а заодно и весь хлам, весь тяжкий опыт накопившейся жизни. Мы бредём в обнимку с памятью, но память морочит нас, и, в сущности говоря, мы только и занимаемся тем, что стилизуем своё прошлое».

«Мы с вами договорились, что будем рассказывать друг другу историю первой любви. Вечный сюжет... Спрашиваешь себя, что такого особенного в этих историях, в эпизоде, почти неизбежном в жизни каждого, почти всегда мимолётном, потому что, не правда ли, он не может, не должен иметь продолжение. Почему никакое событие времени не вонзается так глубоко, не становится частью души на все времена, как память первого увлечения? Я не говорю о той ранней поре перманентной влюблённости в каждое платьице, в каждый девический силуэт, о времени ожидания, когда книжки, кино, разговоры, сплетни — всё вокруг шепчет: а ты? когда же придёт твоя очередь? Речь идёт об озарении, об ударе током. О том непонятном, свалившемся, как снег на голову, тайном и унижительном, но и возвысившем тебя над сверстниками, над всем окружающим... Кто-то заметил, что девочки не знают детства. Не решаюсь судить, так ли это — впрочем, всё подобные изречения принадлежат мужчинам, — но катастрофа, которую переживает подросток, та гибельная, как столкновение поездов, сшибка идеализма и действительности, я говорю о действительности пола, поистине неизвестна или почти неизвестна девочке, которая как-то естественно вживается в своё тело, для которой тело — в отличие от мальчика — никогда не бывает помехой. В каком-то смысле она всё уже знала заранее, не оттого, что прочла об этом в книжках или услышала от подруг, но оттого, что знание было заложено в ней самой, знание существовало в её теле, прежде чем окончательно дойти до сознания. То, что становится тягостным бременем для

подростка, руки, которые он не знает куда девать, тело, которого он стыдится, — для девочки естественно и желанно, и без всяких усилий, без насилия над собой, словно дело идёт о чём-то само собой разумеющемся, с незнакомой мальчишкам суверенностью она вступает во владение полом, когда приходит пора. Или я неправ?»

«Что ещё важнее, девочки легче и раньше становятся социальными существами. О, я слишком понимаю, что на эту тему сказано и написано всё, что можно сказать или сочинить. Но вы никогда не решите, где кончается власть общества, традиционного воспитания, привычек, предрасудков и вступает в свои права природа; вы не сможете провести между ними границу. Вы скажете, что человек — общественное животное, половое созревание застаёт его уже вполне социализованным существом. Но сами эти условности, навязанные обществом, настолько могущественны, что трудно не заподозрить в них заговор желёз внутренней секреции. Отчего искусство девочек прыгать со скакалкой, которое, казалось, никогда им не надоедало, у мальчиков вызывало лишь презрение, отчего занятия, которым мы предавались с таким самозабвением — филателия и шахматы, — были чужды девочкам, не вызывали у них ни малейшего интереса: оттого ли, что азарт собирательства и азарт единоборства были мужским приключением, мужской профессией, куда вход девочкам был воспрещён? Со своей стороны я склонен думать, что равнодушие к этим увлечениям объяснялось всё той же ранней укоренённостью девочек в подлинной, реальной жизни: магия почтовых марок, война деревянных фигурок представлялись им пустым времяпровождением. Всё это было для них детством, покинутым детством, между тем как мальчишки всё ещё барахтались в нём».

«Я плохо сплю по ночам или вижу неотвязные сны. Во сне я сознаю, что то, что мне снится, — сон. Я вижу себя подростком и вместе с тем сознаю, что я взрослый, состарившийся человек. Но это сознание как бы принадлежит не мне. Во сне, как это ни покажется странным, я переживаю истинную действительность, ибо моё «я» теряет над ней всякую власть. Делать нечего, — промолвил

рассказчик, обводя глазами дамский кружок, — вообразите, что перед вами не рыхлый, обвисший, облыселый господин, давно уже разменявший, как сейчас говорят, свой полтинник, а вот этакое существо между двумя эпохами, детством и юностью, точнее, между четырнадцатью и пятнадцатью годами. Дело происходит — позвольте, в каком же это было году... Неважно».

«Шахматы и марки, с них всё началось, ими закончилось, но об этом чуть позже; пока что мы ещё в царстве идиллии, в том возрасте, когда два стана предпочитают держаться на расстоянии друг от друга: девочки, которые уже перестали быть ими, и мальчики, которым хочется — сознают они это или нет — оставаться детьми. Шахматное воинство охраняет нас от вторжения действительности, заповедный сад филателии — наше убежище, где мы отсиживаемся, стараясь оттянуть неизбежное».

«Всё свободное время мы предпочитали проводить во дворе. Москва тех лет, как вы помните, была городом узких кривых переулков, проходных дворов, где можно было, пробираясь между брандмауэрами, ныряя из одной подворотни в другую, вдруг очутиться на соседней улице, и там уже всё дышало враждой, и надо было глядеть в оба; там могли напасть из-за угла, налететь сзади, там встречала чужеземца сопливая сволочь с финками, там свирепствовал шовинизм дворов, там обыскивали в тёмных подъездах. Не Москва, город, полный коварства, а наш переулок и двор, защищенный воротами, были нашим отечеством. Двор был как все дворы, сумрачный и прохладный, с пожарными лестницами, с бельём на верёвках, привязанных к водосточным трубам; с трёх сторон глядели во двор окна коммунальных квартир; все жильцы знали друг друга, все воевали друг с другом, все жили общей жизнью. Четвёртая, кирпичная стена служила брандмауэром, и к ней было прислонено дощатое сооружение для снеготаялки. Во двор заглядывали старьевщики, пожилые нищие, огненноглазые гадалки, слепой гитарист поднимал лицо к окнам, и сверху из форточек бросали ему монеты, завернутые в бумажку, по утрам раздавалась песня точильщика. За зиму во дворе вырастала гора снега, который свозили из переулка, летом

солнце косо освещало кирпичный брандмауэр, и ставни окон верхнего этажа метал молнии; по двору носились, как угорелые, кувыркались на перекладинах пожарных лестниц, во дворе играли в фантики и обменивались марками. Был такой Юра Кищук по прозвищу Щука, малосимпатичная личность из соседнего дома. Замечали ли вы коварство некоторых букв? Почти все слова с шипящими заключают в себе угрозу: пожар, пещера, ущелье, да, пожалуй, и женщина. Так вот, был такой Кищук. Однажды он появился во дворе, держа под мышкой застёгнутую на крючки большую лакированную коробку».

«Две рати выстроились друг против друга на жёлто-коричневом клетчатом паркете, два ряда пехотинцев, не умеющих отступать, позади королевская чета, генералы, и конная гвардия, и осадные башни на флангах. Звук боевого рога, похожий на автомобильный клаксон, огласил поле сражения, первым шагнул вперёд через два квадрата солдат в круглом шлеме и сошёл лицом к лицу с чёрным ландскнехтом. Ринулась галопом, обгоняя пешее воинство, кавалерия. Из-за живой стены солдат вылетел на своей колеснице полководец в юбке».

«Нас окружили болельщики. Мы сидели на крыше сарая для снеготаялки, единственном месте, куда достигал тёплый занавес солнца. Солнце сверкало в окнах, и блестели высокие точёные фигуры на зелёных суконных подкладках. После старых, облупленных и обломанных шахмат, в которые мы резались целыми днями, шахматы, принадлежавшие Кищuku, излучали незнакомое благосостояние, источали запах свежего лака, если хотите, были символом классового превосходства, и мы все как-то смутно это чувствовали».

«Тут обнаружилось, что размеры доски сказываются на искусстве игрока, — я начал катастрофически проигрывать. В этих изменнических, явившихся из другого мира шахматах скрывалась какая-то подлость, они подыгрывали своему владельцу; они как будто давали вам понять, что вы не достойны играть в них. Шахматы могут жить собственной жизнью —

этот сюжет фантастических рассказов заимствован у действительности. Серия более или менее вынужденных разменов отчасти поправила мои дела. Мне удалось, под азартное

сопение и нетерпеливые возгласы зрителей, дотянуть до эндшпиля. Король, как известно, самая беззащитная фигура, но когда армии больше нет, король сам обнажает шпагу».

«Король выступил в последний безнадежный бой. На другой стороне доски уже торжествовали победу. Несколько раз, с нескрываемым злорадством, предлагали нам сдаться. Как вдруг, о, счастье! Пат! — вскричал я».

Рассказчик улыбнулся. «Памятуя о том, что и присутствующие были когда-то девочками, я поясню, что пат — это такая ситуация, когда вы не можете сделать ход, не подставив под удар короля, а раз вы не можете ходить, то и противник не может; пат — это вынужденная ничья. Итак, представьте себе, победа у вас в кармане — и вдруг ничья. Раздосадованный Щука заявил, что я сжульничал. Он стал показывать, как стояли фигуры, и теперь мне пришлось уличить его в жульничестве. Нет, был пат! — Не было пата! Король стоял здесь. — Нет, здесь! — Ничего доказать было невозможно, он уже собирал свои шахматы. Мы спрыгнули с сарайчика. Он стоял, прижимая к себе доску, и оба мы толкали друг друга в грудь. Ребята были на моей стороне. Он бросился наутёк».

«Ослеплённый ненавистью, я наткнулся на мокрую простыню, путался среди верёвок с бельём, это дало моему врагу возможность удрать со двора. Я выскочил из подворотни. Щука улепётывал к себе домой. Он добежал до парадного подъезда, мы неслись вверх по лестнице, на площадке третьего этажа я догнал его, он не успел захлопнуть дверь».

«Позвольте мне прерваться, — глядя в свою чашку, проговорил рассказчик, — я расскажу вам один сон. Чем дальше всё это уходит, тем, знаете ли, труднее отделить память о пережитом от воспоминаний о снах. Я вхожу в чью-то квартиру, передо мной большая прихожая, ни души. И вдруг мне навстречу выходит незнакомая женщина и спрашивает, что мне надо. Свет бьёт сзади из комнаты, я не могу различить её лицо. И хотя у меня к ней важное, неотложное дело, я не в силах произнести ни слова, какие-то звуки вырываются у меня из горла, словно хрип удавленника, и я просыпаюсь».

«Этот Юра Кищук жил, как уже сказано, по соседству, но квартира не была похожа на нашу и вообще на кварти-

ры в нашем доме. Наша квартира была битком набита жильцами. Мы, то есть я, младшая сестра, родители и какая-то приехавшая из дальнего края родственница, которая смутно припоминается мне, обретались в одной комнате, где каким-то образом помещались обеденный стол, шкаф, кровать, диван и даже пианино, на котором училась играть моя сестра. Хотя Кищук тоже проживал, судя по всему, в коммуналке, но она казалась совершенно безлюдной, и к тому же у них было нечто вроде квартиры в квартире. Мы все запросто ходили друг к другу в гости; Юра никогда никого не приглашал, так что всё это, собственно, только сейчас и выяснилось. Он пронёсся через прихожую и исчез в коридоре, я за ним, рванул дверь и очутился в комнате, которая показалась мне роскошной. Какие-то зеркала, шкафы, кресла, с потолка свисала тяжёлая люстра. Никого не было, я остановился, тяжело дыша, не зная, что делать. Затем раздвинулась портьера, вышла дама в домашнем халате с небрежно завязанным поясом, со стоящими колтуном светлыми волосами, очевидно, это была мать Щуки. И больше, как ни странно, я ничего не помню: о чём меня спрашивали и что я ответил. Впрочем, нет: она подвела меня к зеркалу и велела причесаться. Было сказано ещё несколько слов, дескать, ну вот, теперь совсем другое дело. Теперь можешь идти. И я ушёл».

«После этого, если придерживаться хронологии, хотя это не лучший способ повествования, во всяком случае, отнюдь не обязательный, после этого прошло, вероятно, две-три недели. Весна была уже в полном разгаре. До экзаменов (которые тогда назывались испытаниями) оставалось недолго, а там каникулы, которые я надеялся провести в городе, ибо ненавидел пионерский лагерь, куда меня собирались запихнуть родители. Две или три недели прошло после моего вторжения, и вот однажды я увидел в нашем переулке мать Юры Кищука, она шла в ярком весеннем платье, в туфлях на высоких каблуках, держа на руке лёгкое пальто, светловолосая и окружённая светом; я увидел её, и что-то случилось. Нет, не резвый Эрот пустил в меня стрелу, скорее это было так, словно один из малолетних бандитов, тех, которыми кишела окрестность, растянул

свою рогатку и камень ударил меня в переносицу. Я остановился, парализованный страхом. Психоаналитик найдёт, вероятно, причину этого страха. Не знаю только, убедило бы меня его объяснение. Во всяком случае, для страха не было никакого повода. Не было если не считать поводом открытие, поразившее меня, как гром: впервые в жизни я увидел, что женщина может быть красивой, что она может быть ослепительно красивой. Она приблизилась и спросила меня о чём-то. Я не мог ничего ответить. Она коснулась ладонью моей щеки, и мы разошлись».

«Красота внушает страх, потому что предъявляет к окружающим непомерные требования. Красота унижает, уничтожает окружающих. Красота пугает и вызывает недоумение, ибо самим своим явлением обесценивает всё, что прежде имело вес. Сама же она существует неизвестно зачем. Казалось бы, природа устроила так, что красота должна возбуждать желание у самца. Но на самом деле красота окружает женщину кольцом, на которое подан ток высокого напряжения: коснёшься и ты погиб».

«Возможно, будет излишним сказать два слова об уровне моей осведомлённости в этих делах. В каких, собственно, делах? Я уже знал, как знали все дети моего возраста, чему предаются мужчина и женщина, оставшись наедине. Как у всех детей, это была формальная осведомлённость. Например, я никогда не мог видеть в моей сестрёнке, которую от всей души презирал, существо, представляющее интерес с некоторой специфической точки зрения. Мне это просто не приходило в голову. Семья помещалась в одной комнате, но родители щадили детей, я ничего не видел и не слышал. Их тайная жизнь меня не интересовала. Я и не чуял здесь никакой тайны. Вечно раздражённый отец, вечно озабоченная мама. Разговоры о ценах, очередях, соседях. Сестра принимала живейшее участие в маленьких домашних событиях, я же не только испытывал полнейшее безразличие к нашей семейной жизни, но и охотно его демонстрировал. Я не любил сидеть дома. Я думаю, что жестокий быт, вопреки обычным представлениям, не только не поощрял распутство, но, напротив, был условием репрессивной нравственности. Я даже не видел, чтобы мои родители когда-

нибудь обменивались поцелуями. Тусклый быт запретил людям обниматься и целовать друг друга, запретил девочкам кокетничать с мужчинами, заново и с каким-то неожиданным для себя пафосом учредил мифологию благородного верха и постыдного низа; эта полицейская мифология попросту ставила вне закона нижнюю половину человеческого тела. Нравственность выследила секс, этого затаившегося врага, загнала его в тупик, вроде того как пограничники в тогдашних фильмах выслеживали диверсанта. Как газ в баллоне, сексуальность была сжата под давлением в тысячу атмосфер, и однажды баллон должен был взорваться».

«Было ли у меня самого ощущение того, что я становлюсь мужчиной? Конечно. Были загадочные сны, тягостные пробуждения. Но физиология созревания, не правда ли, малоинтересный предмет. Я говорю о другом, о том, что обусловлено физиологией, но стремится её опровергнуть. Безуспешно, разумеется».

«Не ждите от меня каких-нибудь откровений, всё, что можно сказать на эту тему, давно сказано. Хитрость в том, что каждому приходится начинать заново. Видите ли, в чём дело: тот, кто думает, что открытие, которое совершает ребёнок, — можно было бы сравнить его с утратой веры в Бога, если бы мы не жили в атеистическом обществе, — тот, кто думает, что разоблачение тайны пола и есть тот рубеж, за которым кончается детство, ошибается: можно запомнить все слова и приблизительно знать, что они означают, и оставаться, как прежде, ребёнком. Подлинное крушение, конец детства, наступает, когда под ногами у вас расходится земля, когда разверзается чёрный провал. Когда вы узнаете, что любовь не довольствуется обожанием, и с ужасом убеждаетесь, что влюблённость оборачивается унижением для обоих, ибо неумолимо ведёт к телесному сближению, что любовь обречена кончиться половым актом».

«Мне пришла в голову странная мысль помириться со Щукой. Теперь я знал, где он живёт, на каком этаже, в какой квартире, и отправился к нему, волнуясь больше, чем полагалось бы в таких случаях. Даже в благоустроенных домах в те времена часто не было лифтов, я шёл по лестнице, марш за маршем, чем выше, тем всё неохот-

ней, и когда, наконец, оказался перед дверью с нужной цифрой и картонным плакатиком, мужество окончательно оставило меня. Едва успев нажать на звонок, я скатился вниз. Притаившись на площадке между маршами, я слышал, как дверь отворилась, подумала и захлопнулась. Снова, как будто меня волокли на канате, я поднялся по ступеням, снова прочёл: «Кищук — 1 раз» и протянул палец к пуговке. Звонок прозвенел за дверью, но теперь никто не спешил открывать. Я позвонил ещё раз, и ещё, с силой надавливая на кнопку, наконец, зашлёпали чьи-то шаги. Мрачная старуха выглянула из дверей».

«Последовали расспросы, к кому да зачем, и вдруг совершилось то, что было в моём сне: мать Щуки вышла в коридор. На этот раз она показалась мне не такой ослепительной красавицей, может быть, оттого, что, как и в тот раз, когда я ворвался к ним, была одета небрежно; и я почувствовал облегчение. Чем-то она неуловимо напоминала Юрку. Я вновь очутился на пороге светлой комнаты с люстрой и зеркалами, с широко раздвинутой тяжёлой портьерой, за которой находилась другая комната, и солнечный день сиял в окнах».

«А Юры нет, сказала она, точно проворковала, глубоким грудным голосом; оказалось, что Щука уехал к бабушке или ещё куда-то. Что же ты стоишь, заходи... Только вот я забыла, прибавила она, как тебя зовут».

«Когда вам, как равному, протягивают ладонь, это значит, что вам предлагают преодолеть расстояние возраста, пола и социального положения, но как только называют своё имя и отчество, все преграды воздвигаются вновь. По имени-отчеству полагалось называть учительниц. И вновь разница между подростком и взрослой женщиной, между неловким, непрошеным гостем и слегка удивлённой хозяйкой парализует вас и отнимает дар речи. Я вошёл лучше сказать, повлёкся следом за ней, за её голосим, светлыми волосами, ленивыми шажками. Я чувствовал, что меня приглашают из вежливости. Ради вежливости задают абсолютно неинтересные вопросы, чем занимаются мои родители, какие у меня отметки, — она знала, что мы со Щукой учимся в параллельных классах. Но вы, очевидно, ждёте, —

сказал рассказчик, — чтобы я подробней описал её внешность, я попробую это сделать, хотя описанию моему, возможно, не следует доверять: ведь я видел скорее мной самим сотворенный, образ, чем женщину, существующую на самом деле. Но что значит — на самом деле?»

«Сказать, что она была среднего или, скорее, невысокого роста, примерно такого же, как я, в меру полная, с покатыми плечами, — значит, ничего не сказать: память хоть и способна воспроизвести конкретные реальные черты, но они ничего не добавят к её облику, он существует весь разом; её облик — это она сама. Эта женщина, Ольга Варфоломеевна — так её звали, хотя сам я, помнится, никогда её так не называл, — явилась передо мной вся целиком. Мужчины, а тем более мальчики, вообще видят женщин целиком, по край-ней мере в первое время знакомства. Конечно, я не забыл её внешность, наоборот, помню до последних подробностей, но в то же время моя память, а лучше сказать, всё моё существо сопротивляется этому анализу. Я не могу её описать, как описывают своих героинь романисты; я помню всё, но не нахожу подходящих слов. Я вижу её лицо в облаке светлых волос, вижу выражение её глаз, но мне трудно сказать, например, какого они были цвета: сероголубые? Зелёные? В этот раз она была уже не на каблуках, а в пуховых домашних туфлях без задников, и я помню её узенькие пятки, когда она шла впереди меня в комнату за портьерой: желтоватые розовые пятки, из чего следует, что она была без чулок. В бледно-розовом байковом халате наподобие банного, она была подпоясана пояском, это делало её фигуру забавно неуклюжей и подчёркивало низкие бёдра».

«Когда в следующий раз я пришёл, Ольга Варфоломеевна сама отворила мне парадную дверь. Юрка снова куда-то запропастился, но теперь это меня не удивило. Я как-то чувствовал, что не застаю его. Я держал в руках книжку, которую она дала мне; она удивилась: ты так быстро прочёл? Понравилось? В большой комнате стоял резной книжный шкаф. Выбери сам, какая тебе нравится сказала она. Я подошёл к шкафу и стал смотреть через стекло на тиснёные корешки; это были дореволюционные издания. Сейчас, думал я, она скажет, теперь можешь

идти, и я уйду. Скажет: уходи, и я уйду. Я сидел, прижимая к себе две самые интересные книги, которые я когда-либо читал с тех пор. Ольга Варфоломеевна поместилась напротив, положив ногу на ногу. Она была всё в том же байковом халате и запахла полу, я заметил это движение, мне почудилось даже, что я увидел мелькнувшее на секунду круглое колено. Туфля висела на её ноге».

«Она показывала мне семейный альбом. Мы сидели рядом. Вот это, говорила она, мы с мужем в Симеизе. Юрки ещё не было. Он ещё только был запланирован. И тебя, конечно, тоже не существовало. Бывал ты когда-нибудь в Крыму? А вот здесь мы уже переселились в Москву. Раньше мы жили на Урале... На некоторых фотографиях её муж был в гимнастёрке с ремнём и портупеей, со шпалой в петлицах. Она — с причудливой причёской, с чёрными от помады губами, и он, на этот раз в галстуке, прижавшись головами друг к другу. Девочка с нелепыми бантами на голове, снова напомнившая мне Щуку, была тоже она. А вот это... — говорила она задумчиво, глядя на какие-то совершенно неизвестные физиономии, и вдруг рассмеялась. — Господи, а это откуда? Снимок в овале изображал мужчину в цилиндре, в монокле, с бабочкой на шее, подбородок подперт набалдашником трости. Это у меня был поклонник, — сказала она, — артист. Я спросил, куда же он делся. Она ответила: "Исчез!" Потом добавила, — "Никуда не делся; женился, потом развёлся, почём я знаю... Ну вот," — сказала она, — захлопывая альбом, а теперь у меня появился новый поклонник!»

«Я не нашёлся, что ответить, и даже не совсем понял, кого она имеет в виду; вернее, не понял, шутит ли она или это говорится всерьёз. Я ожидал, что она сейчас скажет: хорошего понемножку, посидели, теперь ступай; что-нибудь в этом роде. Или я ошибаюсь? — проговорила она, посмотрев сбоку на меня. Нет, самой себе ответила Ольга Варфоломеевна и слегка покачала головой, нет, не ошибаюсь. Мальчик, — сказала она мягко, — а ты знаешь, сколько мне лет?..»

«Несколько раз, — продолжал рассказчик, — я встречал её на улице, она проходила мимо, не замечая меня, и я догадался, что она не желает больше меня видеть. Как

вдруг однажды она вошла во двор, остановилась, очевидно, искала сына. Не знаешь ли ты, — проговорила она рассеянно, не глядя на меня, — не знаешь ли ты... я места себе не нахожу. У них сегодня шесть уроков, — сказал я. И классное собрание. В самом деле? — спросила она живо. Господи, — и всплеснула руками, — прямо из головы вон. А я-то уж всё на свете передумала, кругом хулиганьё. Ну, спасибо тебе. Я чувствовал, что она хочет мне что-то сказать, и ждёт, чтобы я первым произнёс что-нибудь; но я словно набрал в рот воды. Она взглянула на меня, как мне показалось, несколько высокомерно, словно учительница, которая делает замечание ученику: А ты почему не заходишь? В этом вопросе как будто само собой подразумевалось, что меня зовут в гости не к Юре, а к ней».

«Бывает, что какая-то мысль, и даже не мысль, а что-то ещё более мимолётное, короткое, как укол, мелькнёт, чтобы исчезнуть, и, однако, оставляет след, и этот след мысли, как уколотое место, не даёт покоя; так случается, когда во сне короткий всплеск сознания будит вас, и кажется, что через мгновение снова уснёшь, но сон уже не приходит. Так было и с нами».

«Ты на меня рассердился? — спросила она, когда я вошёл следом за ней в большую комнату, полную ожидания. Это было на другой день. Пятна света дрожали на паркетном полу, темнело, как омут, овальное зеркало — в этой квартире было много зеркал, — и в нём стояли, наклонясь, книжки в золочёных переплётах, шевелились тюлевые гардины. Голоса доносились снизу из синевы и прохлады нашего переулочка, там жил своей жизнью старый квартал, и май был в самом начале, и сушилось бельё во дворах, и на крыше сарая со снеготаялкой сидели ребята, и девчонки прыгали через верёвочку. А здесь обитала она в роскошном заточенье, и звуки улицы едва достигали её слуха. Я спросил на всякий случай, а где же... У бабушки, ответила она коротко».

«Не было больше разговора ни о книжках, ни о фотографиях, наступило молчание, она встала и подошла к зеркалу, я видел её со спины и видел её лицо в провале блестящего стекла. Но глаза, большие и потемневшие, смотрели не на меня, её глаза пожирали пространство.

Что же это мы делаем, — пробормотала она, как в бреду. Видит Бог, я этого не хотела. Ох, не хотела... Солнечные пятна на полу померкли, должно быть, за окнами, низко над городом проплывали облака».

«Я не могу вдаваться в подробности, вы чувствуете, что мы приблизились к запретной, загороженной зоне. Можно предположить, что в начале нашего знакомства Ольга Варфоломеевна разрешила себе затеять со мной маленькую игру. Немое обожание подростка может быть не менее лестным, чем ухаживание взрослого. Но теперь это была уже не игра. Да, — сказал рассказчик, обведя взглядом маленькое общество, — мы приблизились к зоне, окружённой рядами колючей проволоки, обставленной заградительными щитами. Их назначение — внушать священный страх. Непристойное — это обратная сторона сакрального, священное становится непристойным, когда о нём говорят вслух. И так будет всегда, несмотря на все попытки расколдовать демона и всевозможные сексуальные революции... У нас нет языка, чтобы выразить то, что мы хотели бы выразить; у нас есть много языков, все они неудовлетворительны. О сексе можно говорить разве только языком мифа, но проклятье нашего века, нашего воспитания или, может быть, проклятье всей нашей цивилизации состоит в том, что мы воспринимаем миф всего лишь как иносказание. Она всё ещё стояла перед зеркалом, смотрела на себя и на меня, и я видел, как шевелятся её губы. Это судьба, — бормотала она, — ты веришь в судьбу?»

«Обыкновенно считается, что недоросля снедает любопытство. Ничего подобного, я испытывал только страх и смятение. Больше не было учительницы и провинившегося ученика, взрослой женщины и ребёнка, перед которым впервые приоткрылось то, что ему ещё не полагается знать. Всё, что меня защищало, держало, словно на помочах, мои родители, школа, двор, игры, рачья скорлупа жизни — детство, из которого я рвался изо всех сил и с которым так страшно было расставаться, — всё отлетело, рассыпалось, я остался один, словно вытолкнутый за ворота уютной тюрьмы, лицом к лицу с нею и с тем, что она назвала судьбой. Мы были одни, мы были мужчиной и женщиной, больше никем».

«Она... я говорю: она, ибо мы лишились имён. Она медлила, пальцы теребили поясok халата, и лицо, серое, как ртуть, с огромными глазами, с приоткрывшимся ртом, следило за мной из зеркала. Оттого, что оно было слегка наклонено, я видел её почти всю, и казалось, что она смотрит на меня исподлобья. Может быть, она ждала, что я опомнюсь и убогу. Её пальцы развязывали что-то там, развели в стороны, я увидел её тёмно-розовые соски, обведённые кружками, увидел живот и тенистую складку, похожую на букву игрек. О, я знаю, вы подумали — зрелая женщина соблазнила подростка. Но с таким же правом можно сказать, что я был её невольным соблазном. На самом деле это было что-то другое, превратившее нас в сомнамбул, лишившее воли и меня, и её, а вернее сказать, внушившее нам неукротимую волю. Всё это — там, перед зеркалом — продолжалось одно мгновение; она запахнула халат. Лицо её приняло решительное выражение, она подошла ко мне и быстро поцеловала меня, словно мне предстояла опасная операция. И я поплёлся за ней в другую комнату, оказывается, там была ещё одна комната. Чем-то одуряющим пахло в этом покое; она сидела на краю кровати, необыкновенно широкой, занимавшей всё место, а я стоял перед ней, словно рекрут, и она расстёгивала и снимала с меня мою одежду. И вот на этой кровати, представьте себе, — сказал рассказчик, — произошла со мной позорная и комическая история. Смейтесь: я потерял сознание».

«Да — упал в обморок, если можно сказать так о человеке, который и без того лежит; лишился чувств, но не от физического потрясения — мне кажется, я вообще ничего не испытал, — а от волнения, к которому, может быть, присоединился запах духов. Очнувшись, я почувствовал холод на висках, она тёрла меня одеколоном. Светлые ароматные волосы щекотали меня, я отстранился. Жив? — спросила она. Я молчал. Ничего, это бывает, сказала она. Она встала и слегка раздёрнула гардины большого окна. На ней ничего не было. Я старался не глядеть на неё. Что бывает? — спросил я тупо. Никогда в жизни я не испытал такого унижения».

«Первый блин комом! — сказала она. В довершение моего стыда она тщательно вытерла — на мне и на себе —

липкое и неприятное, то, что из меня вылилось. Она гладила и утешала меня, как маленького. Она прилегла ко мне. Я отвернулся от неё чуть ли не с ненавистью. В глазах у меня стояли слёзы. Тут я вдруг сообразил, словно только сейчас заметил, что мы лежим под простынёй, за окном белое, как вата, небо, и какая-то опасная тишина стоит в квартире. Страшная мысль прилипла к моим губам: а Щука? А если... Что мы тогда будем делать? Но она словно и не помышляла об этом. Как будто мы стали невидимы, — и знаете, мне ведь в самом деле предстояло сделаться невидимкой, как в известном романе, — пока кто-то не увидел следы на снегу...»

«Что будем делать, рассеянно проговорила она, угадав мой вопрос, да ничего не будем делать! Сейчас с тобой встанем и выпьем чаю. Только ты должен отвернуться... Выпьем чайку, сказала она, и ты пойдёшь. Тебе пора делать уроки. Я сердито возразил: Нам уже ничего не задают. Ах да, сказала Ольга Варфоломеевна, я совсем забыла; но тебе надо готовиться к экзаменам. Мы лежали, накрытые до подбородка. Я вот всё время думаю, — сказала она, — ты понимаешь, чем мы с тобой тут занимались? Ты несовершеннолетний, а я... Ты пойдёшь домой, и мы забудем эту историю, договорились? Мы с тобой зашли слишком далеко, ни к чему хорошему это не приведёт. Ты меня понял? Ты сюда не приходил, и ничего между нами не было. И вообще ты меня не знаешь. Договорились? Ну вот. А теперь отвернись, мне надо одеться. Я молчал, и она молчала».

«Потом она спросила: Это вы его так называете? Не волнуйся: Юра приедет завтра, он у бабушки. Она его очень любит. А ты? — спросил я. — Что я? — Ты его тоже любишь? Она пожала плечами. Я его мать. Разве твоя мама тебя не любит? Усмехнувшись, она добавила: Ты что, ревнуешь? Не беспокойся, это совсем другое. А по-настоящему я люблю только тебя. Это ужасно, это чудовищно, сказала она, смеясь, но я люблю только тебя. Но теперь это уже не имеет значения. И я тебя тоже, — сказал я. Она улыбнулась и ответила: Я знаю. Я это знала с самого начала. Мне стало как-то легче. Я хотел спросить: а...? — и запнулся. Я не знал, как назвать этого человека. Ты про моего мужа? — спросила она. Он придёт поздно... на рассвете. И будет потом спать

до часу дня. Дождь собирается, — проговорила она. — А утро было такое ясное, ни облачка... Нет, это не любовь, это тебе только кажется. Ты влюблён, мальчики часто влюбляются во взрослых женщин. Это пройдёт. А вот я тебя действительно люблю. Тебе это кажется странным?»

«Она поцеловала меня. Если хочешь, сказала она осторожно, мы можем попробовать ещё раз. Только это будет последний раз, слышишь? Она ровно, медленно поглаживала меня. И расстанемся... Ложись ко мне ближе, вот так... Не торопись. У нас ещё уйма времени... Сейчас пойдёт дождь; видишь, как стемнело... Только не торопись. Медленно. Мой единственный».

Рассказчик обвёл глазами слушательниц.

«И, представьте себе, всё как-то получилось очень хорошо. Вас, должно быть, удивляет, что я так уверенно воспроизвожу все слова, все... частности, вас это удивляет: ведь мысль и память исчезают в эти мгновения, вроде того как у тонущего лёгкие заливаются водой. Пожалуй, это сравнение можно продолжить. Нашу кровать можно было сравнить с кораблём в океане. За окном всё сверкало и громыхало, крупный дождь стучал в стекло».

«Оттого ли, что это было во второй раз, или благодаря изумительному такту моей подруги, наше соединение совершилось просто и естественно, за исключением разве что последних мгновений полного сумасшествия, так что сейчас мне трудно решить, а тогда тем более невозможно было понять, осталась ли она удовлетворена мною или всё её умение сосредоточилось лишь на том, чтобы дать мне почувствовать себя мужчиной. В одном фрагменте Новалиса, если не ошибаюсь, говорится о том, что любовная встреча есть одновременно физическое нисхождение по ступеням чувственности вплоть до оргазма и восхождение по лестнице духа до экстаза».

«Понемногу я пришёл в себя; всё изменилось; я начал ориентироваться в новом для меня мире. Это был мир нежности и восхищения. Я стал различать подробности в том, что оевало меня ветром волос, и обволакивало, и обнимало белыми, мягкими руками. Я увидел то, что предстало моим глазам без всяких уловок, с бесхитростной очевидностью, но требовало нового зрения; теперь я про-

зрел. Я открывал это тело, как ребёнок открывает книжку с картинками или как человек, разбирающий текст на чужом, всё ещё непонятном и восхитительном языке. Похоже, ей не было неприятно моё любопытство; она находила его забавным и позволяла мне разглядывать себя со снисходительной улыбкой, уверенная в себе, как богиня. Меня поразила узость её талии, её просторные круглые бёдра, мне захотелось обнять их, зарыться в них головой, и... не могу скрыть от вас совсем уже дикую мысль, мелькнувшую за кулисами разума, — что эта расщеплённая раковина могла бы произвести на свет и меня. Мысль, возможно, и не такую уж абсурдную. В каком-то смысле так оно и было».

«Она потихоньку выпроводила меня, и с этого дня мы стали встречаться. Иногда мне открывала дверь злобещая старуха, которая, может быть, ничего плохого и не замышляла; во всяком случае, мне больше не задавали вопросов, поворачивались и молча шлёпали в свою каморку, и в ту же минуту я забывал о ней, я почти бежал по коридору, отворял дверь, не стучась, и мы бросались друг к другу в таком нетерпении, что иногда это происходило тут же, в первой комнате на полу. И никто не знал об этих свиданиях, кроме таинственно-мрачной бабуся, кто она была, нянька, родственница или просто соседка, не знаю. Однажды, когда я сбегал, прыгая через ступеньку и громко насвистывая, вниз по лестнице, я столкнулся нос к носу со Щукой, он шёл навстречу и как-то странно сузил глаза, или мне показалось, — мы не произнесли ни слова, я выскочил из подъезда. Я тотчас позабыл об этой встрече, возможно, она в самом деле не имела значения. Ничто больше не имело значения».

«Учебный год кончился, мои родители ни о чём не подозревали, и для них было полной неожиданностью, когда, вернувшись домой после первого испытания, в белой парадной рубашке с отложным воротом и свежeweыглаженном пионерском галстуке, я объявил, что срезался. Получил переэкзаменовку на осень. Моя мама расплакалась, сестра уставилась на меня круглыми глазами. Отец ничего не сказал и лишь завесился густыми бровями, как делал при каждом новом ударе судьбы. Но совершилось чудо. Я даже толком не знал, что именно произошло, да и какое мне

было дело до подробностей, школа интересовала меня как прошлогодний снег. Ольга Варфоломеевна пришла мне на помощь, чувствуя себя, как она мне призналась, виноватой; выяснилось, что у моей возлюбленной есть "кое-какие связи"; на кого-то нажали, чуть ли не на самого директора, и отношение ко мне внезапно переменялось. Мне разрешили пересдать экзамен теперь же, по окончании испытаний, кое-как я свалил с себя это бремя. Другая беда, по-настоящему грозная, о которой я сейчас расскажу, стряслась со мной, с нами: гром грянул среди ясного неба».

«Конечно, это должно было рано или поздно случиться. Следы человека-невидимки, отпечатки голых ступней бежали по снегу! Если вы видели фильм, который шёл в эти годы в Москве, вам должен был запомниться этот кадр. Но ещё прежде что-то начало меняться в Ольге Варфоломеевне. Она стала раздражительной, суетливой, то и дело теряла что-то, придиралась ко мне по всякому поводу. Я был виноват, что долго не приходил, виноват, что пришёл слишком рано. Из-за меня она опаздывала куда-то, залила новое платье какой-то дрянью, из-за меня — чему я охотно верю — не ладил со своим таинственным мужем. Словом, я был причиной всех неудач, я принёс несчастье в её мирный дом. Какой же он мирный, возражал я. Не смей так говорить, — кричала она, — что ты в этом понимаешь! Она отдавалась мне с какой-то судорожностью, она, такая разумная, стонала и торопила меня, эта судорожность передавалась и мне, и потом, когда мы в изнеможении отстранялись друг от друга, я думал, что больше не появлюсь. Мне казалось, что наши свидания перестали приносить ей радость».

«Как-то раз она предложила поехать на дачу. — К вам, на дачу? — Не к нам, в другое место. — Я спросил: что-нибудь случилось, кто-нибудь нас увидел? — Ничего не случилось, погуляем, подышим свежим воздухом. А на другой день ты вернёшься. — А ты? — Ты вернёшься, а я останусь».

«Я понял, что расспрашивать её бесполезно; я сказал дома, что в школе устраивается поход с ночёвкой, это звучало малоправдоподобно, ведь занятия уже окончились, но ничего лучшего я не мог придумать; мама приготовила мне бутерброды, я напялил на плечи старый брезентовый рюкзак. Ольга ждала меня возле касс Белорус-

ского вокзала. Мы высадились на остановке Перхушково, долго шли лесом, полем, это были в то время места дивной красоты. Дача находилась на краю посёлка, невзрачный домишко, может быть, предназначенный для obsługi. Кругом ни души. Местность, о чём я, разумеется, не знал, представляла собой некую закрытую зону».

«Поздним вечером мы долго сидели на ступеньках крыльца, на другой день поздно встали и отправились на станцию, было уже около двенадцати. Подошёл поезд, она обняла меня, я стоял в дверях вагона, она оглядывалась, мы не знали, что сказать на прощанье друг другу. Раздался свисток дежурного, она бросилась ко мне. Мы сидели у окна в полупустом вагоне, и вот вошла женщина, пожилая цыганка, босая, высохшая, как абрикосовая косточка, в шёлковом обтрёпанном платке, съезжавшем с её конских смолых волос; вошла и уселась возле Ольги Варфоломеевны. Явились карты, последовало предложение погадать. Вон ему погадай, возразила Ольга. Старуха отёрла щербатый рот ладонью и спросила: А он кто тебе будет? — Сын. — Ой, врешь, тётка. Неправду говоришь; какой он тебе сын?.. Не бойсь, сказала цыганка, понизив голос, нас никто не слышит. — Чего мне бояться, сказала Ольга Варфоломеевна. — А небось сама знаешь. О-ох, вижу, вижу вас обоих наскрозь. — Пошла отсюда вон, сказала Ольга Варфоломеевна. — Зачем ругаться; я тебе лучше кой-что скажу. Бросит он тебя. Вишь какой он молоденький. А ты старая. Я заговор знаю. Так заговорю, что присохнет он к тебе навеки. Привяжешь его крепче всех цепей. — Пошла вон, ведьма! — закричала Ольга, плача от гнева. И мы оба выбежали из вагона. Это был какой-то полустанок, мы озирались, мы не знали куда нам деться».

«Но я собирался вам рассказать о более важном событии. Я сказал, что гром ударил с ясного неба: случилось это в нашем старом дворе. После войны, я имею в виду мировую войну, которая тогда ещё не называлась первой, Германия потеряла свои колонии, Юго-Западную Африку, Камерун, Того и все остальные, и, как гласила филателистическая молва, последние колониальные марки были выпущены в траурных рамках.. Но это была не молва и не легенда: с

гордостью могу сказать, что я единственный в классе и во дворе обладал этой серией. Филателия была великим приключением нашего детства. До сих пор для меня остаётся загадкой, каким образом, живя в закрытой стране, мы умудрялись владеть почтовыми марками далёких экзотических стран и островов, о которых даже не упоминалось в учебнике географии. Ещё не все ребята успели разъехаться на каникулы. Щука был в городе. Щука вынес во двор свою коллекцию. Можно было залюбоваться его альбомом: в твёрдом переплёте с тиснением, с толстыми разграфлёнными страницами, с гербами давно не существующих княжеств и королевств. Роскошный дореволюционный альбом, слегка обтрёпанный, вероятно, реквизированный у кого-нибудь из тех, кто бесследно исчезал в те годы. Само собой, с ним не шли ни в какое сравнение наши купленные в писчебумажном магазине альбомчики «для рисования»».

«Щука предложил меняться. Он давно уже зарился на мои колонии. Предлагались очень неплохие вещи: Ватикан с золотыми ключиками и тиарой и кое-что впридачу. Началось с обычной торговли, он набавлял цену, я упирался; мне вообще не хотелось меняться. Началось мирно, а закончилось не то чтобы обычной ссорой, как тогда с шахматами, но гораздо хуже. Ну что ж, — проговорил он со зловещим спокойствием, — не хочешь — как хочешь. Дай-ка мне ещё разок посмотреть».

«Чего смотреть-то, сказал я. Ну дай, лениво сказал Щука. И, не дожидаясь разрешения, вытянул кончиком пальца мои марки из кармашка, — мы приклеивали длинные кармашки из прозрачной бумаги к альбомным листам. Он положил марки на ладонь. Красивые, сказал он. Ты! — сказал я, обеспокоенный, — положи назад. В ответ он засмеялся и ссыпал марки себе в альбом. Ах ты, гад, — вскричал я. Чего? — спросил он, прищурившись. Щука, сказал я. Верни по-хорошему. А ты как меня назвал? — спросил он. — Верни марки, сказал я. — Нет, ты повтори. — Чего повторить? — Повтори, что ты сейчас сказал. Извинись! И он свирепо взглянул на меня. За что это я буду извиняться, — сказал я презрительно, он мои марки зажил, а я ещё должен извиняться».

«Он огляделся и, хотя мы стояли почти вплотную друг к другу, поманил меня пальцем. Если ты, сказал он тоном заговорщика, будешь пасть свою раскрывать, паскудина, гнида вонючая, знаешь, что я с тобой сделаю? Он выдержал паузу. Всё расскажу отцу, понял? Чего это ты расскажешь? — спросил я оторопев. Сам знаешь что, ответил он. Ничего я не знаю, сказал я. — А кто у меня папаша, знаешь? Ну, знаю, сказал я. — А теперь проси у меня прощения. Скажи: «Щука, прости меня». Я пробормотал что-то. «Прости, я больше не буду». Больше не буду, сказал я. «Честное пионерское». Я дал честное пионерское. То-то же, сказал Щука, я человек строгий, но справедливый. Даю тебе за твои колонии Испанию с королём и римским папой. И всё? — спросил я. — А что, мало, что ли? Ах ты, змеёныш. Ладно, сказал он, даю в придачу Уругвайчик. Чтоб ты знал, что я человек справедливый».

«Я думаю, что он ничего не знал, разве только заподозрил что-то. Неделя прошла или около того, Щука не появлялся — очевидно, отбыл на дачу или куда там его вывозили на лето, чему я был рад и не рад, ведь это могло означать, что мы расстаёмся с ней на три месяца. Как вдруг однажды я увидел Ольгу Варфоломеевну: она стояла между створами ворот, солнце било ей в спину, я не различал её лицо, видел лишь тёмную фигуру и огненный нимб волос. Мне показалось, что она поманила меня. Я выскочил из двора в переулок. Её не было. То, что меня поманило, было видением. Несколько минут спустя я увидел её снова, она шла по противоположной стороне, и вновь меня поразила красота её бёдер, узких покатых плеч, красота походки и лёгкого, в каких-то экзотических цветах платья, порхавшего вокруг ног. Она шла в сторону Харитоньевского переулка ровным крупным шагом, не спеша и не оборачиваясь, держа под мышкой сумочку-ридикюль, свернула направо, мы поровнялись около школы, выстроенной на месте церкви, которую я ещё помню; говорили, что в ней венчался Пушкин. И хотя это было неправдой, всё равно было известно, что в этой церкви венчался Пушкин».

«Она не заметила меня, не повернула головы и не ускорила шаг и произнесла: Иди вперёд, я тебя догоню. Я пересёк трамвайный путь и вышел через вертушку на

бульвар. Места, возможно, памятные и вам, я помню их так, словно вчера там побывал. Чистые пруды в то время были много чище и во всяком случае просторней. Буйно зеленеющие деревья, газоны с жёлтыми и лиловыми цветами, песочный круг, по которому ходил по воскресным дням верблюд, карусели, продавцы мороженого. Всё это ещё существовало в те далёкие времена. И она купила мне круглое мороженое между двумя вафлями, на которых было выдавлено имя Ольга, самое большое, за восемьдесят копеек».

«Я хочу тебе кое-что сказать, промолвила она, называя меня так, как только она меня называла. С тех пор никто не звал меня этим именем, и оно так и осталось нашим секретом. Я должна тебе кое-что сказать... Я тоже, быстро сказал я. И сейчас же пожалел, что проговорился: зачем надо было ей рассказывать? — Что тоже? — спросила она. Ты не бойся, сказал я, это всё ерунда, он меня просто разыгрывает. Может, мы сядем? — сказала Ольга Варфоломеевна, и мы уселись рядом на скамейке. Кто тебя разыгрывает? — Нет, сначала ты скажи. — Скажи мне, потом я тебе скажу. — Он знает, сказал я. — Кто? — Щука. То есть он не говорил прямо, а намекнул. И мне пришлось рассказать об инциденте с траурными колониями. Это ерунда, добавил я. Это он просто меня запугивает. А сам ничего не знает. — Ты так думаешь? — спросила она задумчиво. Она взглянула на меня и сказала: Ты перепачкался. Нельзя быть таким неаккуратным. Она отколупнула свою крохотную сумочку и вытерла душистым платком капли мороженого на моей рубашке. Потом утёрла мне щеки, точно я был маленький; я брезгливо отстранился. Что он тебе сказал? — спросила она. Постарайся вспомнить. Я возразил, что ни о чём таком Щука впрямую не говорил, лишнее доказательство, что он ничего толком не знает, только пригрозил, что если я буду раскрывать пасть, то он всё расскажет папаше. Знаешь что, сказал я. Давай уедем».

«Давай уедем, далеко, где нас никто не найдёт. Давай, сказал я вдохновенно, махнём куда-нибудь на Урал, или в Сибирь, или ещё куда-нибудь! Ольга Варфоломеевна внимательно слушала меня и кивала с очень серьёзным видом. Я всё обдумал, продолжал я, главное, никому ни слова. Ты

возьмёшь с собой самое необходимое. Мы встречаемся на вокзале. Я родителям тоже ничего не скажу. Но они подумают, что с тобой что-то случилось, они будут страшно волноваться, возразила она. — Мы им напишем с дороги. Или дадим телеграмму. Я сам напишу. Я скажу, чтобы они меня не искали. — А где ты возьмёшь деньги на билет? — Ты мне дашь. В долг, сказал я. А потом, когда мы приедем, я тебе отдам. — Ты мне отдашь... угу. Она всё кивала головой. Глупый, сказала она. Куда же мы уедем. Нас найдут везде. Я взглянул на неё и понял, что ни одного моего слова она не принимает всерьёз. Всё ясно, прошипел я. Ты меня не любишь, так бы и сказала! Я для тебя просто игрушка, поиграла и фить! Ты надо мной смеёшься, всегда смеялась... Я стиснул зубы. Мне хотелось её придушить. Она усмехнулась. Я? — спросила она. Тебя не люблю? Несколько времени она всматривалась во что-то вдаль. Ты даже не знаешь, ты не можешь себе вообразить, пробормотала она, что ты для меня значишь. Я всё тебе отдала. У меня ничего не осталось... Ничего кроме тебя. Всё остальное превратилось в дым, в фантом. Ты не смеешь судить об этом».

«Теперь я видел, что она тоже рассердилась не на шутку, нахмурилась и поджала губы. Что ты можешь знать, сказала она, что ты можешь вообще об этом знать, молокосос!»

«Худшего оскорбления невозможно было придумать. Мы сидели и смотрели в разные стороны. Ещё немного, я бы встал и ушёл. И больше она никогда бы меня не видала. Она пробормотала: Значит, он так сказал. Ты уверен, что он именно так и сказал — расскажу отцу? Я пожал плечами. Знаю ли я, спросила она, где работает её муж? Конечно, знаю, сказал я. Он охранник фараона. Кто это сказал? — спросила она с изумлением. Мой папа, сказал я. Разумеется, я не знал, что имелся в виду Потифар, начальник фараоновых телохранителей. Так же как ей вряд ли было известно, кто такой Иосиф Прекрасный. Скажи твоему папе, жёстко сказала она, чтобы он попридержал язык! Помолчав, она добавила: Ты, кажется, не совсем себе представляешь, что это такое. Ты знаешь, что он с тобой может сделать? С тобой, с твоими родителями, с сестрёнкой? И со мной, конечно... Если бы ты был старше, я могла бы тебе кое-что рассказать... Я засопел: опять она попрекнула меня моим

возрастом! Не сердись, мягко сказала она и назвала меня снова тем именем, навсегда ушедшим вместе с ней. Она взяла меня за руку. Я могу тебя поздравить, ты теперь стал настоящим мужчиной. Да? — сказал я удивлённо. — Да. Я тебе хотела сказать. Ты стал отцом. — Как это? — спросил я. Она пожалала плечами. Очень просто. Я беременна».

«Я как-то не сразу сообразил, в чём дело, и довольно глупо возразил: А причём тут я? Она ответила, усмехнувшись: Хорошо было бы, если бы ты был ни при чём. Только видишь ли. Я с моим мужем давно не живу. Я не сплю с ним. Он приходит на рассвете и валится, как мёртвый, такая работа. Ты — мой муж! — сказала Ольга Варфоломеевна и весело рассмеялась».

Рассказчик продолжал.

«Где-то теперь гуляет мой сын. Годы стёрли разницу в возрасте, да и велика ли была разница? Теперь мы почти ровесники. Где-то живёт мой отпрыск по фамилии Кищук, моя кровь, — или, может быть, это дочь? Вероятно, Ольга Варфоломеевна приняла меры к тому, чтобы у супруга не возникло подозрений, — женщины всегда находят выход. Так что ни дочь, если это дочь, ни официальный отец не подозревают о моём существовании. Если, конечно, он остался жив, а не угодил — что вполне возможно — в собственную мясорубку».

«Юра, надо полагать, пошёл по стопам папаши. Очень может быть, что сейчас он в высоких чинах. Хотя он-то, наверное, понял, — если он в самом деле был так догадлив, — что я его отчим. Но могло случиться другое. Вспомните, что это было за время. Крысы начали пожирать друг друга... И если это случилось, если муж был арестован, жену должны были отправить в лагерь, а вот дети — тут-то, может быть, и пригодилось бы моему сыну или дочке чужое отцовство. Жива ли ещё Ольга Варфоломеевна? Она не показывалась, я не знал куда себя деть, наотрез, ценой ужасного скандала отказался ехать в пионерлагерь, слонялся по пустому двору, жарился на крыше, куда можно было забраться по пожарной лестнице. И все время думал об Ольге. Я не знал, в городе ли она, не выдержал и отправился к ней. Отлично помню, как я поднимался по лестнице, не зная, что я скажу ей, что скажу Щуке, если вдруг он окажется дома.

Мне открыла соседка. Дверь была на цепочке. Обыкновенно меня впускали без разговоров. На этот раз старуха спросила: Ты к кому? Я сказал, к Юре. Нету здесь никакого Юры, ответила она и хотела захлопнуть дверь. Я к Кищукам, сказал я. — Нету никаких Кищуков, уехали. — На дачу? — спросил я. — Совсем уехали. И нечего сюда шастать. — Подождите, сказал я срывающимся голосом, как это совсем? Куда? Она ответила: Я почём знаю. Новую квартиру им дали. И ступай. Нечего тебе тут больше делать».

«Я спохватился, что мне нужно было спросить, где находится эта квартира, взбежал по ступенькам и долго, потеряв надежду, звонил. Старуха открыла. Почём я знаю, сказала она. И дверь захлопнулась».

«Итак... она сбежала, повинувшись страху. Я стоял на площадке в тупой задумчивости. Она сбежала, я это понял. Она не разлюбила меня, но страх оказался сильнее любви, сильнее всего, что нас соединяло, что было смыслом нашей жизни по сравнению с ним всё остальное не имело никакого значения. Совращение несовершеннолетнего или как там это называется. Дурацкие, бессмысленные слова. Торжественное разоблачение. Ну и что?.. На любом суде я поклялся бы головой, что никакого совращения не было. А был страх. Муж-оборотень, который есть и которого нет, на одних фотографиях он в штатском, на других — в ремнях и со шпалой в петлице, ничтожный и всевластный. Новая квартира, что ж, это было похоже на правду, им всем полагались отдельные квартиры в особых домах. Может, теперь у него было уже две шпалы. Не в квартире дело, а в том, что людьми правит страх, это я понял. Власть у того, кто внушает страх. Эту власть даже не обязательно показывать. Я этого мужа ни разу не видел, он не интересовал меня. Может, он ничего и не знал; наверняка не знал. Не в этом дело, а в том, что существует власть страха, она везде, просто я об этом не знал».

«Я шагал вниз по лестнице, со ступеньки на ступеньку, вышел из подъезда, был ослепительный день. И я чувствовал, как мне опостылело всё на свете. Она исчезла. Бросила меня, как сбрасывают на бегу мешающую обувь. Я решил всё хладнокровно обдумать, на это ушло несколько дней. Не помню, говорил ли я вам, что во двор, по обе

стороны от ворот, выходили два чёрных хода, через один из них можно было спуститься в подвал. Туда вела короткая узкая лестница и дверь, за которой в крохотном закутке помещался разбитый фаянсовый стульчак и висело нацарапанное дворником обращение к жильцам, я помню из него одну фразу «Лакеев за вами нет». Было видно, что лакеев в самом деле больше нет: всё было забросано мусором. Дальше начинался тёмный коридор, за ним бывшая котельная, её ликвидировали с тех пор, как дом был подключён к центральному отоплению. Коридор и комната, где с потолка свисал обрывок провода, были местом таинственных приключений нашего детства; детство давно миновало. Дождавшись, когда стемнеет, я сошёл в катакомбы с карманным фонариком. Из подвальной комнаты можно было добраться до люка в углу двора. Обследовать этот второй коридор я не стал, что и привело к неудаче моего предприятия».

«Всё было приготовлено: ящик, шаткий, но пригодный для моей цели, верёвка и мыло. Я владел искусством вязать морской узел. Этим узлом я привязал верёвку к обрывку провода, обмотал для верности вокруг изолятора. В кармане у меня лежала записка; я воспользовался некоторыми выражениями, вычитанными из книг. Само собой, об Ольге не было упомянуто ни намёком. Мною было предусмотрено всё, за исключением одного обстоятельства. Я забыл, что подвал служил изредка ночлежкой для бродяг. Дворник вёл против них войну с переменным успехом. В этот раз в коридоре, который вёл к люку, устроился нищий. Это был пожилой интеллигентный человек, я встречал его изредка в нашем переулке. Он вытащил меня из петли».

Повествователь проговорил:

«Где-то я вычитал фразу из египетского папируса «Те, чьи имена произнесены, живы». Это верно: имя обладает магической властью, потерять имя — всё равно что умереть. Я не могу вам открыть имя, которым звала меня Ольга Варфоломеевна, это имя осталось там, в России, да и сам я, в сущности, остался там, а тот, кого вы слушали, — это другой человек...»

В ответ раздались восторженные восклицания: был внесён необыкновенный торт. Все занялись чаем.



Борис РАХМАНИН

ТРИ РАССКАЗА

Разрешение на выезд собаки

Высоко на обрыве кристаллами соли сияли новые, еще непривычные для глаза дома, а все остальное — черный ручей, матовые, забредшие в него стволы осин, грязные половицы мостка, сквозь которые, стоило на них шагнуть, проступала вода: влажный, пахнувший глиной воздух, прерывистый скрежет невидимого экскаватора, — все остальное оставалось прежним. И как прежде, показалось мне, шел впереди мальчик в красных резиновых сапожках. Разве нет? Разве не вездесущи они, разве не пребывают всегда и везде, эти семилетние сорванцы? Стараясь не упасть в ручей, он осторожно дотянулся с мостика до осины и, упираясь в нее одной рукой, другой приколол объявление. Сколько их видел я уже до этого, висевших низко-низко, почти у самой земли, и не догадывался, кем они приколоты. Вода из щелей настила жадно хлынула к моим ногам, погналась и отступила. Чертыхаясь, я вытер подошвы баш-

маков о травянистую кочку и осмотрелся. Мальчик уже скрылся за поворотом тропы, но на деревьях вдоль глинистой тропы, низко, почти над самой землей белели объявления. Потерялась собака... Потерялась собака!.. Потерялась собака! Мне показалось, что всякий раз этот коротенький, отпечатанный на машинке текст звучал как-то иначе. То печально, то с досадой, то с бессильным и даже злым отчаянием. Потерялась собака!!!

...Он как раз прикалывал новое. Приколол и, медленно шевеля губами, весь поглощенный им, стал читать. Внезапно нос у него сморщился, губы искривились, по круглой щеке косо поползла слеза.

— Вадим!

Он не оглянулся. Двинулся дальше.

Ускорив шаг, я с трудом догнал его и, тяжело дыша, схватил за плечо.

— Ты что? Не слышишь? Здравствуй!

— А, папа?.. Я... Привет...

Не удержавшись, я сделал ему выговор. Почему он меня избегает? То, что мы с его мамой расстались, развелись, не должно между мною и им, моим сыном, быть причиной... Э-э... Неужели он меня совсем разлюбил? По щенку плачет, а я, его отец, ему, Вадиму, безразличен?

— Папа, я... Я больше не Вадим, я Давид теперь...

— Что-о-о?!

Я так и ахнул. Вот это новости!

— Значит... все-таки уезжаете?

— Да, завтра.

— Все-таки уезжаете... Ну а имя-то зачем менять? Прекрасное, звучное было имя — Вадим. Давид, говоришь?

— Ну, Давид, да... — Мальчик как-то странно испытующе глянул на меня, шмыгнув носом. Уж не иронически ли? Решил, наверное, что я... что я против подобных имен.

— Имя, как имя, — заставил я себя проговорить. — Не в имени дело.

— Ну, я пошел, — сказал он чуть потеплее. — Мне пора, извини...

Ишь... Пусть идет, пусть уезжает. Пусть он со своей маман... Пусть они... Понутив голову, я двинулся вслед

за сыном. Нетрудно догадаться, как паскудно было у меня на душе.

— Ты же дал согласие, — произнес он, оглянувшись, — подпись поставил.

— Да, я дал согласие. Да! Но все из-за твоей мамы! Она же там без тебя... Ну... не сможет...

Мальчик остановился, стал прикалывать к дереву очередное объявление. Еще раз оглянулся, блеснув влажными глазами.

— А я там без тебя... как? А ты тут... Без меня? Я знаю, тебе трудно будет. Но... Думаешь, мне легко? Но мы же... Мы все-таки мужчины с тобой, стерпим...

Тяжело вздохнув, я попытался помочь ему, хотел придержать уголок бумажки, но он решительно отвел мою руку. «Я сам!»

Из-за поворота показалась и приблизилась к нам какая-то тощая дама, довольно величественная, хотя и в неряшливо надетом задом наперед платье. Спиртным от нее пахивало. Нагнувшись, стала читать объявление. Потом, оглядев нас сердитыми, выцветшими глазами, спросила:

— А как ее зовут, вашу собаку?

— Никак, — ответил я холодно.

Мальчик, кажется, улыбнулся.

— Имя писать нельзя, — сказал он со вздохом, если имя написать — каждый поманить может... Понимаете?

— В универсаме мороженой рыбы нет, а вы... Собак развели, кошек! — изрекла дама. Удалилась на несколько шагов и с яростной, почти неправдоподобной ненавистью прокричала. — У, курчавые! У-у!

Мальчик снова с тем же интересом посмотрел на меня. И, хоть промолчал, «Ну, что теперь скажешь?» читалось в его взгляде.

— Эй, разуйте глаза! — крикнул я вдогонку даме. —

Какие еще курчавые? Мы русские!

— Нет, — тихо добавил сын. — Это ты русский, папа, а я... Я теперь, как мама, — еврей. И фамилия моя уже не Сидоров, а Эрлих, как девичья фамилия мамы.

— Вот как! А отчество? Отчество ты тоже изменил? — Я задыхался. Готов был браниться, в драку готов вступить был. Но с кем? С Вадиком? То бишь, с Давидом?..

Он старался моего гнева не замечать.

— Нет, отчество у меня старое — Иванович, — произнес Давид, закрепляя краешек объявления кнопкой. Прерывисто вздохнул. — Скажи, папа, а Шарик... мой Шарик... который потерялся... он кто по национальности?

Гнев перешел в растерянность, я пожал плечами.

— Ну, ты и скажешь! Простая дворняжка...

— Хорошо. Почему же тогда созвездие Гончих Псов есть, а созвездия Простых Дворняжек нету?

Задрав головы, мы уставились в еще голубое небо.

— На всех собак звезд не хватит, — нашел я объяснение.

— Звезд хватит, — произнес мальчик, — но... Одних собак любят, а других... — он снова вздохнул, нет, всхлипнул на этот раз. — А ведь Шарик такой умный, такой хороший...

— Хороший, умный, — хмыкнул я, пытаюсь обратить все в шутку, — а потерялся.

— Да, — неожиданно согласился сын. — Потерялся. А так трудно было достать справку. Ну, разрешение... на его выезд. Мама два месяца в очереди отстояла. А позавчера... Когда она мне эту справку принесла, я, дурак, вслух ее прочитал. Обрадовался. А он, Шарик... Хвостик поджал, глазками моргает... Что с тобой, Шарик? А вчера утром смотрю — его нет...

— Потерялся? — подсказал я с невольной хрипотцой.

— Нет... Он... Он убежал.

Сын резко отвернулся, и плечи его запрыгали.

— Ну, Вадик, — обнял я сына. — То есть Давик... Перестань! Собака найдется. Прибежит.

— Нет, — уткнувшись в мою куртку, мотал он головой, — нет, он не вернется. А я... я не успею его найти. Мы же... мы завтра уже... А я так хотел... Это же подарок! Твой подарок...

Сердце мое, как говорят в таких случаях, так и разрывалось. Ныло, во всяком случае; давало знать, что оно у меня есть.

— Слушай, ну, хочешь, я сам твоей собакой буду. Хоть немного!

— Как это? — Шмыгнул он носом.

— Возьми да и представь, что я — Шарик. Только по-настоящему представь — и я в него превращусь. Не веришь?

Он обернулся и в миг, когда взгляды наши встретились, я превратился в собаку. Смотрел на него, помахивая хвостом, и внезапно дважды звонко и весело пролаял: «Гав! Гав!»

— Шарик? Это... Это ты?!

В следующую секунду я уже прыгал ему на грудь, стараясь лизнуть его нос, а он, отмахиваясь, изумленно счастливо хохотал.

— Фу, Шарик, фу! Сидеть! Место!

Схватил с земли какой-то корявый сучок и, размахнувшись, бросил. «Принеси!» И я тут же доставил ему сучок обратно. Правда, не очень охотно и не сразу выпустив его из клыков. Мы долго носились с моим маленьким хозяином по лугу наперегонки, я звонко лаял, а он звонко хохотал, валясь иногда в изнеможении на увядший травяной дерн и восторженно болтая в воздухе ногами в красных резиновых сапожках. Иногда, если мальчику этого хотелось, я опять превращался в самого себя. И это ничуть не мешало нашему шумному веселью.

— Папа! Ой, Шарик... фас! Шарик... ой, то есть папа, дай лапу!

Но вот мы подустали чуточку и спокойно, умиротворенно зашагали по направлению к дому.

— Умничка! — повторял он. — Хороший пес. Очень хороший.

А я лишь повизгивал от удовольствия и все старался на ходу заглянуть ему в лицо, лизнуть руку.

— Я еще многое умею! — хвастался я, радостно отдуваясь. — Я, Вадик, петть могу, чистить картошку, бриться... Ты маленький был, не обращал внимания — а я умелец!

— Для собаки все, что ты умеешь, не обязательно, — заметил он авторитетно. — Служи — и все. И запомни: я Давид...

— Ладно! Гав-Гав!

Зорко всматриваясь во все, что нас окружало, я шел чуть впереди хозяина и время от времени докладывал:

— Вот ветка на дереве качается, видно, птица только что взлетела...

Или:

— В лесу всегда красиво, даже в ненастье, правда?

Или:

— Считай, что я тебе помахал хвостом.

Он поощрительно откликнулся на мои старания, называл умницей, а порой и сам делился своими наблюдениями.

— Знаешь, — сказал он доверительно, — по-моему, этот ручей течет назад!

Мы миновали небезопасный мостик, поднялись на обрыв и оказались на чистом, исчерченном рисунками и словами асфальте. Цинковые водосточные трубы новых домов белели объявлениями. Мальчик насупился, остановился возле одного из них, зашевелил губами. Посмотрел на меня — я с готовностью завертел хвостом.

— Ну, ладно, папа, — произнес он, опустив глаза, — дальше я один пойду. А то... мама увидит — заругается.

Как пусто сразу на душе стало, как скверно!

— Ну, ладно, — сжалился он, заметив, как я изменился в лице, — раз так, проводи меня еще немного, до крыльца.

Все громче становился надсадный скрежет экскаватора. Новые дома кончились; за поросшими мхом дощатыми заборами, за редкой желтой листвой маленьких садов виднелись ветхие, с просевшими макушками терема. На один из них, пятясь для разгона, наезжал с тупым, неторопливым добродушием экскаватор. Медленно-медленно, как во сне, старый бревенчатый дом вспучивался и, оседая, выбрасывал в стороны в диком, неестественном сгибе сухие суставы. И вдруг, в одну секунду, точно какая-то веревочка развязалась, беспорядочно рухнул. Взметнулась пыль. И все. А ведь это дом, дом разрушился.

Я не выдержал.

— Когда мы с твоей мамой развелись... Да, да, расторгли брак. Когда разменяли квартиру, я специально пошел жить в коммуналку, а вам — о, это было нелегко! — устроил отдельное жилье в деревянном доме. Зачем, как ты думаешь? Дом подлежал сносу! Вы сейчас получили бы отдельную квартиру в новостройке! Представь себе, со всеми удобствами! Так нет. Ей, твоей маме, вздумалось ехать в теплые края... На историческую родину. Ну, конечно. Ну, ра...

Сын быстро оглянулся. Вместо Шарика, вместо преданно улыбающегося пса в шаге от него стоял раздраженный, презрительно усмевающийся человек, стоял я, его отец. Не слишком высокого роста, уже лысеющий и даже с отмеченными сединой висками.

— До свиданья, папа!

Я не послушался, прервав себя на полуслове, снова превратился в Шарика и, робко поджимая хвост, виновато поскуливая, последовал за ним. Обогнув пыльное облако

на месте только что рухнувшего дома, мы оказались перед точно таким же, кособоким, ждущим своей очереди. Мальчик, так и не решившись меня прогнать, вошел в темный подъезд. Мы поднялись по скрипучей щербатой лестнице и очутились в прихожей с заметно покатым полом. Экскаватор умолк, и в наступившей тишине я услышал стук пишущей машинки. Заговорщицки мигнув мне, мальчик открыл еще одну дверь и пропустил меня в тесную, уставленную чемоданами и коробками квадратную комнату. Молодая женщина с тугими темными колечками волос на голове, в наброшенном на плечи клетчатом одеяле, сидела за столом и неумело, одним указательным пальцем стучала по клавишам. Я давно не видел ее. Она изменилась. Стала незнакомкой. Не женой, пусть и бывшей, а именно незнакомкой, чужой женщиной. Чужой — а поэтому еще более красивой. И... и желанной.

Вытянув шею, я заглянул через ее плечо в текст.

«Потерялась собака...» — выстукивала она, — а затем, строчкой ниже, адрес.

— Давид? Ну что? — спросила она, не оборачиваясь. — Развесил?

— Развесил. Но... Мама, Шарик нашелся!

Она обернулась, и радостная улыбка тут же исчезла с ее лица. Отшатнулась даже...

— Ваня?! Зачем? Зачем ты явился?

Резко поднялась. На всякий случай я попятился к двери. Помахал хвостом.

— Я ваша новая собака. Здравствуй, Рита!

Она машинально кивнула.

— Кто-кто? Какая еще собака? О чем ты?

— Я выдержал все испытания! Давид, подтверди!

Мальчик подтверждающе покивал.

— Да, мама, он... Мама, можно?

Пожав плечами, она неуверенно засмеялась. Я ведь назвал сына Давидом. Это ее, видимо, успокоило.

— Пусть он побудет у нас немного, а? Пожалуйста! Это ведь Шарик! Смотри, и пятнышко на лбу, и хвост.

— Выдумщик! Выпороть бы тебя! — Усадила сына на стул, стащила с него сапожки.

— Он умеет лаять, — сообщил ей Вадим. То бишь, Давид. — Очень похоже лает. И служит. Совсем как настоящий! Шарик! — скомандовал сын властно. — Голос!

— Гав-гав! — Продемонстрировал я молодецки.

— Самая обыкновенная дворняжка, — пробормотала она, сдерживая нервный смех.

...Некоторое время спустя, освоившись немного, встряхнувшись всем телом, укладывая взъерошенную шерсть — чтоб волосок к волоску — я удобно расположился на полу в прихожей, между чемоданом на колесиках и обвязанной шпагатом коробкой. Уткнул в лапы длинную морду и, чутко двигая мускулистыми острыми ушами, прислушивался к происходящему. Вновь, после долгого зябкого одиночества, я обрел теплый дом и общество, и все глуше, все ровнее плескалось в моей груди еще недавно напрягавшееся до самой высокой тоскливой ноты сердце.

Мальчик еще только собирался выйти, а я уже догадался об этом, вскочил на лапы и, глядя на закрытую дверь, нетерпеливо взвизгнул. Он появился в полосатой великоватой ему пижаме. Кудрявая женщина несла мохнатую простыню и садовую лейку. Понаблюдав за тем, как сдержанно проявляем мы чувства, успокоенная, она оставила нас вдвоем и отправилась на кухню. Зазвенела вода, зашипел газ.

А мы, оставшись на минуту без присмотра, с тихим смехом бросились друг к другу, повалились на пол; потом он уселся на меня верхом, но я вывернулся, схватил пастью его руку и еле слышно, с притворной яростью зарычал. Сдерживая хохот, он опять попытался оседлать меня, но и на этот раз оказался на полу.

— Хороший! — повторял он. — Хороший Шарик! Умничка! — и ласково трепал меня по загривку.

И тут, не сумев справиться с переполнявшей меня любовью, я забылся и залаял.

— Это еще что такое?! — сердито сказала женщина, выглянув в прихожую.

Он стоял в тазу, а она, улыбаясь, поливала его из лейки теплой водой.

— Расти быстрее, — приговаривала она при этом.

Он подымал брызги, топтался в полном пены тазу, тер кулачком глаза. Огромного усилия стоило мне не бросить-

ся с оглушительным лаем на кухню, чтобы облизать его там, мокрого и блестящего, с головы до ног. Я лишь повизгивал тихонько и скалил в мучительной, разрывающей пасть улыбке белые клыки.

Женщина крепко вытерла сына простыней и помогла ему надеть пижаму.

— Если хоть раз прикоснешься к собаке, — предупредила она, — будешь мыться опять.

— Спокойной ночи, Шарик! — проговорил он, и маленький розовый рот его округлился в усталом зевке. — Пока!

Я и сам начал собираться ко сну, но помешала женщина.

— Спасибо, — поблагодарила она, на цыпочках выйдя из комнаты. — Моментально закрыл глаза. Дело в том, что... щенок его потерялся, как ты уже знаешь. Так трудно было добыть разрешение, чтобы взять щенка с собой туда. Столько документов потребовалось. О прививках, о том, что он не представляет кинологической ценности, о весе, размере... Да еще и две фотографии анфас и в профиль... Столько хлопот, а он... Взял почему-то и потерялся.

— А может, не потерялся, — не смог я не заметить, вновь из собаки превратившись в ее сварливого, вечно некогда пребывавшего в поединке с ней бывшего мужа, — может, он убежал, щенок ваш? Не дурак оказался, не хочет из родных пенат на чужбину, в Африку?! А?! Ты о таком варианте не подумала? Мало того, что ты Вадима туда хочешь увезти, мало того, что ты отца с сыном разлучить хочешь... Так ты еще и ни в чем не повинного щенка...

— Сына с отцом, — повторила она тихо. — Отца с сыном...

Я запнулся. Такой печалью наполнены были ее глаза, такой болью, что...

— Рита! — Вскрикнул я. — Рита! Опомнись, что ты делаешь? Ты же сама, сама... Я же вижу — ты сама готова потеряться, убежать готова, чтобы остаться!..

— Да, — кивнула она, — но... Я боюсь... Мне страшно здесь, Ваня. За Вадика страшно. И за себя... Такие слухи, такая тревога сейчас кругом. Нас, меня — так ненавидят... Надо бежать, бежать! Пока не поздно, пока Вадик сам еще не стал таким, как эти... Как они...

Растерянно вслушиваясь в ее бессвязные слова, я не находил в себе убежденности опровергнуть ее. Увы, неко-

торый резон в них был. И все же... Возмутился вдруг собственной вялостью, напряг душу...

— Что за чепуха! Параноидальный бред! — Вслушался в свой крик — гм, не сфальшивил ли, как у меня случается? — Пойми, все это политика, игры! Предвыборная грязь. Ничего такого за этим нет, поверь! Рита, ты преувеличиваешь! А я? Я? Разве я не сумею тебя, вас в случае чего защитить?! Да я жизнь за вас!..

Она усмехнулась. Сомневается, значит.

— А может, ты боишься, что и я, я тоже могу, стану... Этим?.. Экстремистом? «Зиг Хайль!» буду кричать? Ха-ха-ха! И поэтому, из-за такой вот смехотворной бабьей паники отнимаешь у нас с Вадиком друг друга?! Меня и себя друг у друга отнимаешь?! Одумайся, Рита! Ну, хочешь мы снова распишемся? Съедемся! — Я обнял ее, осыпал ее лицо торопливыми поцелуями, спешил произнести первые пришедшие на ум слова. Веские, как мне тогда чудилось, убедительные слова. — Я же знаю, знаю тебя! Ты не за дармовым хлебом собралась. Не за вечным летом!

— Пусти! — вырвалась она. Бросилась к полукруглому окну. Плечи ее запрыгали — точно так же, как недавно у Вадика. — Защитишь меня, да? Зачем? Если никто не собирается убивать, незачем и защищать! Не хочу, чтобы меня защищали, не хочу бояться, — она широко распахнула дверь, ведущую на лестницу. — Уходи!

— Рита... то есть... Я не могу! Я не в силах уйти. Я...

— Тогда... — странная усмешка, пристальный странный взгляд. — Если ты так любишь сына... И... И меня... Едем с нами!.. Разрешение на выезд собаки уже есть, можешь им воспользоваться.

— Ты с ума сошла?

— А-а, брезгуешь? Зря! Прикинешься псом, это у тебя прекрасно получается.

— Но ведь даже Шарик... Даже он не смог! Понимаешь, Рита? Не смог, убежал!

— Что ж... Тогда... Беги и ты. Всего доброго тебе тут!

Она повернулась к двери, ведущей на лестницу, широко ее распахнула.

— Пусть остается открытой, — произнесла она с улыбкой. — А то ты споткнешься. Там темно.

Улыбка ее, очевидно по рассеянности, смотрела теперь не вверх уголками губ, а вниз.

— Рита!

— Все!

...По скользкому покатоному полу, все выше и выше, боясь неловко сорваться обратно, с трудом добрался я до порога, спустился по лестнице во двор.

Было уже совсем темно. Волоча за собой хвост, я угрюмо брел мимо разрушенных, безжизненных старых теремов. Задрал длинную остроухую морду, ища в небесах созвездие простых дворняжек, не нашел и, не сумев перебороть тоску, выдал протяжный, полный неутолимой печали протяжный вой: «А-ав-уа-у-у-ав-у-у, — выл я то громко, то почти беззвучно. — А-ав-уа-а-уу-ааа-у-у-у...»

Туннель

Поезд выскочил из туннеля, и все в вагоне облегченно засмеялись, заговорили, так, словно втайне и не чаяли уже увидеть света белого, но вот ошиблись, избавление пришло, испытание темнотой закончилось, жизнь продолжается, что весьма приятно. Аркадия Михайловича Грушко темное, так сказать, время, несколько минут тяжелого туннельного мрака и усилившегося грохота колес застигли в коридоре, он курил. В купе, дверь которого была раскрыта, сидели его жена Чара и пассажир с верхней полки, молодой бородатый доктор с двойной фамилией. Хилькевич-Найман. Поскольку они только что провели вместе около месяца в пансионате у моря, двойная фамилия его шла в ход довольно редко. Евгений, Женя... Или просто —

Доктор. Для общения у моря — более чем достаточно. В доктора, собственно говоря, произвела его Чара. «Чем занимаюсь? — мялся во время первого знакомства бородач. — Да как вам популярнее объяснить?.. Ну... Я, можно сказать, биолог... Органика, знаете ли... Изучаю воздействие... Затем даю сравнительные характеристики...» «Так вы врач! — вскричала Чара. — Доктор!?» «...Некоторым образом, — благосклонно согласился с ней Хилькевич-Найман. «Доктор, а скажите...»

Шевелюра и борода у доктора были темно-волнистые, обрамленные густыми усами, губы алые и по-девичьи припухлые, а кисти рук покрыты кофейным загаром, длинные, словно у мулата. «Красивый парень. И не так уж глуп, — косился на смеющуюся жену и на оживленно жестикулирующего доктора Грушко, — не так глуп, как этого хотелось бы».

Рассказчиком бородач был отменным. Рассказать тоже имелось о чем. Грушко не раз в течение отдыха в этом убеждался. «А о чем это он сейчас рассказывает? Почему Чара с таким удовольствием смеется? Ишь, глазки как разгорелись. Может быть, снова о загадочных свойствах человеческой души? О предчувствиях, приливах и отливах настроений, загадках биоритмов? О бессоннице? Она ведь еще там, на пляже, консультировалась с ним. «Я буквально не смыкаю глаз, доктор! Это длится уже примерно второй год. Впрочем, не исключено, что третий. Раньше я внимания не обращала. Ну, не спится, мало ли чего! А сейчас... Каких только снотворных не перепробовала! Все равно не сплю! Выгляжу ужасно, постарела...» «Ну, что вы, Чара Григорьевна! То есть Чарочка! Вы прелестно выглядите. Какой может быть разговор о возрасте? Неужели вам больше двадцати одного с половиной?!» «Благодарю, Женечка. Вы настоящий психотерапевт! Вот вы сказали, что я хорошо выгляжу, и мне кажется, что я и в самом деле...» «В самом деле! Я несколько не преувеличиваю, Чарочка! Пойдемте купаться». «С удовольствием! Аркадий, пойдем купаться вместе с нами!» Аркадий Михайлович отказывался. И Чару это, кажется, вполне устраивало. Нет, нет, ничего кроме вот таких, в высшей степени невинных и в общем-то ни к чему не обязывающих пустяков. Она даже не один раз нахваливала доктора за глаза. Открытым текстом. «Какой милый молодой человек, правда, Аркаша? Интеллигентный, коммуникабельный. Я стала лучше думать о нашей молодежи. Как ты считаешь?» — «Да, да, конечно. Коммуникабельный. Очень». Аркадий Михайлович вспоминал в подобные моменты о некоторых устных рассказах доктора, небезынтересных, черт побери, рассказах. Немногие избранные слушатели

Евгения, а среди них и Грушко, раскрывали рты, тяжело, часто дышали и, ловя себя на этом, спохватываясь, смущенно оглядывались по сторонам. «Заметили ли вы, други мои, золотоволосую даму, с которой я имел честь подъехать вчера перед ужином к главному корпусу?» — «Как же, как же! За рулем сидела. Джип «Чероки!» Заметили, конечно!» «Именно, «Чероки!» У вас глаз будущего автомобилиста! Или уже настоящего? Извините, если ошибся». — «Не ошибся, не ошибся, продолжай!» «Так вот... Вчера же вечером, вскоре после ужина — она, как вы заметили, терпеливо меня ждала — поехали мы с ней покататься. Амазонка, други мои! Патентованная амазонка! При первом же поцелуе мы едва не врезались в телеграфный столб. А чуть позже... Должен вам доложить, господа будущие автомобилисты, нет уже и в этом диком краю дог, которых бы не касалось колесо легкового автомобиля. При всем при том, что мы с Ритой забрались в невыносимую глушь, куда-то к черту на рога, между отвесной горой и пропастью — стоило нам остановиться, стоило мне перейти к главному пункту повестки дня... Да что там рассусоливать в самый ответственный момент понимаете, в самый ответственный! — мимо, замедляя ход и во всю озаряя нас фарами, проехала целая колонна бронетранспортеров с миротворцами! Как на арене цирка мы с ней оказались, поверите? Ужас! И надо было быть мною — впрочем, и ей отдаю должное — мы не дрогнули. Пусть смотрят, решили мы. Пусть завидуют!»

Сейчас, при истечении срока отдыха, в коридоре обратного поезда, косясь на смеющуюся в купе Чару, Аркадию Михайловичу пришло в голову, что нечто подобное коммуникабельный Евгений мог рассказывать и ей. Нет, нет! Неужели она... Неужели она позволила бы... А почему же он сам позволил?... Почему выслушивал эти пошлости? Южное солнце, да? На отдыхе... Расслабился мало-мало?

Брезгливо морщась, Грушко сонно всматривался в пейзаж, стремительно разворачивающийся за окном. Все еще мелькало, голубело время от времени среди зелени и фиолетовых слоистых скал море. Он вытащил платок, вытер влажную шею, лоб. Покосился на купе. Чара смеялась,

изумленно расширяя глаза, — знала, что это ей идет: расширенные, трогательно безумные, плавающие между увядающими веками синие зрачки. А Хилькевич-Найман жестикулировал. Четвертый обитатель их купе, гигантского роста толстяк уже более часа находился в туалете. Еще перед туннелем заперся там. Черт! Ну, что можно так долго там делать? Моется он там? Газету читает? Сидел бы себе в купе, участвовал бы в беседе. И ему интересно, и Евгения большая аудитория, по всей вероятности, устроила бы, и Чара не столь старательно тарасила бы свои синие зрачки. Не идти же самому... Еще подумают, не дай бог, что он... Аркадий Михайлович не успел додумать. Наступила полная — хоть глаз выколи — темнота. И вдесятеро сильнее загрохотали внизу колеса. Туннель. Снова туннель. От невидимых его стен рванулась в раскрытое окно, ударила в лицо жутковатая подземная сырость, запах вечности, невыразимый глинистый, гранитный аромат земной сердцевины. Порохом, корнями, могильным чем-то... И тьма. Тьма... Тихо стало в вагоне; от внезапной, промелькнувшей в голове озорной идеи — он словно сопротивлялся все поглотившей темноте — Аркадий Михайлович точным, как бы давно заученным, как бы много раз отработанным движением шагнул, касаясь рукой рифленой стены вагонного коридора. Шаг, еще шаг. И тут же перед ним оказался ровный проем двери, купе. Он знал, чувствовал — Чара вот там, слева. Тихо в купе. Даже доктор примолк. Подавляя хитрую, лукавейшую улыбку, Грушко бесшумно шагнул, протянул обе руки, и между ладонями его оказалось ее лицо. Нагнулся и поцеловал ее. Не промахнулся. Прямо в губы поцеловал. Не чмокнул, кажется. Крепко, не без удовольствия, вкус даже ощутил. Так, словно поцеловал не Чару, а... А чужую женщину. Мгновение — и он был уже на прежнем месте. Тянулись секунды. Темно, темно. Темно... Тихо... И вдруг — зелено-голубым брызнуло, ослепительно засияло уже алое, потяжелевшее солнце. Туннель кончился. Как Грушко ни старался, даже слово себе дал не оглядываться сию же секунду на купе, он, тем не менее, оглянулся. Доктор уже по-прежнему оживленно жестикулировал, рассказывая что-то. А Чара... Ошеломленно глядя на собеседника в упор,

округлив глаза, она никак не могла прийти в себя. «Представляю, что сейчас с ней происходит, — усмехнулся уголком губ Грушко, — целая гамма чувств... Может, приснилось, думает. Или почудилось. Радехонька, небось. Польщена столь явным вниманием со стороны такого интересного во всех отношениях... А может, по физиономии его огреть хочет? — предположил Аркадий Михайлович, бросив еще один взгляд на жену. — Нет, что-то не торопится с этим, — констатировал он огорченно, — а жаль...»

Последние пять лет в отпуск они собирались ехать порознь. «Вдвоем — это не отдых». Но то ли решимости не хватало, то ли по инерции — ехали вместе. Супругам давали номер на двоих — тоже причина. А то ведь с кем еще выпадет жить. Лучше уж с собственной женой, чем с каким-нибудь кашляющим, чихающим, громко сморкающимся, оглушительно храпящим и любящим поддавать за чужой счет незнакомцем. Лучше уж с собственным мужем, чем с какой-нибудь болтливой, гордой на склоку и сплетню, завистливой, лицемерной, одалживающей без отдачи духи, помаду и шоколад незнакомкой. А в последние годы — в материальном смысле это... Куда уж тут одному, одной ехать: две путевки едва не столько же стоили, как одна. Две практичней. Не профсоюз — коммерческая фирма путевками торговала. Бывало, что и пропускали год, два, без загара и купанья обходились. Тем более, что регион черноморского побережья был едва ли не полем боя. Да и сейчас еще... «Стреляют!» — то и дело цитировали отдыхающие словцо из незабвенного кинофильма.

Техникум, где работала Чара, выпускал в свет линейных инспекторов. Институт, где трудился на кафедре конкретной экономики Аркадий Михайлович, — инженеров-конструкторов. Конечно, в институте оклады были больше. И потом, он все-таки старший научный сотрудник, кандидат, а она — рядовой преподаватель бухгалтерского учета. Лет пятнадцать назад — вот время летит! — он тоже только преподавал. Тогда-то они с Чарой и познакомились. На дне рождения у друга и вечного патрона Сашки Хангиреева. А когда пошли в загс, расписываться, то на руках у Чары —

это при всем-то параде, в белом с блестками платье, фате! — уже плакал Костик. Пожили года три в двенадцатиметровой комнатке в коммуналке, потом в однокомнатную — с большой кухней — перебрались, затем в двухкомнатную — обе изолированные. В те времена квартиры еще давали. Да, сперва все вроде было вполне приемлемо...

Чара вскочила вдруг, не дослушав, и, провожаемая удивленным взглядом опешившего доктора, выбежала в коридор, стала рядом с Аркадием Михайловичем.

— Ты что это тут забыл? — спросила она со злостью. —

Чего торчишь тут, в самом деле?

— Курю.

— Ах, ку-уу-ри-и-ишь? — смерила она его полным непередаваемой иронии взглядом, — Что ж, кури-кури. Тем хуже для тебя! — и повеселела вдруг. — Ух ты, какой закат!

Из купе вышел и Евгений. Причин странного поведения собеседницы решил не выяснять.

— Из вашего окна, Аркадий Михайлович, вид лучше, — произнес он невозмутимо, — то-то вы увлеклись. Закат над морем! Сознаюсь, никогда не видел рассвета над морем. Бессоницей — увы! — не страдаю. Чара радостно засмеялась. Смотрела на доктора во все глаза. И Грушко уставился. Длинноногий, стройный, доктор и впрямь мог бы сойти за африканца. Густое вечернее солнце делало его загар красновато-черным, эбеновым. Оставляя за собой аромат виноградной чачи, пробежал по коридору зарумянившийся проводник.

— А где тот?! Толстый такой?! С двадцать первого места? Ему выходить сейчас!!!

— А вон там, — подсказал Грушко, — уже больше часа... Проводник убежал.

— Я смотрю, ты тут не только куришь, — бросила Чара, — но и наблюдаешь...

Подгоняя монументального кавказца, вернулся проводник.

— Нашел где спать! Чокнулся окончательно, дорогой? Оплатил купейность, за постель рассчитался, за нижнее место пару стаканов мне нацедил — и всю дорогу, черт знает где!

— Прохладно там, слушай, — терпеливо объяснял кавказец, — поддувает, хорошо... — он вытащил из-под двадцать первого места канистру с тяжело бульгающим содержимым, про-

долговатый сверток с чем-то явно огнестрельным, за руку попрощался с соседями по купе и направился к выходу.

Поезд замедлял ход.

— А туннелей не будет больше? — спросила Чара.

Всего себя посвятив грандиозному пассажиру, проводник вопроса ее не услышал. Грушко, вздрогнув невольно, промолчал, сделал вид, что не настолько эрудирован. Один лишь доктор был, разумеется, на высоте. Хоть как-нибудь не ответить на вопрос дамы претило, вероятно, его профессиональной гордости.

— Очень скоро, Чарочка, наступит ночь и можно будет представить, что наш поезд нырнул в невероятно длинный туннель, из которого вынырнет только утром!

Жарко порозовев, Чара повернулась и, ни слова не проронив, юркнула в купе. Евгений еще говорил что-то, темпераментно жестикулируя смуглыми длиннопалыми руками, хохотал, но Грушко не слышал его, занятый своими мыслями. Он уже ругал себя, корил, даже клял себя за шутку, которую сыграл, кажется, над самим собой. Она становилась неуправляемой, эта шутка. Слово джин, вызванный из бутылки, она могла разрушить некоторые Грушковские иллюзии, зыбкую стабильность их с Чарой отношений. А он предпочел бы, чтобы все оставалось на своих местах. Черт побери эти юношеские взбрыкивания, эти экспромты!.. В конце концов, он тоже не святой. И он, бывает, косяка дает, то есть воровато, искоса, взглядом без поворота головы, жадно окидывает студенточку с ногами от самой шеи, торопящуюся на свидание к патлатому однокурснику. В общем, ничуть он не лучше в этом смысле, чем Чара, которая — он это заметил, заметил! — многообещающе взглянула однажды на улице в глаза мельхиорово-седого иностранца. Черт, мерзко все это, но... Се ля ви, так, кажется? Если откровенно, так он даже преуспел в сравнении с женой. У него даже роман один был. Почему был? Это, в общем-то, продолжается. Хоть началось добрых пять лет назад. Добрых пять лет назад замдиректора института, все тот же Хангиреев попросил Аркадия Михайловича окружить вниманием и заботой командированную к ним из Ростова представительницу. У

них тогда как раз налаживались прямые долговременные связи с однопрофильными вузами. Подзаработать можно было, даже о баксах речь шла. И вот... «Чаре твоей я не проговорюсь, — заверил замдиректора, — так что действуй, Аркадий!» Представительница эта, Ирина Даниловна, оказалась, против всех ожиданий, привлекательной женщиной. Полная такая, статная... Настоящая казачка. Если уж начальство обещало не проговориться, то Аркадий Михайлович и сам на всякий случай о причине своей задержки в тот вечер — двадцать второго августа, пять лет назад — правду супруге не сообщил. Обычные отговорки: собрание, обмен накопленным опытом, поиски скрытых резервов внедрения знаний в молодые головы... А что, разве мало уходит на все это времени? Плешь ему проели поиски этих скрытых резервов, дензнаков, то есть. Шел на встречу с представительницей юга России именно, как на мероприятие. Можно ведь было и дома посидеть или даже полежать. С Чарой, в конце концов, лишний час пообщаться. Не такие уж у них плохие отношения, до крайностей не доходило. Да и с Константином тоже не вредно было бы словечком-двумя перекинуться. Как, мол, там, у тебя в школе? Давно не был, а то бы задал тебе трепку! Одноклассникам записки уже подбрасываешь? Ну, ну, не хмурься, не дичись. Знаю я вашего брата. Инфантильны, ранимы, а лежачего ногами бьет. В скинхеды еще не записался? Нет? Тогда вопросов больше не имею.

Кроме всего этого или, верней, вместо всего этого он мог бы поработать в гараже. Машины у Грушко и тогда не было, но гараж имелся. Конечно, несколько лет назад, в августе, гараж был еще аркой, туннелем, иначе говоря, в четыре шага длиной, ведущим из одного двора, давно застроенного, в другой двор, в котором уже рыли котлован. Бесплезная арка, жилище беспризорных кошек и сквозняков. Неисповедимыми судьбами арка эта ему досталась. М-да-а... А с Ириной Даниловной во время первой их встречи он просто ума приложить не мог: куда же вести ее? Ткнулись в ресторан при отеле — «Ресторан закрыт для обслуживания иностранных гостей», в кафе — толпилось множество юнцов и девочек. Смеются, флирту-

ют, на гитарах поигрывают, конспекты листают, чуть ли не толкают друг дружке по сходной цене джинсы, майки и одноразовые шприцы... Зря времени не теряют. Аркадий Михайлович даже заоглядывался, голову втянул в плечи: вдруг и Константин его здесь?

— Знаете что, — предложила Ирина Даниловна, — а пошли ко мне. У меня отдельный номер, и все есть.

Действительно, у нее все было. Сухая колбаса, сыр, конфеты, фрукты и коньяк ростовского разлива. И электрический вентилятор, которому она подставляла грудь, оттягивая пальцем вырез платья. Разговор поначалу был сугубо преподавательский.

— Дело в том, Ирина Даниловна, — с видом знатока потягивая приторный коньяк, пояснял Грушко, — что заинтересованность современных студентов в материале зависит не столько от материала, сколько от формы подачи его. И мы... — чувствовал он себя под ее смеющимся взглядом довольно неуверенно.

Потом Ирина Даниловна высказала ему свое мнение о городе. Не так, чтобы очень гостеприимный город. Неохотно, хмуро показывают местные люди приезжей, как пройти или проехать. Спешат все, газеты на ходу читают, толкаются.

— Смотрите, что мне на память вчера на главной улице оставили, — не отводя с него взгляда, она приподняла юбку и показала одревеневшему Грушко красующийся посреди загорелого бедра синяк. — Ну, что же вы! —

рассмеялась она. — Девочке сделали бо-бо, а вы...

Через пятнадцать минут в стенку из соседнего номера, кто-то уже возмущенно барабанил кулаком. Ира оказалась чрезвычайно темпераментной.

За истекшие пять лет она приезжала раз восемь. Два два и Грушко командировали на юг России. У него там тоже был отдельный номер.

Грушко поехал. Не мы первые, не мы последние. Кто может дать гарантию, что и Чара... Нет, нет! — тут же отогнал он эту мысль. — Невозможно! Или — всё, точка. Домик рассыплется. Ну, глянула она однажды чуть более кокетливо, чем хотелось бы, на сребровласого иностранца в не менее серебристом «мерседесе»; ну, чересчур звон-

ко хохотала над анекдотами Хангиреева во время взаимных дружеских визитов; ну, с доктором Хилькевичем-Найманом поцеловалась... То бишь, думает, что поцеловалась. Грушко мысленно рассмеялся. Он чуть было сам уже не поверил во все это. М-да-а. Не может быть, чтобы и у Чары... Чтобы и у нее было... был... Ну, что-то такое, окончательное... Нет, нет!

Поезд стоял. Уже удалился встреченный такими же грандиозными соратниками кавказец; по перрону, посматривая на часы, прогуливался только доктор. Да бабуся какая-то стояла, местная. Как раз у окна. Русская бабуся. Русскоязычная, верней. Чужая она сейчас тут, инородка, гм... С букетом. Сама маленькая, невзрачная, курносенькая, в линялой кофточке, а букет... Огромный, тяжелый, по-царски роскошный. Пионы, гладиолусы, розы, шелковистые плюмажи неведомых южных трав... В бархатисто-алом кубке одного цветка ворочалась, пыхла от усердия пчела.

— Что, мамаша, — подошел ближе доктор, — сами такие цветы выращиваете?

— Сама, сынок, сама! Мы тут от деда-прадеда цветы любим. Нарезала сейчас, дай, думаю, к поезду вынесу, может, понравится кому. В России таких не найти. А у меня недорого. Денежки возьму, в магазин схожу, может, хлеб завезли, может, рис гуманитарный. Ну, потом за газовыми баллонами, потом косточку баранью в коммерческом ларьке посмотреть надо, потом на рынок, молочка бы...

Сколько же она, в таком случае, выручит за букет хочет?

Доктор рылся в карманах. «Чего доброго, — подумал Грушко не без опаски, — купит сейчас да Чаре с расшаркиванием... Она же упадет от счастья!» Но нет, раздумал доктор, денежек пожалел.

— Спасибо, мамаша. Поздно, пора, — взбежал в тамбур. Поезд уже плыл, двигался.

И уплыла, исчезла, осталась в прошлом маленькая старушка с нереализованным, царственно роскошным букетом, с пчелой, неуклюже ворочающейся в глубине темного цветка.

Теперь они были в купе втроем. У Глушко ноги уже ныли. Вот и потянуло посидеть. Разговаривали, впрочем,

только они — Чара и Евгений. И все о том же, о загадочных проявлениях человеческой души.

— Вот почему так? — задумчиво прихлебывая из стакана чай, интересовалась Чара, — только о ком-нибудь подумая, он тут же навстречу идет или звонит...

О ком это она думает? Кто это ей звонит?

— Или предчувствия, например. Многие считают — чепуха. А я, например, всегда знаю, что меня ждет — радость или неприятность.

Ну, и как, любопытно знать, расценивает она случившееся? Как радость? Или как неприятность?

Темпераментно жестикулируя загорелыми руками, доктор обстоятельно отвечал на поставленные вопросы, приводил цитаты, сыпал цифрами и фактами.

— А латеральная близость, например! Соедините-ка, Чарочка, пальцы рук, вот так. И вы, Аркадий Михайлович. Ага! Вот видите, большие пальцы ваших левых рук — наверху, значит, вы латерально близки, симметричны друг другу, иначе говоря.

Гм... Неужели все-таки симметричны?

Чара тоже глядела на соединенные пальцы своих рук с ммуром удивлением.

— У меня, — сказал доктор, соединяя свои руки, — то же самое, тоже левая рука наверху.

— Да?! — обрадовалась Чара. — Как странно...

Латеральная близость с доктором ее, кажется, больше устраивает...

— А вот объясните мне такой факт, — решил включиться в разговор Грушко, — появился у меня гараж с некоторых пор... Я его, собственно, из арки переоборудовал. Арка у нас в доме была, туннельчик такой, шага на четыре. Я и не помышлял о гараже, зачем он мне — машины-то нет. Но... Я Аркадий, а тут — арка! А?

— А при чем тут туннельчик, как ты выразился? — с усилием разомкнув пальцы рук, осведомилась Чара. — И к тому же ты... ты не совсем Аркадий, насколько мне известно...

— Что? Я... Я не...

— А ведь верно! — вовремя вклинился Хилькевич-Найман. — Помните, как я сформулировал? Наступит ночь, словно загадочный длиннейший туннель, из которого наш поезд...

— Перестаньте, наконец! — вскрикнула Чара. — Слышите вы, хватит!

— То есть?.. — открыл рот Евгений.

— А то самое! — она была вне себя от гнева. — Нахулиганили, а теперь... ведете себя... Вы... Вы негодяй! Вот! Получайте!

Схватившись за щеку, доктор откинулся на спинку дивана.

— Ч-Чара... — едва выговорил Грушко, — что ты делаешь?!

Она уже плакала. Спрятала лицо в ладони и рыдала во весь голос, плечи у нее прыгали.

— Балда! — проговорила она сквозь слезы. — Балда несчастный! — по всей вероятности, это относилось к Аркадию Михайловичу. — Он же меня... Он меня поцеловать посмел!

— Я?! Я вас поцеловал?! — ахнул Хилькевич-Найман, правильно решив, что последнее относится к нему. — Что вы мелете?

— Какой... негодяй! — убрав от мокрого лица руки, она посмотрела на него с изумлением. — Еще отпирается! Да, поцеловал! — перевела взгляд на мужа и добавила. — В одном из туннелей, не помню уже в каком. И теперь... Смеет теперь подначивать меня, намекать. Ночь, мол, как большой туннель... Что же ты сидишь? — повысила она голос. — Сидит, как остолоп! Я думала, ты из него котлету сделаешь!

Доктор испуганно вскочил на ноги.

— Послушайте! Я... Но я не... — махнув рукой, он выбежал из купе.

Надо было как-то реагировать. Грушко собрался с духом.

— В одном из туннелей?.. Гм... Ты почему-то довольно долго молчала...

Ему показалось, что слезы ее моментально высохли.

— Ну, ну, продолжай!

— Но обнародовала все-таки, — сказал он примирительно, — что ж, и на том...

Она наотмашь, задев при этом что-то на столике, ударила его по скуле.

— Уймись! — вскочил он. — Развевалась, понимаешь!.. — и тут же, следуя примеру доктора, выскочил из купе. Стал в коридоре, у все того же, теперь темного окна и, посме-

иваясь, закурил. Ну и ну. Совсем взбесился вырвавшийся из бутылки старик Хоттабыч. В этот уже довольно поздний час, полный вливающейся в раскрытое окно ночной свежести, все в вагоне, если и не спали, уже улеглись. В пустом узком коридоре маячил только Хилькевич-Найман.

— Аркадий Михайлович, — нерешительно приблизившись и остановившись на приличном расстоянии, произнес он жалобно, — я клянусь вам!.. Ни сном ни духом! Чарочка... То есть, Чара Григорьевна весьма, конечно... Поймите меня правильно, она достаточно... Фигура, извините... Глаза! Синие, если не ошибаюсь...

— Не ошибаетесь.

— Но чтобы я!.. Ее!.. Поверьте, жена друга, если позволите мне такую формулировку, является для меня абсолютным табу! Табу, — счел он необходимым объяснить, — означает запрет на...

Следовательно, золотоволосая амазонка, с которой он изучал горные ландшафты, не жена его друга...

— И потом... Я все-таки... Как бы вам сказать... Ну, имею отношение... И... Ведь у вашей супруги, по моему мнению, выраженный астено-невротический синдром. Я не буду распространяться сейчас об условиях, способствующих приобретению этого серьезного недуга думаю, что и вы, в частности, здесь виновны, я о другом. Неужели же я, зная, что имею дело с не вполне уравновешенным человеком, если позволите, даже пациентом, ибо весь этот месяц я последовательно занимался ненавязчивыми формами лечения Чары Григорьевны, неужели же я...

Неужели, правда? Неужели Чара, как он тут излагает, неуравновешена? Недуг? Астено... Что? Только этого не хватало!

— Нет, но какая агрессивность! — осторожно погладил левую скулу доктор. — До сих пор горит, — сморщился он, — ну, и ручка у нее!

У Грушко отлегло от сердца. Наверно, в скуле этой и кроется причина только что произнесенного диагноза. Чего не нагородил после подобной оплеухи. Аркадий Михайлович осторожно пощупал собственную скулу. Ох!

Помолчали.

— Смотрите, птица! — неожиданно воскликнул Евгений.

— Ночь на дворе, а она...

Ну и что, что птица? Птицы не видел, что ли? Станный субъект все-таки этот Хилькевич-Найман...

Перестук рельсов и колес заполнил собой паузу.

— Кусок неба посветлей попался, — вздохнул доктор, — поэтому я ее и увидел. Крылья длинные, значит, не сова. Что же она так поздно? На работе задержалась?

Стучали колеса.

— Летит, торопится. Что бы это, думает, набрехать дома, чтоб не ворчали. А там заждались, волнуются, валидол сосут. Еще час подождут — так у них заведено — и в милицию звонить станут. Пропала, мол, птица. Объявите всероссийский розыск...

— Гм... Гм... Послушайте, Евгений... Для меня весьма важно... Очень прошу, скажите правду... Вы...

— Так ведь говорил уже! Говорил! Клялся вам! Не целовал я Чарочку... То есть Чару Григорьевну. Слово чести, наконец! Не целовал!

— Я про другое. Что не целовали вы Чару — я знаю. Не сомневаюсь в этом.

— Не сомневаетесь? Почему?

— Есть основания. Скажите, Женя... А вот когда вы с амазонкой той... Помните? За рулем она сидела... С золотыми волосами... Скажите, все так и было, как вы рассказывали? Дорога над пропастью, а вы... Хоть проезжающие бронетранспортеры вас освещали, вы, тем не менее...

Колеса, колеса, колеса...

— Ну, хорошо... Если это так важно. Я... Я немного преувеличил. То есть... Все было совсем не так. Эта дама... искусственная блондинка... Маргарита Булачевна Ламинадзе... Она заведует местной поликлиникой. Узнала, что я... Ну, в некотором роде специалист. С легкой руки вашей супруги, кстати. Ну и... попросила. У нее, видите ли, очень интересная больная есть. То же самое — бессонница, фобии, страхи, иначе говоря, ее, видите, похитили и недавно выкупили — вот и... И ничего не помогает. Если совсем откровенно, эта больная — теща одного полевого командира, от которого зависит освобождение из плена племянни-

ка заведующей поликлиникой. Вот эта Маргарита — с легкой руки вашей супруги — и пристала. До угроз дошло. Вы, говорит, что — только отдыхать к нам ездите? И все? Так мы можем вам испортить погоду! Пришлось съездить. Ну, и... Это... Побеседовать с тещей абрека.

— Всего-то, — хмыкнул Грушко, — а понарасказали... М-да, хоть вы, возможно, и психотерапевт, Женя, но не психолог. Мы ведь плевались мысленно, слушая вас. Такое время, в горячей точке мы оказались, а вы... Уж не обессудьте. А один... Не помню, кто именно... Знаете, как о вас отозвался? «Шустрый еврейчик».

Хилькевич-Найман так и дернулся. И Грушко не без мстительного удовольствия это отметил.

— Шустрый еврейчик, говорите? — чуть ли не прошипел доктор. — Шустрый еврейчик? А кто это сказал, вы не помните? Ну, да, как же! Память отказала! Еврейчик! А? Нет, вы подумайте, еврейчик! — Хилькевич-Найман нервно расхохотался. — Вы, Аркадий Михайлович, по профессии, извините, кто?

— Ну, преподаю... В вузе. И... Прогнозирую...

— Ах, преподаете?! И даже прогнозируете? Образованный человек, стало быть! Интеллигент! Русский интеллигент! Так что ж вы, милостивый государь, русский интеллигент, заняли в этом сакраментальном вопросе столь стороннюю позицию, позвольте вас спросить?!

Грушко опешил. Хотя почувствовал себя польщенным. Русским интеллигентом его, оказывается, считают.

— Вы это о чем? В каком таком вопросе?

— В еврейском, если угодно! В пресловутом! При вас, русском интеллигенте, некий юдофоб, некий активист — не исключено — неонацизма назвал меня «шустрым еврейчиком», оскорбил национальное и человеческое достоинство вашего знакомого, а вы... Вы даже не решились дать негодяю достойную отповедь! Вы трусили! А впрочем, вы, возможно, даже разделяете его точку зрения! Что? Не так? А-а-а, ясно! Кто может поручиться, что это не вы сами меня за глаза и оскорбили?! Вы — теперь могу вам это прямо заявить — давно, с первого вашего появления на пляже вызвали во мне... Я... Я вас презираю! — И с этим Хильке-

вич-Найман широкими шагами удалился в противоположный конец вагона. Вытянулся там у окна и гневно косился на Аркадия Михайловича, сверкая крупным лошадиным глазом.

«Час от часу не легче, — хмыкал оставшийся в одиночестве Грушко. — Нашел кого в антисемиты зачислять. Мальчишка». Он подумал почему-то о сыне. Бабушка-то, мать Чары, Константином не нахвалится. Радехонька, когда они, уезжая в отпуск, доверяют ей внука. И воду, мол, ей из колонки таскает, и дровишки заготовливает... У них там, на дачной окраине печное отопление. Но Грушко не поведешь. Та еще штучка — этот Константин. Захочет — ответит на вопрос. Не захочет — не ответит, даже голову не повернет. Где яблоки ест, там огрызки и оставляет. В постели ест — в постели оставляет. А то и на столе полированном бросит. Или на раскрытом томе энциклопедии. «Жареной картошечки хотите? — спросит, бывает, вечером Чара. — Я мигом!» Он, конечно, отказывается. Надо же понимать, это она так, прилив любви у нее, радуется, что вся семья в сборе, чинно все, мирно вроде. Вот и предлагает от полноты чувств, а сама так вымоталась за день, с ног валится, да и позднечко уже картошку жарить, программу «Время» поглядеть — и в постель, завтра вставать рано. А Костика наплевать. «Да, хочу! Нажарь, мама!» Грушко, бывает, рассердится. «Поди, начисть да и нажарь себе сам, коли охота!» А он сразу наежится, потемнеет, как зыркнет, бывает, исподлобья. Даже студенты, которым за двадцать, и те нынче другие какие-то, непредсказуемые, параноики, а уж эти, погодки Костика, и вовсе марсиане. Жестокие, изворотливо-лживые... Другие в квадрате. Со всем миром во вражде, сканхеды, словом, или как их там? Хуже всего, что Чара в таких случаях всегда берет сторону сына. «Не кричи! Не повышай голоса! Тебя здесь никто не боится! Лучше бы в школу к нему ходил, если такой смелый! На учителей наорал бы!» И идет на кухню чистить для Костика картошку. М-да-а... Редкими, очень редкими стали у них даже такие вечера... Когда, по крайней мере, вся семья в сборе. Если и дома окажется Грушко, тут же норовит ускользнуть в гараж. Работы там, правда, и в самом деле хватает. Аркадий Михайлович собственноручно пол там

зацементировал, оштукатурил и побелил стены и потолок, навесил разнообразных полок для инструментов и литературы по эксплуатации легковых машин. Мечта автомобилиста, а не гараж. Автомобиля нет? Будет! Не серебристый «мерседес», разумеется, а хотя бы «жигуленок». Ну, «москвичок», на худой конец. Если бы Чара могла отказаться от поездок на юг, к морю... Удивительно, как беспечны, как быстро привыкают к любым, самым, казалось бы, сложным жизненным ситуациям люди! Рассказывают анекдоты и хохочут на поминках, влюбляются во время войны, ездят загорать и купаться в Черном море сейчас, когда там... то есть, здесь... Я, впрочем, ничем от них не отличаюсь. Не имея даже «запорожца», не умея водить, не зная правил личного движения, гараж строю.

Владельцем гаража Грушко стал самым чудесным образом. Глядел в окно как-то, дождик накрапывал, осень на дворе. А в это время какой-то явно нетрезвый рабочий, каменщик, закладывал кирпичом арку. Уродовала эта бесполезная арка дом. Будто дыра какая-то. Заложил с одной стороны, стал закладывать с другой. А сам, от дождя прячась, внутри стоит, в арке. Грушко рассмеялся, открыл окно. «Эй, смотри, самого себя не замуруй!» Тот не понял сперва, потом тоже хохотать стал. Тут Грушко осенило. «Погоди, я в ЖЭК сбегая. Зачем зря стенам пропадать!» И вправду пришлось побегать. Может, с десяток бумаг подписать пришлось. Да и хрустящую бумажку кое-кому сунуть. Но вот, пожалуйста, у него гараж. И машина будет. Не купит, так по лотерейному билету выиграет. Грушко почему-то был твердо в этом убежден. Загадочное проявление человеческой души?

«Уж эти мне проявления, — думал он, глядя в темное окно, — пусть они, такие-растакие, и дают нам что-то, а не только отнимают. Фобии, видите ли... То есть страхи... А чего она страшится, спрашивается? Две зарплаты, хоть и нерегулярно, плюс левые. Квартира, гараж... Разводиться я с ней пока что не собираюсь. Чего ж ей тревожиться-то? Чего? Конец века — еще не конец света. А чернуха газетная, всяческие кривотолки, сплетни, мелкие провокации способны расстроить только глупцов и слабодушных.

Нет, не одними дружескими усилиями Хангиреева держусь я на плаву, веду кафедру, чего-то и сам стою. Сколько справок сочинил, какую красноречивую статистику выдаю!.. То у одного вождя это в докладе промелькнет, то у другого. Значит, подкладывают им референты мою цифирь, значит, есть во мне хоть какая-то объективная необходимость? А она, Чара, и вообще многие из наших — как овечьи хвосты. Дрожат.»

Грушко прикурил от старой сигареты новую. «И даже теща абхазского боевика туда же. Весь мир нынче такой. Фобии всех одолели. Но... Войны мы страшимся, а сами их и разжигаем; катастроф опасаемся, а сами же их вызываем, нарушая гармонию природы... Потому и дрожим, потому — авансом — нервничаем, паникуем, скалимся и на своих и на незнакомых, всех ненавидим... А может, наоборот? Обратный процесс? Кто-то только для себя живет, кто-то ближнему своему подлянку делает, те друг с другом грызутся, тащат, что плохо лежит, обманывают... А из всего этого вырастает общее, социально-политический фон некий создается, характер века? Грушко представил себе планету, кишашую иголочной толщины огоньками. Горячие точки эти самые, войны местного значения, коррупция, бедность, несчастья, ссоры... Все тесней эти огоньки, тесней, вот-вот сольются и полыхнет пожар вселенский... Да, да, в нас самих все дело, в каждом из нас, в отдельности. Во мне дело, подумал он, поежившись, но... Но что уж я сотворил такого? Ну, запылавал иногда домой, ну... — он пристыженно засмеялся. Поймал себя на том, что не хочется даже самому себе сказать о самом себе правду.

Широкими шагами приблизился Хилькевич-Найман. — Так вот, Аркадий Михайлович, — произнес он гордо, — позвольте вам сообщить... Если на то пошло... Вот вы сказали, будто знаете, не сомневаетесь даже, что это не я вашу жену поцеловал... Ошибаетесь! Я! Я!!

— Врете. Это я сам ее поцеловал. Вошел в темноте и...

Несколько секунд продолжалась тишина. Смысл сказанного дошел до Евгения не сразу. Кашлянул, раскрыл рот... И закатился, наконец, удивленным смехом. Дошло.

— Вы? Вы сами?! Аха-ха-ха! Вот это номер! Вот это ситуация! Ах-ха... Ну, вы даете!.. Я даже... Я... — он запнулся.

На пороге купе стояла Чара. Подслушивала, с ужасом догадался Грушко, ну, все...»

— Аркадий, зайди, пожалуйста. Нужно поговорить.

Он зашел в купе.

— Закрой дверь. Сядь. Так вот, Аркадий... Я приняла твердое решение — было бы бесполезно меня отговаривать — мы разводимся. Расстаемся.

Грушко молчал.

— Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что ты наделал?

Грушко раздраженно приподнялся, уселся снова.

— А что же я такого наделал? Поцеловал собственную жену. Может быть, ты разочарована, что это именно я тебя поцеловал?

— Да! Разочарована!

— Вот как?

— Да, вот так! Поцеловал собственную жену он! Гнусная провокация, а не поцелуй! Провокация! Ясно? Разве я могла предположить, что... Что это ты?! Мы состоим в браке — если официально — четырнадцать лет. Из них последние четыре года и три месяца без двух дней целовать ты меня не изволил. Да, представь себе, последний раз это произошло четыре года, два месяца и двадцать восемь дней назад, когда ты улетел в Ростов, в командировку. Я спустилась с тобой вниз, к такси. И вот тогда-то, уже из машины, ты открыл дверцу и... Мне для этого пришлось нагнуться, — она сдавленно всхлипнула.

Грушко хмыкнул. Он чувствовал себя виноватым.

— Ну, подумаешь, важность — не целовался. Не люблю я этого. Но ты же не станешь утверждать, что... Что все это время я не... Что мы с тобой не... Что мы не...

— Что-о-о?! — выпрямила она спину.

Продолжать он не посмел. Сжав губы, она уставилась в непроницаемо темное окно. Гневно иногда фыркала, но ни слова. Аркадий Михайлович исподтишка посматривал на ее расплывчатый детский профиль, на завитки легких волос, расположившихся вокруг маленького уха с веснушками на

мочке, на чуть-чуть увядшую, украшенную уже ожерельем тонких морщин шею. Припомнился вдруг букет, роскошный, великолепный букет, который продавала недавно на перроне русскоязычная бабуся. Вот бы его сейчас вытащить, этот букет, из какой-нибудь заначки и вручить... Четыре года, гм... Четыре года, два месяца и двадцать восемь дней, гм... Грушко мысленно вернулся в тот день, день отлета в Ростов, Чара с вечера еще заказала такси, но утром что-то долго не было подтверждающего звонка из парка. Она волновалась, перезванивала диспетчеру, глядела в окно. Потом вышла его проводить, попытавшись при этом нести его тяжеленный, набитый документами и пирожками портфель. И все что-то поправляла на нем. «Ты не забыл запасные носки? Слушай, а электрокипятильник? Ах, да, я же сама его положила. Аркаша, сразу телеграмму, ладно?» Она его всегда так провожала раньше... Да что там — все у них было хорошо раньше, абсолютно все. Она выражала свое чувство открыто, со всей радостной полнотой, взалхлеб, а он — внешне сдержанно, такой уж он человек, воспитан так. В командировки он ездил не то чтоб очень часто, но раза два в год — обязательно. Все реже и реже спускалась она с ним вниз, к машине. Проводы стали исчерпываться торопливым, чтобы не напустить холода с лестничной площадки поцелуем у раскрытой двери. «Ну, счастливо! Давай!» Да, да, поцелуй и в течение этих четырех лет имели место. Тут она неправа. Забыла о них, что ли? Конечно, так себе поцелуй, хилые. Ради протокола. Чмок! Чмок! И уже в лифте он машинально проводил ладонью по щеке. Словно бы стирал... Неужели? Да, так получается... А в тот раз, перед Ростовом, горло вдруг перехватило, круги в глазах, так трудно было с ней расстаться. Чувство вины, возможно? Авансом... в Ростов ведь улетал, а там... «Минутку! — это он шоферу. — Остановитесь!» Дверцу раскрыл и чуть в кабину ее не втащил. «Ах, Чара, Чара, душа моя...» Цветным комом промелькнули, прокатились перед мысленным взглядом Грушко четыре года, два месяца и двадцать восемь дней. Институт, командировки в однопрофильный вуз, женщина с синяком на бедре, гараж... Недавно он вырубил там в стене нишу и встроил в нее шкафчик — бар с внутренним освещением...

— Так вот, Аркадий... Я отвлеклась от главного. Мы разводимся. Квартиру разменяем. Плохонькую двухкомнатную для меня с Костику и тебе комнату в коммуналке, нам надеюсь, за нашу с двумя изолированными и с собственным гаражом дадут. — Она засмеялась. — Умора! Еврей — и без автомобиля! Зато гараж есть! Ну и нищерброд! Да, энциклопедию я тебе забрать не позволю! Она необходима Костику. Возьмешь кушетку, на которой сейчас спишь, пару комплектов постельного белья, кое-что из посуды, два стула. Ну, ближе к делу мы все это обговорим, если понадобится вплоть до суда.

Он резко поднялся.

— Куда же ты? — спросила она сиплым, перехваченным ненавистью голосом.

— Покурить.

Все то же окно. И туннельная темнота за ним.

— Аркадий Михайлович, — встретил его доктор, — я, кажется, наговорил вам... Ну, про это... Про национальные... это... деформации... Не обижайтесь. Обидным показалось. Еврейчик, понимаете ли! Да еще и шустрый...

— Понимаю. И согласен, что вы не еврейчик. По всем своим статьям вы гораздо крупнее, вы еврей. Может быть, даже евреище. И не шустрый, а деятельный. Удовлетворены?

Доктор неуверенно улыбнулся. Не ирония ли это? Не позволил ли себе русский интеллигент очередную...

— М-м... А как она? — переменял Евгений тему, кивнув на купе. — О чем вы говорили?

— Говорили, в общем.

— Ах, Аркадий Михайлович, от вас я не ожидал. Ну, можно ли подвергать своих близких подобным стрессам? Неужели вы никогда не обращали внимания на ее глазное яблоко? Между радужкой и веком у нее свободное пространство! Ну, а вечно вздетые в форме домика брови, это постоянное ее выражение ожидания появления... э-э...

— Послушайте, вы!.. — грубо оборвал его Грушко, тщетно пытаясь вызвать из зажигалки духа огня. — Тьфу, черт!

Хилькевич-Найман тут же стушевался.

— Извините... Я как будто не в свое дело... Да?

Ну вот, затягиваясь, думал Грушко, сгодится мой гараж, значит. Впридачу с ним квартира наша будет котироваться

куда выше. М-да-а... Выходит, покуда он возводил этот гараж, всю душу в него вкладывал, мечтая, как заведут они однажды автомобиль, как станут они всей семьей ездить за город, в настоящие леса; покуда он в бетонноугловой тишине гаража мечтал о будущем своей дружной и счастливой семьи и, не умея да и не пытаясь даже проявить нежность к ним, к Чаре и Костику, словно бы откладывая это на завтра, на будущее, шел тем временем незаметный для него, необратимо разрушительный процесс. Коркой какой-то, жестко пупырчатой коростой все покрылось, увяла, осыпалась любовь Чары; угрюмым и неразговорчивым вытянулся, сразу из ребенка став подростком, Константин. То обрил голову, то отрастил петушиный гребень на макушке... «Что за телячий восторг?! — зло вскрикивал Грушко, когда на сына редко, редко, но накатывало: кружился по комнате, пел, бросался на шею, обниматься. — Варенья объелся?! И кто это тебе фонарь под левым глазом поставил? Ты где шляешься?» Становилось тихо. И это вполне его, старшего Грушко, устраивало. На взгляд исподлобья, на угрюмство Костика он чихать хотел. Он знал их... Ему казалось, что знает он этих подростков; их кормят, одевают, учат, а они... У самого-то у него детство было не такое, голодное, холодное, на кино мелочи не было. Он им завидовал, нынешним, он их... Да, да, он их ненавидел. Подсознательно, так сказать. Собственного сына, сам того не понимая, ненавидел. Корил в несвойственных тому грехах, скинхедом его, собственного еврейского отпрыска обзывал... Да уж не скинхеды ли и оставляли на лице сына отпечатки мосластых кулаков? Ужасно... Ужасно все это. Но где же, где, скажите, искать неисчерпанные еще силы души, скрытые ее резервы? Какой эконоом, психолог, психотерапевт подскажет? Кто опытом обменяется? «Аа-а-а! — воскликнул Аркадий Михайлович и выбросил в окно недокурную сигарету. — А-а-а!..»

Доктор уже давно мучительно, с подвыванием зевал.

— Идите спать, Женя.

— Я боюсь туда... Один... Пойдемте вместе.

Они вошли в темное купе. Чара спала. Во всяком случае лежала уже лицом к стене. Доктор забрался к себе, наверх. Очень скоро он ровно и глубоко задышал. Улегся

и Грушко. Дыхания Чары вовсе не слышно было. Не спит ведь. О чем же она в таком случае думает? Он-то ведь думает, есть о чем подумать. Значит, и она сейчас то же самое... Простыни, наволочки считает, которые собирается ему выделить? Ложки? В нем снова незаметно, исподволь нарастало темное, неудержимое раздражение, обида. Раскосец, полный раскосец вышел у него с Чарой Григорьевной. И диким, оскорбительно глупым показалось недавнее сожаление, что не купил букета. Брови-то у нее в форме домика и радужка плавает, а дошло до драки... На комнату в коммуналке мужа обрелка. И выделила два стула. Вплоть, мол, до суда. Как быстро могут стать люди чужими. Врагами даже. Бац, бац! Словно и не прожили вместе пятнадцати с лишним лет. Легче всего, конечно, объяснить это расшатавшимися нервишками.

Чара словно подслушала его мысли.

— А кто, по-твоему, виноват, что у меня не совсем в порядке нервы? — произнесла она, продолжая вслух давно уже, по всей вероятности, начатый монолог, — не сплю, вечно чем-то обеспокоена. Я же не сама это выдумала. Вот здесь, наверху, лежит врач. Как бы ты ни относился к нему, но не доверять его профессиональному...

— Чара Григорьевна, — завозился наверху Евгений, — коль дело принимает столь принципиальную окраску, я вынужден... У вас, поверьте, ничего серьезного. Так, незначительный люфт. К тому же, извините, но я вовсе не врач. Это ведь вы меня во врачи произвели. А я... Собственно, я и не биолог в полном значении слова, я, скорей, биохимик...

— Ну, вот, — прошипела она яростно, — еще один! А кто говорил, что занимается организмами? Кто?!

— Вы хотите сказать органикой? Имелись в виду некоторые органические соединения. Удобрения, если позволите. Я ведь...

— Что? Удобрения?! Навоз?!

— А вы предпочитаете суперфосфат? — произнес Евгений обиженно.

Грушко готов был подняться и расцеловать его. Почему я должен во всем винить только себя, ворочался он на узкой полке? Почему должен считаться с ее пресловутой бессонницей, вызванной чрезмерными дозами дневного сна? Не целовал ее, видите ли, четыре года с

хвостиком. А меня кто эти четыре года целовал? Почему с расширенными от удовольствия синими глазами вслушивалась она в дурацкие анекдоты Хангиреева и так звонко над ними хохотала? А тот омерзительно кокетливый, невесть что обещающий взгляд, которым она одарила сивого иностранца, сидевшего за рулем такого же сивого «мерседеса» и галантно притормозившего, чтобы дать им — нет, ей! — дорогу! И, наконец, ее глубокое разочарование оттого, что, как выяснилось, поцеловал ее не Женя, а он, ее муж...

— Так вот, Чара, — проговорил Грушко, задыхаясь. — Впрочем, почему Чара? По паспорту ты Сарра. Так вот, я сказал неправду. Это не я тебя поцеловал!

— Как так не вы?! — снова взвился наверху Хилькевич-Найман. — А кто же? Что касается меня, я вам уже говорил... Я этого не делал! Так что прошу вас...

— Мало ли народу в вагоне, — повернулся на другой бок Аркадий Михайлович, — а может, это... ммм... проводник был.

Некоторое время в купе было совсем тихо. Если не считать монотонного перестука колес внизу. Затем Чара сорвалась с места и, сдерживая плач, давясь им, выскочила из купе. И с грохотом задвинула за собой дверь.

— Аркадий Михайлович, — нагнулся сверху доктор.

Грушко не отвечал.

— Сказать по правде... — голос Евгения дрогнул. — Даже если бы я ее поцеловал... Я! Даже в этом случае вам следовало бы сказать, что это вы... А вы... Мало, что вы назвали ее... Э-э... другим именем и что ее, мол, весь вагон.... Так еще и про... Про... Это, знаете ли...

Грушко, однако, и ухом не повел. Про... про... Проводника, что ли, в виду имеет? Считает, что намек на проводника особенно оскорбителен для Чары. Его, мол, докторский поцелуй — это еще куда ни шло. А про... про... Тоже мне сноб выискался!

— Уточняя, — буркнул он, — во избежание недоразумений. По национальности я еврей.

И сам удивился этому, прозвучавшему из его уст признанию. Гм, меняется все же мир, при всем при том, при всех, так сказать, деформациях, он произнес их, эти слова, а ведь бывало, что и не решался, даже отрицал... «Я

не еврей!» — сколько раз в иные времена хотелось произнести. Гм, а может, и произносил?

— Да, Женя по паспорту я Абрам Моисеевич. И дед мой был, как мне стало не так давно известно, не Грушко, а Гершко. Время, Женя, и в буквальном смысле, и в фигуральном обкатывает острые углы, делает имена и фамилии благозвучней. Есть у него такая тенденция.

Сверху ни звука. Хилькевич-Найман потерял, очевидно, дар речи.

— Ну, и что? — усмехнулся Аркадий Михайлович. — Русским интеллигентом я, надеюсь, быть в ваших глазах не перестал?

Припомнилось, как прореагировала когда-то, пять лет назад, на подобное его признание Ирина Даниловна. Хотя нет, никаких слов не было. По-другому все обнаружилось. Как ни старался он скрыть некоторый, нанесенный ему в детстве изъян, отворачивался, стыдливо заслонялся ладонью, торопливо погружал этот изъян в нее, свою темпераментную партнершу, которая — уже после всего — все же разглядела... «Ты еврей?!» Поздно это установила, дело сделано. «Что, не отдалась бы, если бы до того разглядела?» «Не знаю, не знаю!..» — Хохотала Ирина Даниловна, оценив юмор положения.

...Из-под двери, в узкую зарешеченную щель в купе проникал прохладный ночной воздух. Дуло, можно сказать. Наверно, оттого, что в коридоре остались раскрытыми окна. Раздражение Грушко незаметно сменилось необъяснимым беспокойством, даже тревогой. Ммм... ветер... Окна раскрыты там...

— Аркадий Михайлович, — донеслось сверху, — вы не станете возражать, если я... Схожу, посмотрю?

— Лежи! — бросил Грушко. Поднялся, нашарил ногами тапочки. Нашупал на столе сигареты и зажигалку.

В коридоре Чары не было. В открытые окна вривалась душистая ночная мгла, сырые ароматы невидимых лесов и полей. Что-то огромное, хищное, черное-пречерное — почудилось Грушко — мчалось рядом с поездом, то отставая, то обгоняя. Но он и испугаться не успел. Показалась Чара. Босиком посещала туалет. Весьма гигиенично.

— Так вот куда ты так поспешно выбежала.

Она молча усмехнулась. Посмотрела, как пытается он прикурить очередную сигарету, и снова усмехнулась.

— Куришь? Кури-кури...

— Хочешь мои тапочки?

— Не нужно, здесь коврик.

— За проводника я готов извиниться.

— И то хлеб. А за доктора? А за Сарру?

Теперь уже Грушко держал паузу. Ну, нет... Слишком много захотела. И за доктора, видите ли, уже готова требовать извинения. И за... Все прочее... Таковы женщины. Они всегда остаются правы. И не заметишь, как из наступления переходишь в оборону. Что? Что такое? Чара смеялась. Негромко, но так весело, даже без тени горечи. От неожиданности Грушко сунул в рот очередную сигарету не тем концом. Ему сразу пришли на ум все усвоенные за этот месяц термины: фобии, синдром... Что еще? Незначительный люфт... Кто знает, насколько незначительный? Может...

— Что с тобой?

— За дурочку меня считает, — сообщила она кому-то в открытое окно, — решил, что я не отличу его насквозь провонявший «Явой» поцелуй от поцелуя этого мальчишки, который, как известно, не курит, да к тому же усат и бородат. Что касается проводника, то от него, разумеется, пахло бы виноградной чачей. Так что, Аркаша, я, конечно же, ни на секунду не сомневалась, просто подурочиться захотелось. Розыгрыш! — она все еще смеялась. — Ну, а то, что я Сарра... Так и великую актрису Сарру Бернар так же звали!

Ну и ну! Неужели, правда? Неужели не сомневалась? И затеяла такой невероятно сложный спектакль? С удивлением всматриваясь в смеющееся лицо жены, Грушко почувствовал к ней невольное уважение. Действительно, актриса! И все же... Нет, нет, не могла она... Нет! Это она только что такое умозаключение сделала, догадался он, взглянув на свою погасшую сигарету. Но уважения в нем от этой внезапной догадки не убавилось. Все равно молодец. Здорово выкрутилась. Как же поступить? Решал он, вызывая из зажигалки уснувшего в связи с поздним временем духа огня. Сказать, что не верю? Или притвориться, что пове-

рил? А может, она и вправду с самой первой минуты знала, что это я? Запах сигарет... Гм... Грушко был бы не прочь, чтобы она убедила его в этом окончательно.

— Подойди сюда! — произнесла Чара.

Ого! Уже и властные нотки появились у нее в голосе. Он приблизился.

— Ну-ка... Поцелуй меня.

Значит, нашла в себе силы, собралась. Хочет свести все на хэппи энд, примирения ждет, одумалась. Что ж... — не без некоторого удовлетворения подумал Грушко, — что ж... Разумно... Но беда в том, что сам Аркадий Михайлович никак не мог в эту минуту найти в себе силы для... Надо найти, мелькнуло у него, надо...»

Держа руки по швам, переломившись в поясе, он осторожно чмокнул ее куда-то в верхнюю губу. И облегченно выпрямился.

Она усмехнулась.

— Казачку свою ты тоже так целуешь?

— Какую еще казачку?!

— Ладно, не будем отвлекаться. Даю тебе еще одну попытку.

Что это?.. Как? Откуда она знает?! Знала — и ни словечка?! Столько лет?! А может, недавно узнала?!.. А может... Целую бурю чувств, смятение, удивление вызвал ее вопрос, заданный как бы походя, невзначай. Она вдруг с другой стороны ему открылась. Какая сильная... И... И умная!.. Он оробел вдруг. И не потому вовсе, что был... Ну, это... разоблачен... Нет, скорее, оттого, что она внезапно показалась ему куда более мужественной, чем он сам. Неужто это она, Чара? Его Чара?.. Грушко не знал еще, какую тактику изберет впоследствии, чтобы выйти из создавшегося положения, как будет оправдываться, отговариваться — а что это ему предстоит, он не сомневался, — но сейчас, сию минуту, ничего другого не оставалась, как... Как поцеловать ее.

— Пусти! Ну... Ну, что ты делаешь?! — вскрикнула она придушенным голосом, замолотив ладонями по его груди. Вырвалась. Поправила волосы.

— Еще немного, — произнесла она, задыхаясь, — и я бы позвала на помощь... Что это со мной? — и смущенно пожаловалась. — У меня кружится голова.

Рук своих Аркадий Михайлович так и не разжал. Чувствовал — она нуждается в нем, только он может заслонить ее, почти невесомую, от врывающегося в окно ветра, от черного туннеля ночи. Разве мы знаем себя? Разве всё мы понимаем в себе? Как тот сокол-сапсан, как тот нечаянный грешник с продолговатыми крыльями, мчавшийся в светлом, стремительно затягивающемся темнотой прогале неба домой. К самому себе. Так и мы...

«Сталин-лимитед-инкорпорейтед»

Место для коммерции Коля Парнокопытов — по кликухе Подсвинок — отыскал отменное. На площади возле общественного туалета. Брал из распахнутого кейса цветные фотографии; то раскрывая, то складывая их веером, то стреляя ими из ладони в ладонь, то заставляя их бесследно исчезать и вновь появляться хрипловато кричал:

— А вот Сталина-а-а кому-у-у? Сталина-а-а! За рупь — штучку! За пачечку — получку! Ста-а-алина-а-а кому-у-у?

Оглашая таким образом площадь, он поглядывал порой на телефонную будку, где с пилочкой для ногтей и с длинным бумажным свитком, исписанным номерами телефонов, торчал его ближайший напарник — а если честно, глава всего их дела — Аркадий Михайлович Древовидный, морщинистый человечек с кисточкой на макушке. По кликухе Ушлый.

— Ну, так что, Ван-Гоги? — доносилось до Подсвинка. — Заметано? У Альки Крузенштерн! Ну, у той, помнишь? По иностранным гостям работала? Так придешь? Жду.

Нажав рычаг, Аркадий Михайлович тут же набрал другой номер.

— Рыло, ты? Что-то голос у тебя другой стал, богатым будешь. Будешь, будешь! Благодаря кому? Ну, во-первых, мне. А во-вторых, — рыночной экономике. Так придешь к Алевтине Марковне? Ну, жду!

Прислушиваться, однако, ко всему этому Подсвинку было недосуг. У каждого своя функция.

— А вот Ста-а-а-лина-а-а кому? — надрывался он. — Диктатора! Тирана! Верного ученика и последователя-а-а!

Фотографии были одинакового размера, но разного содержания. На одной Иосиф Виссарионович поднимал на руках смуглую девчушку; на другой блистал примерно полутыщей орденов и медалей; на третьей прогуливался в обществе наиболее меткого в стране на тот период времени стрелка. Фотографии шли нарасхват. Кому какой вариант по душе. Тем более, что поперек фотографий темнели надписи на все вкусы и на все виды идейных убеждений. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» — напоминала одна из надписей. «Сталинизм — к суду истории»

— непримиримо требовала другая. А третья — «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» — относилась, естественно, к детям давно минувшей эпохи. Не исключено, впрочем, что и к детям нынешним.

Подшел покупатель.

— Что? — засуетился Подсвинок. — «К суду истории» тебе? Пожалуйста! Это, панк ты мой волосатенький, не просто «к суду»! — уминая в целлофановом пакете листопад рублей, охотно пояснял он. — Просто «к суду» — это двушничек, пятерик, от силы. В исправилке, в «пионерлагере» то есть, ха-ха-ха-а-а! А там и видеосалон имеется, и рок-группа «Фрайер», и музей трудовой славы. А «к суду истории»... О-о-о, врагу своему не пожелаю! Это, считай, на всю катушку. С полной конфискацией, строгой изоляцией и перезахоронением далеко в стороне от тихого центра!

В результате проведенной работы лохматый неформал отходил от него, давая слово никогда не создавать себе кумира. А Подсвинок тут же обращал свое вдохновение на другую жертву.

— Что? Про счастливое детство тебе, бабуля? Будь любезна, получай! В красном углу повесь, где иконы! — Николай снисходительно рассмеялся. — Что? Про собственное детство вспомнила, говоришь? Как папку в тридцать восьмом, ночью, забрали? И с тех пор ты его не... Ну, ну, поздно плакать, бабуленция! У этой вот смуглянки на карточке бату в тридцать седьмом замели. Так что счастья у тебя было на целый год больше... Цени!

Успокоенная таким образом старушка отошла от Подсвинка, прерывисто, по-детски всхлипывая. А он — снова за свое:

— А вот Сталина-а-а кому-у-у? Что? С артиллеристами вам? Десяточек экземпляров? Будьте любезны! Благодарю за покупку... Эй, вы куда? А деньги? Стой! Стой, говорю! Милиция! Ограбили! Рэкетеры!..

— Кто звал милицию?

Сержант... Покрывшись испариной, захлопнув кейс, Подсвинок полой тулупчика попытался заслонить прозрачный пакет с деньгами. «Надо будет непрозрачную торбочку достать, — думал он, — ни к чему эта прозрачность...»

Сержант козырнул:

— Скажите, вы сами из кооператива будете, или?.. Патент есть!

— Па... Патент? Это...

Но тут из телефонной будки выскочил, наконец, Древовидный.

— В чем дело, сержант? — сразу все поняв, осведомился он деловито. — Я внештатник! — И со значением похлопал себя по нагрудному карману курточки.

Милиционер откозырял.

— Да я ничего... Патент, спрашиваю, есть ли. Понимаете, я...

— Ах, патент! — иронически закивал Аркадий Михайлович. — И когда покончим мы с командно-бюрократическим стилем руководства? С чиновными рогатками и барьерами на пути построения нового капиталистического общества?

— Да я... Я не...

— Покончим, не беспокойтесь! — отважно прогнозировал будущее Древовидный. — Патенты-шмотенты! Бумагомарательство! Поэтам стихи писать не на чем, а вы... Ну, зачем этому русскому пареньку патент? Что он, импотент, что ли?

Сержант порозовел.

— Понимаете... Ветеран один... Он еще в период НКВД сотрудничал. А сейчас, в свободное от сна время... Пишет... Тема...

— Ах, тема! — вскричал Древовидный. — Так вам вот что не понравилось! А мы, сержант, с этой темой, с именем его, ткнул он в кейс, в огонь, так сказать, ходили; Беломорканал, можно сказать, строили! Да, у товарища Сталина были и отдельные негативные стороны, никто этого не отрицает. Но...

Растерянно махнув рукой, милиционер торопливо удалился. — Нам пора, — с облегчением приказал Подсвинку напарник.

...Ехали на метро, на автобусе. Шли пешком. И со всех стен и заборов взывали к ним всякого рода коммерческие сообщества: «Супер!..» «Люкс!..» «Экстра!..»

— Из ничего башли делают! — завистливо скрежетал нержавеющей зубами Ушлый. — А мы с тобой — что, хуже? Глупей? От каждого милиционера — стресс получать должны? Ну, нет!

Но открылся Николаю замысел напарника только на месте, когда пришли. Хозяева квартиры, роскошная брюнетка в длинном японском кимоно, из-под которого виднелись лакированные франко-итальянские сапожки на высоченном каблуке и с бронзовыми шпорами, не поспешила, подала черный кофе в фарфоровых чашечках и овсяное печенье. Сидели в креслах вокруг низенького, похожего на таксу журнального стола. Последним заявился опирающийся на резную трость татуировщик Ван-Гоги, более чем дородный мужчина с четырьмя подбородками и с тем же количеством затылков. Оказывается, новая иномарка его забарахлила, не разработалась еще. Начали... Однако, едва лишь Ушлый взволнованно изложил суть своего проекта — всем им, без исключения, слиться в единый, вооруженный патентом концерн, покуда лицензии пока выдают, — как...

— Э, нет, дорогой, не надо! — прервал его толстяк Ван-Гоги, делая вид, что хочет выбраться из кресла. — Меня, дорогой, не обманешь! Зачем мне твой концерн, слушай? Я и без него и на шашлычок имею, и на коньячок!

И как ни брызгал слюной Аркадий Михайлович, доказывая упряму, что скоро желающих украсить себя лишь позитивным обликом вождя станет совсем мало, переубедить Ван-Гоги он не смог.

— На мой век сталинистов хватит, — уверенно твердил он. И вдруг почти сдался. — А что ты, собственно, предлагаешь, слушай?

Оказалось, что Древовидный предлагает наряду со сталинистами учесть и значительно более огромный отряд антисталинистов. Татуировать вышеназванный облик не только

на левой стороне груди желающих, но и на других, не столь приличных частях тела, что выразило бы и отрицательное отношение к вождю, а поскольку с таким потоком заказов Ван-Гоги один не справится, то возможности концерна бу...

— Сталина?! — вскричал толстяк, делая вид, что выбирается из кресла. — На неприличную часть тела?! Да мы с этим именем... Мы...

— Знаю, знаю, — отмахнулся от упряма Ушлый, — Беломорканал мы с этим именем строили!

Мало-помалу он, кажется, заставил себя слушать. Вместо примитивного антиэстетического подвала, где ныне делает наколку Ван-Гоги, новый концерн — только ему подобное по силам! — откроет современную татуировочную студию со специальными комфортабельными кабинками, в которых ученики Ван-Гоги, облаченные в белоснежные накрахмаленные халаты, будут предварительно прокипяченными иглами

— не забывайте, друзья, о СПИДе! — наносить на самые разные, подчас довольно неожиданные части тела то позитивный, то несколько негативный облик вышеназванного вождя. В зависимости от пожелания татуируемого и в соответствии с тем, в какую сторону дует свежий ветер перемен. Можно будет, живописал далее Аркадий Михайлович, значительно расширить и выпуск ковриков, которыми в настоящее время занимается уважаемая Алевтина Марковна — поклон в сторону хозяйки. То есть вместо накатываемого на эфемерные простынки вышеназванного облика шлепать на долговечную, а потому более товарную клеенку а-атличный кич по мотивам несправедливо забытого художника Шурпина «Утро нашей Родины», где генералиссимус изображен в белом френче на фоне электропроводов. Кстати, выпуск подобной высокохудожественной продукции можно наладить на паях с какой-либо тяготеющей к экономическому диалогу инофирмой. И у нас уже будет тогда не просто концерн, а... Свяжаться же с ребятами из-за бугра и поддерживать с ними самые разнообразные контакты, по всей очевидности, сумеет та же Алевтина Марковна — поклон в сторону хозяйки. Ну, а если кому-нибудь, живописал Ушлый, такого рода коврик покажется... Э...э... односторонним, вернее, односторонне позитивным... Пожалуйста, коврик можно будет сделать

двусторонним! На противоположной стороне клеенки нетрудно изобразить столь же противоположный сюжет. Фрагмент, например, полотна большущего современного художника: товарищ Сталин в гробу, окруженный своими ближайшими учениками и последователями!

— Да ты... Да я тебя сейчас самого!.. — стал выбираться из кресла Ван-Гоги.

Но тут слово взяла хозяйка, и все умолкли.

— Что ж, Аркаша, — одарила она Ушлого своей все еще обворожительной улыбкой, — ты, как всегда... Генератор идей!

Древовидный счастливо поклонился.

— Но... Чего-то в твоей задумке, как всегда, не хватает. Чего-то такого, крупного, знаешь, солидного...

Все одобрительно зашумели. Новое, как известно, не сразу завоевывает сердца.

— Но концерт — это тоже... — попытался спасти положение Ушлый.

— Ай, брось! — добродушно отрезала хозяйка. — Если ничего крупного и солидного не имеешь — пей кофе!

За исключением обескураженного Ушлого, все именно этим и занялись.

— От СПИДа он их спасти хочет, клиентов базарных! — жуя печенье, гоготал Васька Рылов. — Ну, умора!

— При Сталине, между прочим, СПИДа не было! — прихлебывая из чашечки, гневно тряс всеми своими подбородками и затылками Ван-Гоги. И даже тростью на Аркадия Михайловича замахнулся.

— Ну, хорошо, — снова подал тот голос. — Раз вы так... Раз вам что-то крупное необходимо... Загорали мы с Колей Подсвинком в «пионерлагере» не так давно. И погнали нас как-то на станцию... В тупик... Шпалы грузить... Смотрим, а из-под шпал... Коля, что?

— Сталин торчит, — покраснев, прохрипел Парнокопытов. Все переглянулись.

— Монумент! Монумент там, под шпалами лежал! Восемнадцатиметровый! Из чистого мрамора! Из каррарского! Он и сейчас там, и никому не нужен. Забирайте, говорят. Еще доплатим вам!

— Гм... Восемнадцать метров? — покачала головой хозяйка. — Как же ты его сюда перевезешь?

Все немедленно с ней согласились. Закивали головами...

— Очень просто! — воскликнул Ушлый, обрадованный тем, что сумел их в целом заинтересовать. — Через Центральное телевидение и Юрия Сенкевича выходим на Тура Хейердала. Затем, — поклон в сторону хозяйки, — наша уважаемая Алевтина Марковна Крузенштерн, являющаяся однофамилицей, а может быть, и потомком великого мореплавателя, производит на Тура, сами понимаете, какое впечатление. Он, Аля, вот такой мужик! Симпатыга! Мы временно включим его в число пайщиков нашего концерна и получим от него за это секрет транспортировки папуасами многотонных каменных идолов на острове Пасхи. Согласно этому секрету, переносим наш монумент сюда и...

— И что? — с прежним невозмутимым добродушием спросила хозяйка. — Ну, согласится Тур Хейердал — это я беру на себя — но что прикажешь делать, Аркаша, с твоим восемнадцатиметровым? Где мы на этого идола покупателя найдем?

— Я куплю! — доставая из внутреннего кармана кошелек, решительно заявил Ван-Гоги. — Сколько? Косую? Две?..

— Вот видите? — воскликнул Древовидный. — Есть покупатель! Но на такую глупость наш концерт не пойдет! Нам не кося, нам для начала миллиард нужен! Поэтому мы разрежем мраморную глыбу на тысячу болванок, найдем с десяток голодных скульпторов, и они в момент понаделают нам из этих мраморных болванок точно такие же монументы, но маленькие. Минимонументы! И нам останется!..

— Болванки?! Ах, ты!.. — Вырвавшись, наконец, из плющевых объятий, Ван-Гоги взмахнул своей резной тростью и с силой рубанул ею по хрупкому плечу автора проекта. Древовидный без звука свалился под журнальный стол...

Бросившийся, хоть и запоздало, на выручку напарнику Парнокопытов, в свою очередь, получил звонкую оплеуху от Васьки Рылова, после чего, схватив друг друга за грудки, два сравнительно еще молодых титана заходили по комнате, сшибая и круша мебель. Пронзительно завизжала запутавшаяся в полах суперкимоно и рухнувшая на бездыханного автора проекта однофамилица великого мореплавателя. Мелодично хрустел под двумя десятками тяжелых

ног, несомненно, саксонский фарфор кофейных чашечек; описав крутую траекторию, угодила в, несомненно, чешского происхождения люстру кухонная табуреточка, громко, как выстрел, треснула сломанная пополам трость...

...На обратном пути, хоть и заботливо поддерживаемый младшим напарником, Ушлый так и вскрикивал порой от боли в правом плече. А может, в левом? Нет, все-таки в правом. Но сильнее боли была досада. «Не вышло, — скрежетал Аркадий Михайлович никелированными зубами, — не оценили, не поняли! Снова, стало быть, халтурой придется заниматься, фотокарточки вождя распространять...» А вокруг, будто назло, пульсировала, разгоняя ночную мглу, реклама более удачливых, более инициативных коммерсантов. Кто предлагал фиолетовые торты, кто ярко-зеленый «фирменный» напиток, а у третьих исходили паром огромные котлы, плясали в крутом кипятке мертвенно-бледные сосиски в целлофановой коже... И люд городской, надо сказать, не капризничал, активно лакомился фиолетовым, запивал ярко-зеленым и не прочь был отведать также и весело отплясывающих, несмотря на свой потусторонний вид, сосисок. Даже постанывающий Ушлый и самоотверженно поддерживающий его под локоть Николай тоже притормозили у какого-то «быстро» под открытым небом, голод не тетка, а овсяного печенья перепало им в гостях с гулькин нос.

— Девушка... — прохрипел Подсвинок. — Эй! Сварились сосиски? Сколько можно ждать?

— Целлофан готов, — гостеприимно пропела курносая кооператорша. — А сосиски еще сырые, твердые. Один целлофан брать будете?

— Да! Взвесьте две порции!

...Дома, отлежавшись чуть, все так же охая, Аркадий Михайлович поднялся и приказал Николаю плотно зашторить окно. Халтура не халтура, а жить с чего-то надо. Включили красную лампу и принялись с энтузиазмом готовить товар на завтра. В плоской ванночке с проявителем, из-за красного цвета жутко напоминающим кровь, стали медленно возникать, наливаясь чернотой, знаменитые усы. Волосы, брови, пронизывающие глаза, ордена, сапоги... У Подсвинка мороз пробежал по коже. Казалось, вождь оживет сейчас

там, в ванночке с темно-алой кровью, поднимется, перешагнет через край ванночки, станет расти, расти... Потом со стола прыгнет. И все выше, выше будет становиться. Вот он уже со стулом вровень, со столом, а вот и в натуральную величину уже... Расправит плечи, шагнет из их комнатенки на улицу, на оперативный простор. И все выше, выше будет становиться. Вот уже три метра в нем, пять, десять... А вот он уже восемнадцатиметровый! И зашагает, сотрясая землю, сметая все на своем пути, будто гигантская горилла Кинг-Конг из импортного кинофильма. А за ним, вопя от восторга, копошась где-то на уровне каменных подметок, побегут те, что накололи себе его облик на самом приличном месте, слева, где сердце.

— Н-н-нет! — испугался Подсвинок своего видения. Дернул — нечаянно? — локтем и сбил со стола ванночку с раствором. Растеклось алое по линолеуму. И что странно, не убил его за это Ушлый, даже не обругал. Только в глаза быстро так, понимающе посмотрел.

...Продолжительный, бесцеремонный звонок в дверь.

— Я правильно попал? Это кооператив «Сталин»?

— Что-о-о? — отшатнулся Подсвинок. — А ну... Пошел вон...

— Но-но! — не испугался старикан в старомодном драповом пальто. — Я милиционер-пенсионер Лукошкин. По совместительству — писатель на общественных началах. Вот рукопись моего романа на тему культа. Меня направил к вам сержант Сундучков!

...Через несколько минут, так и не выключив красный свет, похожие на вурдалаков Ушлый и Подсвинок, не дыша, внимали писателю-общественнику, кратко излагавшему им свое произведение. Называлось оно «Негасимая» и касалось малоизвестного в истории факта потери вождем любимой трубки. Сами посудите, как Сталину без нее? Все равно, что без усов. Вот-вот его узнавать и пугать перестанут.

— А Сталин, надо вам, ребята, сказать, родом сам был с Кавказа, настоящая его фамилия заканчивалась на «швили», человек он был по должности вроде царя...

Завороженно внимая милиционеру-пенсионеру, напарники живо представляли себе переполох по поводу пропажи. Тем более, что раскрытием загадки исчезновения занялся сам некто Лаврентий Павлович.

— Ну, а он, — польщенный вниманием слушателей, излагал писатель, — такой дотошный был — пальчики оближешь! Составил перво-наперво список всяких знаменитых артистов и крупных начальников. Причем тут, спросите, они? Берии видней. Сам-то Виссарионич, по секрету вам скажу, многого, что творится, не знал. Берия, гад, не хотел ему зря нервы трепать. Но мы, само собой, подобную халатность товарищу Сталину прощать не должны!

— Так в романе, значит, освещаются и негативные стороны вождя?

— А как же? — едва ли не с обидой ответил милиционер-пенсионер. — Что же я, по-вашему, не ориентируюсь в международном положении?

— А трубка, трубка? — вставил захваченный фабулой Подсвинок.

— Да нашлась она, нашлась, — улыбнулся старикан, — но, к сожалению, уже после того, как Лаврентий Павлович составил список...

— А где же она была?

— Да пошутил Иосиф Виссарионович. Дай, думает, проверю, как они, эти гаврики, станут переживать, что трубка сталинская пропала, или не почешутся? Взял да и сунул ее под подушку. А эти-то, — рассмеялся Лукошкин, — ищут, ищут, допросы снимают... Никак! Тут ему курить приспичило, сам и нашел свою негасимую. Вот так-то.

Мэтр откланялся. Древовидный потирал руки.

— Ну, Коля! Фотороман-раскладушка на тему культа! Это же... То самое! Крупное и солидное! Зафигачим тираж в сто тысяч экземпляров! — Ушлый задумался, подчитывая. — Двадцать миллионов огребем!

— А патент?

— Возьмем, само собой! В художественной литературе, брат, с патентом — оно как-то спокойнее. Явимся куда надо — и: просим зафиксировать наш дружный татуировково-фото-издательский концерн, который мы хотели бы назвать... Э-э... Именем... Это... как его?

— Не разрешат, — испуганно покачал головой Подсвинок.

— Не то время, чтобы не разрешили. Ну-ка, Коля, вот тебе список телефонов, вот пилочка для ногтей. Обзвони всех. Скажи, что... Ох! Вызови заодно и «неотложку».

...Наутро они стояли вдвоем в условленном месте, возле старинного особняка с крутым крыльцом и чугунной вывеской. Шею и оба плеча Аркадия Михайловича сковывал гипсовый доспех, который наложили ему вчера вечером неразговорчивые хирурги. Вокруг левого глаза Николая темнел обширный синяк, который плохо скрывало стекло солнцезащитных очков. В назначенное время из-за угла неторопливо вышел тут же принявшийся гоготать Васька Рылов. Громыхая проржавевшей жестью, к подъезду подвернул похожий на навозного жука «фольксваген» самого первого, а может, и более раннего выпуска. После долгих усилий из него выбрался наружу чертыхающийся Ван-Гоги. Лицо татуировщика усеяли многочисленные крестики из лейкопластыря.

С шиком подлетел и затормозил у крыльца длинный «кадиллак». За рулем сидел поджарый, седовласый господин, чем-то и вправду смахивающий на знаменитого командора плота «Кон-Тики». Не исключено, что это он сам и был. Умопомрачительный привозной сапог с бронзовой шпорой показался из распахнувшейся дверцы. Вторую ногу Алевтины Михайловны украшал неуклюжий гипсовый валенок с подвязанной к ступне калошей. Все кинулись, оттирая в сторону иностранца, поддерживать даму под локоток, целовать ей ручку.

— Гуд монинг! Гуд монинг! — улыбался зарубежный партнер хоть и зубасто, но приветливо.

Выпуклые буквы чугунной вывески вызывали, однако, у вновь прибывших целый рой сомнений.

— А пропустят туда? — робко спросил Рылов.

— Аркаша, говорят, что... Это... Характеристику там требуют, — потупилась однофамилица мореплавателя.

— Какаю еще характеристику? — взбеленился Древовидный. — Да если они характеристики будут требовать, ни одного коммерсанта не останется! Чем же они тут заниматься тогда будут?

— Ну, чем до этого занимались, тем и сейчас займутся,

— всматриваясь в хмурые окна учреждения, предположила Крузенштерн, — ничем, то есть.

Автор проекта саркастически рассмеялся.

— Ничем? Не получится! Слово такое — рынок — слышали? Маркетинг?

— О, маркетинг? Йес! Йес! — показал зубы иностранец.
— Тогда пошли.

Шмыгнув носом, Васька Рылов истово вдруг перекрестился. Тут же последовал его примеру и Николай. Шмыгнул, то есть, носом. Один за другим, хромая, охая, сверкая зубами, крестясь и шмыгая носом, они поднялись на крыльцо и скрылись за дубовой дверью.

...Прошло пять минут. Десять... Еще пять и еще десять... Дверь распахнулась. Порозовевшая, радостно улыбающаяся высыпала на крыльцо вся компания. И не только они. Весь здешний коллектив с ними. Под руку Алевтину Марковну вел сам руководитель учреждения, лысоватый крепыш с приплюснутым носом боксера и при строгом галстуке, наш, в общем, человек.

— Спасибо! Душевное спасибо! — повторял он. — А то мы уже и не знали что да как, да куда податься...

— Пожалуйста, — благосклонно кивала ему прекрасная дама, — но это не нас, а законы бизнеса надо благодарить!

— О, Йес, Йес! — пускал солнечных зайчиков своими зарубежными зубами двойник Тура Хейердала. — Бизнес? Вари вайл!

— Ребята, несите! — громко приказал сияющий Древо-видный.

Двое молодых сотрудников в костюмах из варенки —

Николай и Васька с рвением кинулись им помогать — вытащили из подъезда и стали энергично прикреплять к стене, поверх чугунной вывески другую, новую, временно исполненную фломастером на картоне. «Сталин-лимитед-инкорпорейтед» — значилось на ней. Все зааплодировали.



Владимир ФРИДКИН

В РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ

Старый Новый год

Как-то приятель позвонил мне и предложил вместе встретить старый Новый год.

— Ты только подумай! Ведь это последний старый Новый год во втором тысячелетии.

— А где встречать?

— Да есть тут одна компания. Новые русские. Ты новых русских когда-нибудь видел?

— Нет, слышал только анекдоты.

Я решил, что все новое интересно, и согласился. Приятель привез меня в высокий дом на Новом Арбате. Новое началось с подъезда: вежливая дежурная («простите, вы к кому?»), ковровая дорожка, быстрый бесшумный лифт с зеркалом. Гости уже пришли и разбрелись по комнатам. Приятель представил меня хозяйке, высокой блондинке под пятьдесят. На ней было открытое черное

платье с бретельками, а на шее — обжигавшее глаза бриллиантовое кольцо. На запястьях обеих рук сидели бриллиантовые браслеты. Я понял, что это гарнитур. Заметив мой взгляд, хозяйка сказала:

— Эти бриллианты я купила давно, но надела только сегодня. Говорят, к Новому году нужно надеть что-нибудь новое. Тогда и весь год будет новым. Я долго думала, что бы такое... И тут случайно вспомнила про них. А вы что нового надели?

— Носки. На днях купил на Черемушкинском рынке. Носки теплые, шерстяные. А снега все нет как нет.

В одиннадцать сели за стол. За столом всех развлекал молодой, рано полысевший человек в бордовом пиджаке. Когда он приглаживал свисавшую с лысины прядь, на руке обнажались часы «роллес» с золотым браслетом. Молодой человек травил анекдоты.

— А вот еще... На днях рассказали. Приходит, значит, черт к старику. Просит старика: продай душу. А за это, говорит, с полпинка мажором тебя сделаю, крутую жизнь обеспечу: баксы, прикид, ну и все такое... По Канарам будешь с герлами на карах разъезжать. А старик был не прост. Думал, думал, а потом спросил черта: а тебе в чем наеб?

Гости долго смеялись. Я сказал, что это легенда о Фаусте и Мефистофеле. Что Гете закончил «Фауста» еще в 1832 году, а легенда была известна и в средние века. Человек в бордовом пиджаке с изумлением уставился на меня.

— Выходит, анекдот с бородой?

— Выходит, что так.

В двенадцать по телевизору боя часов на Спасской башне не передавали. Выступал Филипп Киркоров и обещал показать новую программу «Ой, мама, шика дам!» Гости стоя пили «Вдову Клико». А еще через час я незаметно прокрался в пустую прихожую, оделся и съехал вниз. На улице моросил дождь. Я встал около щита с рекламой водки. На нем было написано: «Принцип № 1: водка должна быть русской». Кто-то ниже приписал фломастером: «и членом КПСС». Очень скоро я поймал левака. Раньше это называлось уйти по-английски.

Юбилейное сочинение

(подражание Курту Тухольскому)

Недавно праздновали 200-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Юбилей Пушкина отмечают каждые 50 лет. Один — со дня рождения, другой — со дня смерти. Жизнь Пушкина была короткой, всего 37 лет. Да и сейчас в России люди живут недолго. Так что средний россиянин проживает один, два пушкинских юбилея, не больше. Может быть, в двадцать первом веке жизнь в России, наконец, наладится. И пушкинских юбилеев у каждого будет побольше. Предсказать трудно.

В школе принято к пушкинскому юбилею писать сочинение. Первый юбилей для меня и моих сверстников случился в 1937 году, когда отмечали 100-летие со дня гибели поэта. Мы были тогда в первом классе и сочинений еще не писали. Зато с 1950 года у меня сохранилась чья-то тетрадка в косую линейку с сочинением на тему «Пушкин и Сталин». Дело в том, что в 1949 году отмечали сразу два юбилея. Пушкину исполнилось 150 лет, а Сталину — 70. Вот этот текст.

«Сравнивая Пушкина с товарищем Сталиным, необходимо указать на их сходства и различия. Пушкин был гений русской литературы. А товарищ Сталин — гений всех времен и народов. Оба академики. Но товарищ Сталин, сверх того, — корифей науки.

Живи Пушкин в наше замечательное время, его стихи были бы отмечены Сталинской премией первой степени. Оба, и Пушкин и товарищ Сталин, много занимались языком. Пушкин создал русский литературный язык. А товарищ Сталин написал «Марксизм и вопросы языкознания». Пушкин свободно говорил и писал по-французски, знал английский и итальянский. Думаю, что и товарищ Сталин владеет иностранными языками, но говорить на них стесняется из-за акцента. Да это ему и не нужно, так как по-русски уже говорит пол-Европы, а скоро будет говорить весь мир.

Пушкин хоть и боролся за свободу, но был декабристом. И поэтому страшно был далек от народа. А товарищ Сталин — плоть от плоти народа и как вождь всего прогрессивного

человечества борется за освобождение всех народов. Он уже освободил пол-Европы и скоро освободит вторую половину. В то время как Пушкин осуждал сепаратизм Польши и разоблачал буржуазного польского националиста Адама Мицкевича, товарищ Сталин поднял над всем миром знамя пролетарского интернационализма и скоро покончит со всеми космополитами как у нас в стране, так и за ее пределами. В этом отношении Пушкин не был последователен. Он не сотрудничал с органами, вовремя не раскрыл заговор двух французов-космополитов и поэтому пал их жертвой. Наверняка они были еще и сионистами. Прояви Пушкин бдительность и сигнализируй о них Бенкендорфу, у которого были горячее сердце, холодная голова и чистые руки, — и враги народа были бы разоблачены.

Великий Сталин — Генеральный секретарь ЦК КПСС и генералиссимус. Пушкин же был всего лишь камер-юнкер, то есть по-современному не более чем член КПСС или, в крайнем случае, кандидат в члены Политбюро. Но мы чтим Пушкина как величайшего поэта. Хотя и товарищ Сталин писал в детстве выдающиеся стихи. Если бы он писал их и дальше, еще неизвестно, кто стал бы более великим поэтом».

Под сочинением учитель написал: «За раскрытие темы — 5, за орфографию — 3». Красным карандашом отмечено пятнадцать орфографических ошибок.

Живи, как барон

В итальянской деревеньке Вела, где мы с женой жили в ту пору, на крутом склоне холма стояла старая вилла. От шоссе к ней вела широкая тропа между двух каменных оград, поросших самшитом и диким виноградом. Из-за кипарисов, окружавших виллу, окон видно не было. Перед виллой на лужайке стоял старый высохший фонтан, а вокруг фонтана — статуи из серого камня. Лица у статуй были стерты, а иные стояли и вовсе без голов. Если бы у статуй были глаза, они глядели бы вдоль склона вниз, на сельское кладбище, каменной стеной выходящее на шоссе. По склону шел виноградник. Скорее, это была не вилла, а каменный трехэтаж-

ный деревенский дом с чердаком, служившим дровяным сараем. Так раньше строили дома в деревнях Трентино, на севере Италии.

Хозяином дома был барон Антонио Сальвати. Когда мы познакомились, барону шел девяностый год. Жена его давно умерла, детей не было, и старик одиноко жил в своем доме. Ему прислуживала женщина из нашей деревни. Каждое утро я встречал хозяина виллы на остановке автобуса у ограды кладбища. Я ехал в университет, а барон Антонио в банк, где служил многие годы. Если я приходил на автобусную остановку раньше времени, то видел, как низенький старичок мелкими частыми шажками семенит по каменной тропе. Одет он был всегда тщательно; светлые выглаженные брюки, темный пиджак с белым платком в нагрудном кармане, белая рубашка и темно-синяя бабочка в белую крапинку. В руках портфель, а на голове — шляпа. Шляпу он носил всегда, даже в жаркую погоду. Пока не подошел автобус, мы здоровались и обменивались впечатлениями о погоде. Если же наши места были рядом, барон Антонио успевал рассказать о видах на урожай винограда и осудить христианских демократов.

Старик был бодр, держался прямо. Маленького роста, в шляпе, он напоминал гвоздь, крепко вколоченный до середины. Когда на меня находила хандра или я жаловался на нездоровье, жена говорила:

— Тебе не стыдно? Бери пример с барона. Живи как барон.

По соседству с нами жила Антонелла, молодая женщина лет тридцати, снимавшая комнату у хозяина большого многоквартирного дома. Антонелла подражала актрисе Софи Лорен. У нее были длинные стройные ноги, очень высокая грудь и большие подведенные краской черные глаза. Свои прелести она подчеркивала короткими открытыми платьями и туфлями на высоком каблуке. В профиль ее фигура напоминала знак доллара. На остановке автобуса Антонелла любила поболтать с бароном. Во время разговора шляпа барона почти касалась ее открытого бюста. Я стоял сзади, и шляпа не мешала мне видеть ее лицо и перекинуться с ней парой слов. Пожилые синьоры стояли поодаль и, казалось, с осуждением смотрели на нашу группу.

Работала Антонелла в Тренто кассиршей в супермаркете «Товацци». Раз в неделю мы приезжали туда делать покупки. Машины у нас не было, а «Товацци» доставлял продукты на дом. Мы набирали две полные тележки и подкатывали их к Антонелле. За кассой Антонелла сидела, как в театре: в нарядном платье со смелым декольте, открывавшим ослепительные перспективы. Она быстро считала и укладывала покупки в ящики. Кончив, нагибалась и доставала из-под кассы подарок: бутылку красного трентийского вина или таппы. Говорила, что это не от нее, а от хозяина.

Она часто советовала жене купить мне какие-то особые духи.

— Signora, ti consiglio di comprare questo profumo per tuo marito. Ha uno specifico aroma di uomo¹.

Жена благодарила и говорила, что специфический мужской запах не выносит.

За спиной Антонеллы суетился Франко, высокий молодой человек лет двадцати. На своей машине, похожей на инвалидную коляску, Франко развозил продукты по домам. Не поворачивая головы, Антонелла кидала ему:

— Subito, a Vela².

Дома нас встречали полные ящики, стоявшие перед закрытой дверью.

Через год, когда мы вернулись в Тренто и поселились в Веле, нас ожидала новость. О ней судачили женщины на автобусной остановке. Барон Антонио и Антонелла поженились. Барон уже не ездил в банк на автобусе. Теперь Антонелла отвозила и привозила мужа на недавно купленной «тойоте». Иногда я видел их, когда «тойота», съезжая с холма, поворачивала на шоссе. Барон улыбался, а Антонелла сидела за рулем и махала мне рукой. Вид у молодой баронессы был счастливый. Мы продолжали ходить в супермаркет «Товацци», но за кассой сидела теперь незнакомая седая синьора. И Франко тоже не было видно. В Веле нам сказали, что Франко теперь работает на вилле барона и занимается виноградником. Вместо инвалидной коляски он ездит на тракторе с прицепом, собирает виноград. Стояла осень, и на вилле работало несколько

¹ Синьора, советую купить для мужа эти духи. У них специфический мужской запах, (ит.)

² В Велу, сейчас же. (ит.)

сезонных рабочих, поляков. Для Белы с ее виноградниками и яблочными садами это было обычным делом.

А еще через два года умерла моя жена, и в декабре я приехал в Велу один. В деревне мне рассказали, что Антонелла овдовела. Барон скончался на девяносто третьем году. Ходили разговоры, что Антонелла сошлась с Франко, но он изменил ей с девчонкой из Пово, соседней деревни. Антонелла выгнала его, и он уехал на «тойоте», которую она ему подарила. Мне показалось это сплетней. Антонеллу в деревне не любили.

Обедал я в университете, кое-как вел свое одинокое хозяйство и в «Товацци» не заглядывал. Но как-то проходя мимо супермаркета, увидел в окне Антонеллу и зашел в магазин. Антонелла сидела на своем месте у кассы. Она не изменилась. Только одета была в темное закрытое платье с накинутой на плечи кофточкой. Впрочем, подумал я, зимой открытых платьев не носят. Антонелла улыбнулась, протянула обе руки и на ее вопрос «Come va?»¹ я сказал о своем несчастье. А она спросила, знаю ли я о смерти ее мужа. И еще предложила посидеть в соседнем баре на углу улицы Манчи. Она кончала работу через десять минут.

В баре я ждал недолго. Антонелла присела и вынула из сумочки нарядную коробку.

— Con i migliori auguri di Buon Natale².

Я понял, что это те самые духи. Со специфическим мужским запахом. И поблагодарил,

Антонелла спросила о моей жизни. Я сказал, что приехал ненадолго и что живу в Веле, в том же доме напротив автобусной остановки. И тогда она неожиданно предложила мне переселиться к ней на виллу. Сказала, что мне будет удобно писать книги (так и сказала — писать книги) на балконе с видом на снежные альпийские горы. И что такую лазанью, которую она приготовит для меня, едят только в Болонье. Я спросил Антонеллу, зачем ей нужен еще один старик. Понял, что задал бестактный вопрос, но было поздно. Антонелла, казалось, ничего не заметила.

— Lei non é vecchio. Gli uomini vivi devono vivere³.

¹ Как дела? (ит.)

² Поздравляю с Рождеством, (ит.)

³ Вы совсем не старый. Живые должны жить. (ит.)

Я проводил ее до стоянки машин. Она открыла дверцу новой «альфа ромео» и усадила меня рядом. В Велу нам было по пути. Я спросил, где ее прежняя «тойота». Она ответила, что подарила ее Франко. Тогда я спросил о нем. И она ответила, не отрывая глаз от дороги:

— O, mamma mia! Questi giovani uomini...¹

Я иногда приезжаю в Велу, но Антонеллы больше не встречаю. Говорят, что она все еще живет на вилле. Каждый раз, когда я смотрю на старый дом на высоком холме, я вспоминаю слова жены: «Живи, как барон». Я ведь тогда не догадался, что это завещание.

Амнезия

Александрю Ивановну Таганцеву соседи звали тетя Шура. Ей было 77 лет. Она жила в коммунальной квартире на проспекте Вернадского. Уже год, как вышла на пенсию. До пенсии работала бухгалтером в одном из отделений Газпрома. Там платили прилично, и на еду хватало.

Родилась тетя Шура в самом центре старой Москвы, на Собачьей площадке, в одном из желтых особнячков с мезонином и крыльцом под железным козырьком. От детства в памяти ничего не осталось. Одни названия улиц и переулков: Молчановка, Ржевский, Скатертный... Ее воспитала тетка, а родителей своих она не помнила. Отец был дальним родственником того самого Таганцева, которого расстреляли вместе с поэтом Гумилевым в двадцать первом. Куда делись родители, тетя Шура не знала, а тетка ей не рассказывала. Дом, где родилась, помнила смутно. На Арбат она давно не ездила. Да вряд ли узнала бы эти места: ни Собачьей площадки с фонтаном, ни ее дома, ни соседних домов не сохранилось. Ей казалось, что в особнячке они жили на втором этаже. Потому что помнила скрип крутой деревянной лестницы. Еще вспоминался запах утреннего кофе и соленых сырков с тмином в плетеных корзиночках. Звуки и запахи она помнила лучше.

¹ Ах, эти молодые люди (ит.)

Мужа своего, Петра Сергеевича Оболенского, помнила хорошо. Он ушел на фронт в январе сорок второго, а через месяц пришла похоронка. Ей было тогда двадцать два года. На руках у нее остались двойняшки — Саша и Света. Тогда ей пришлось трудно. Чтобы прокормить детей, давала уроки французского, относила в комиссионку теткины вещи. От тетки осталось несколько ценных вещей: две картины Сомова, кузнецовский сервиз, какие-то кольца, браслеты. Во всем этом тетя Шура не очень понимала, а по-французски говорила свободно, как в детстве. В квартире на Вернадского соседка Таня учила на курсах французский. Тетя Шура давала ей читать французские детские книжки. Потом строго спрашивала ее:

— Таня, avez-vous mon livre?

— Те n'ai... Да, но я еще не прочла. Отложила...

— Ce qui est differe n'est pas perdu¹.

Дочь Светлана жила теперь с мужем в Кузьминках. Звонила ей редко. А Саша, физик, уже несколько лет работал в Америке. Иногда с оказией посылал ей деньги.

У тети Шуры сохранился старый, 1913 года, альбом с фотографией Зимнего дворца на бархатном переплете. Первые страницы были пусты, одни прорези. Фотографий родителей и тетки не сохранилось. От Петра Сергеевича осталось маленькое фото с печатью в углу. Видимо, отклеилось от документа. Фотографий Саши и Светы было много, и тетя Шура разглядывала их подолгу.

Тетя Шура никогда не болела. Когда лифт в доме не работал, легко поднималась к себе на третий этаж. А в последний год стала задыхаться. По ночам просыпалась от сердцебиений, пила валокордин и в темноте долго лежала без сна. Бывшие сослуживцы из Газпрома достали ей бесплатную путевку в Кисловодск. И в конце лета тетя Шура уехала в санаторий.

В санатории она прожила положенные двадцать четыре дня и на двадцать четвертый вечером села в плацкартный вагон и отправилась обратно в Москву. Как только тронулся вагон, тете Шуре стало плохо. Она задыхалась. По

¹ — Таня, моя книжка у вас?

— Нет...

— Что отложено, еще не потеряно, (фр.)

лицу ручьями стекал пот. На первой остановке в Минеральных водах проводница и соседи вынесли ее на перрон. Когда приехала неотложка, было уже темно и лил дождь. Кто-то успел перенести ее с перрона в здание вокзала. Тетя Шура была без сознания. Ее чемодан и сумочку с деньгами и документами украли. С ног сняли туфли. На второй день в больнице она пришла в сознание. Врач стал было расспрашивать ее, кто она и откуда, но тетя Шура не помнила. На вопрос о самочувствии она отвечала, что чувствует себя хорошо. Но как ее зовут и где она живет, не знала. Не помнила сколько ей лет и есть ли у нее родные. На вопрос, как и зачем она оказалась в поезде, отвечала, что ничего про поезд не знает. Было известно, когда поезд ушел из Кисловодска. Оставалось навести там справки, но это требовало времени.

На пятый день тетя Шура ушла из больницы на станцию. Там кто-то видел босую старуху в больничном халате. Она села в вагон поезда. Куда шел поезд, не известно. Не известно, как поступили с ней проводники. У тети Шуры не было ни денег, ни одежды, ни документов. Она не помнила, кто она и где ее дом...

Она оказалась в Ростове. Там ее подобрали на вокзале и приютили незнакомые люди. У незнакомых людей ее нашел Михалыч. Михалыч был бизнесмен. Он подбирал бесприютных старушек, инвалидов и детей и определял им выгодное место. Они собирали милостыню. Выгодные места были у церкви, у рынка и на Большой Садовой улице, бывшей Энгельса. Выручку Михалыч собирал вечером. Бездомные спали у него на квартире — в подвале старого дома возле Россельмаша. Там же и кормились. Михалыч был психолог. Узнав, что тетя Шура говорит по-французски, он заставил ее просить Христа ради на двух языках. Ростовские жители в массе своей французского не знали, но нищая старуха, говорившая по-французски, вызывала уважение, а вместе с ним и сострадание. Теперь тетя Шура сидела на тротуаре Газетного переулка, круто спускавшегося к Дону, держала в руках кружку и говорила прохожим:

- Je n'ai pas d'argent Je veux a manger¹. Подайте Христа ради...

¹ - У меня нет денег. Я голодна.

Она по-прежнему не помнила, кто она и откуда.

Когда прошло два месяца после отъезда тети Шуры, соседка Таня забила тревогу. Она позвонила Светлане. Светлана забеспокоилась, но ей было некогда. С мужем, директором банка, она собиралась на отдых в Испанию. Был конец октября, но на Майорке сезон не кончался. Светлана позвонила Саше в Чикаго. Саша прилетел в Москву не сразу. Его задержал в лаборатории какой-то важный эксперимент. К поискам он приступил только в середине ноября.

Саша мотался по беспокойному Северному Кавказу. К беде там привыкли и были к ней равнодушны. Кто стал бы нынче искать пропавшую старуху? И Саше очень пригодились его зеленые деньги. К тому же Михалыч был психолог, но, к счастью, не аналитик. Слух о французской нищей давно облетел Ростов. Конечно, Михалыч платил, кому следует. Тем не менее, в конце декабря дороги привели Сашу в Ростов, в Газетный переулок. Он скользил по крутому спуску, разгребая ногами мокрые от снега каштановые листья, когда на углу у супермаркета увидел мать. Она сидела на фирменном ящике из-под бутылок. На ней была мужская лыжная куртка. На минуту Саша прирос к земле. Потом присел на ящик и обнял мать. Сына тетя Шура узнала сразу.

— Саша, что же ты так долго?

— Да вот, задержался. Поедем, мама, домой. Скоро Новый год...

В Москве Саша определил мать в больницу. Перед отъездом в Штаты зашел к врачу. Спросил про диагноз. Врач знал историю тети Шуры.

— Сейчас трудно сказать. Возможно, это был инсульт.

— А почему пропала память?

— Амнезия. Случается после инсульта.

— А память вернется?

— Рано предсказывать, — ответил доктор и грустно посмотрел на Сашу. — Вы хотите, чтобы память вернулась? А зачем?

Иван

Эту историю рассказала Ева Лившиц, жена моего друга Гриши, альтиста из Цюрихской оперы.

Когда-то, в начале семидесятых, Ева, Гриша и его брат скрипач Боря уехали из Вильнюса и переселились в Израиль. Через несколько лет братья Лившиц, талантливые музыканты, выиграв трудный конкурс, были приняты в оркестр Цюрихской оперы. А еще через пару лет организовали струнное трио. Трио стало знаменитым, они объездили с ним весь мир. Теперь Гриша и Ева с детьми живут в Шверценбахе, пригороде Цюриха, в собственном двухэтажном доме. В доме — большой холл и красивая деревянная лестница, ведущая в спальни на втором этаже. Из окон холла видны изумрудный стриженный газон, за ним вспаханное поле и одинокая старая ферма, а на горизонте в ясную погоду — похожие на облака снежные Альпы.

В Вильнюсе они жили в тесной коммуналке старого дома. Дом стоял в лабиринте средневековых улочек возле костела святой Анны. Казалось бы, от этой старой жизни ничего и не осталось. Но здесь, в большом доме у подножия Альп, они продолжают говорить друг с другом по-русски. Прежняя российская жизнь еще выглядывает со стен и из стеклянных створок старого резного буфета. На стенах висят их молодые фотографии, а в буфете стоят медный самовар, синяя гжель и пузатые расписанные алыми розами чайники.

Но вернемся к истории, которую рассказала Ева. Однажды в ее доме объявился молодой человек. Его звали Шейл Шмуклер. Шейл был профессором университета Пьера и Марии Кюри в Париже и приходился Грише и Боре двоюродным братом. Он был вызывающе элегантен. На нем было длинное пальто и бордовый приталенный пиджак с артистическим кашне, повязанным вместо галстука. Вокруг себя он распространял таинственный запах какого-то дорогого одеколona. Весь вечер до ужина Шейл расхаживал по холлу и говорил по карманному телефону. Говорил большей частью по-французски. Но также по-английски и по-немецки. В тот вечер он вылетал из Цюриха в Лондон на конференцию и ему нужно было уладить

кое-какие дела. По-русски он совсем не говорил и за ужином общался с братьями на иврите.

Поздно вечером после отъезда Шейла Ева рассказала мне историю его отца.

До второй мировой войны раввин Натанель Шмуклер жил в Польше, в Кракове. Когда в тридцать девятом году Сталин и Гитлер поделили Польшу, Натанель подался в Союз. Ехать в Союз раввину было страшно, но с немцами было еще страшнее. У нас он попал в трудовой лагерь под Иркутском. Ева уже не помнила, что там было. То ли лесопильный завод, то ли бумажная фабрика. Как-то в столовой Натанель, хлебая щи из алюминиевой миски, имел неосторожность пожаловаться соседям по столу. Дескать, кормят здесь хуже, чем в польской тюрьме. Кто-то донес на него. И Натанель отправился из Иркутска дальше на восток, в лагерь под Магаданом. Это был нормальный гулаговский лагерь, рудники в зоне вечной мерзлоты. Больше года в нем никто не протягивал. Глубоко копать могилы в мерзлом грунте было трудно, и каждое лето из-под лишайника вместо травы всходили кости.

Польскому раввину повезло. Он устроился на кухне: резал хлеб, чистил картошку, разливал баланду. Когда уже шла война и немцы подходили к Москве, Натанель познакомился в бараке с Иваном Тимофеевичем. Тот был его соседом, лежал над ним, на верхних нарах. Иван Тимофеевич был низкого роста, кряжист, с круглым крестьянским лицом и здоровым румянцем во всю щеку. Соседи подружились. Может быть, потому что были одногодки, обоим было по двадцать пять. На воле Иван работал экспедитором в одном из московских партийных издательств. Был он поповский сын, родился в деревне на Тамбовщине. Отца и мать расстреляли в коллективизацию. Приютила его дальняя московская родня, когда ему и четырнадцати еще не было. О родителях Иван в анкетах не писал и на работе о них не рассказывал. Как проведали о них бдительные кадровики, не известно.

После ночной поверки, когда барак в полутьме дружно храпел Иван и Натанель тихо переговаривались. Рассказывал больше Иван, а Натанель слушал о чужой незнако-

мой жизни. Иван рассказывал про детство в деревне, про то, как пел у отца в церковном хоре, как чуть не утонул в омуте, если бы не вытащила крестная. Когда забрали отца и мать, крестная взяла его к себе. В то время чужие городские люди подводами вывозили из домов добро и хлеб. Крестная с Иваном и двухлетней дочкой жила на хуторе, на отшибе. Как и все, прятала хлеб в подвале. До нее добрались не сразу. Но когда добрались, забрали все подчистую, ни зернышка не оставили. Крестная голосила, бежала за подводой, потом упала и долго молча лежала в сухой дорожной пыли. В ту зиму ребенок умер от голода. А Иван, оставшийся кормильцем, побиравался по соседним деревням. Однажды в его отлучку крестная ушла и подожгла дом. Нашли ее на деревенском кладбище. Она висела на березе, росшей над мужниной могилой. Там ее и похоронили. А Иван подался в город.

Натанель слушал, но о себе рассказывал мало. Он был уверен, что парень из далекой русской деревни не поймет его жизни, правды его сурового древнего Бога. А Иван, свесившись с нар, горячо шептал ему на ухо:

— Ненавижу их. И веру свою предали, и народ извели. А Бог-то, он ведь один на всех...

Потом Иван заболел. Людей косила дизентерия. Девять больных было некуда, и каждое утро из бараков выносили по десятку мертвецов. Трупы складывали в полуторку, чтобы отвезти и захоронить в мерзлой тундре. На работы больных не водили. Иван так ослаб, что не мог спуститься с нар. Он бы и умер, если бы не Натанель. Натанель ходил за ним и подкармливал его, притаскивая из кухни, что мог. А когда Иван встал на ноги, как-то сумел определить его на работу в санчасть.

Теперь по вечерам он занимался с Иваном ивритом, читал ему отрывки из торы и поучения из «Танах», книги пророков. Иван научился писать на иврите крупными печатными буквами. Шутил, говорил, что готов принять обряд обрезания. Только не в лагере.

Не известно, сколько бы Натанель просидел в лагере и вообще выжил бы. Но после смерти Сталина поляков стали постепенно выпускать. Натанеля выпустили, и дру-

зья расстались. Иван остался в лагере, а Натанель уехал в Вильнюс, встретил там Беллу, тетку Лившицев, женился на ней и переехал в Варшаву. А через год, когда у него родился сын Шауль (тот самый Шейл), семья уехала в Париж. Шауль Шмуклер вырос в Париже, окончил еврейскую школу ешиву, а потом поступил в университет. В начинающем ученом нельзя было узнать его отца, краковского раввина. А старому Натанелю Шмуклеру жизнь сына казалась чужой и непонятной. В конце концов Натанель и Белла переехали в Израиль и поселились неподалеку от Хайфы.

В середине семидесятых к Натанелю пришло письмо из России. Из конверта с маркой, изображавшей советский спутник, выпал лист школьной тетради. Письмо было на иврите и написано крупными печатными буквами. Иван писал, что жив-здоров и просит прислать ему вызов. Хочет приехать в Израиль с женой Раисой Ивановной на постоянное жительство. В Москве у них оставалась замужняя дочь. Изумленный Натанель послал вызов и с полгода ходил по соседям, читал письмо, рассказывал о своем друге и говорил:

— Чтоб я так жил, как они ему не разрешат... Адам музар!¹

А когда Иван все-таки приехал, Натанель еще с полгода ходил с ним по соседям, рассказывал об их жизни в лагере, об уроках иврита и торы на нарах и говорил уже другое:

— Я знал, что он своего добьется. Это же шимшон гибор². Сейчас у евреев одним богатырем стало больше.

Иван Тимофеевич и Раиса Ивановна поселились в Пардесхане, маленьком тихом городке между Тель-Авивом и Хайфой. Там они прожили десять лет. Когда Иван Тимофеевич умер, Раиса Ивановна похоронила его на еврейском кладбище недалеко от моря. Кладбище стояло на холме среди старых согнутых временем оливковых деревьев. Ева видела эту могилу. Белый остроконечный камень с надписью на иврите и «моген довидом». А под шестиконечной звездой выбито по-русски «Ивану от Раисы».

¹ Странный человек (ивр.)

² Богатырь Самсон (ивр.)

* * *

— Ну что ж, полетели...
 — Куда и зачем?
 — Да просто, без цели
 За облаком тем...
 Да просто махнём в никуда, в никуда,
 Послушаем, как там гудят провода,
 И ветер свистит, и крыло, и крыло,
 И сверху увидим, как тихо, бело,
 И чисто, и снежно средь долгой зимы
 В том мире, который покинули мы.

февраль, 1998

* * *

Нечто дивное повисло
 У меня над головой.
 В эти мартовские числа
 Повторяю: «Небо, твой,
 Небо, твой Буонарроти»,—
 Вроде так сказал поэт...
 Уж который год в полёте,
 Сколько зим и сколько лет
 Улетаем, прилетаем
 Лишь затем, чтоб улететь,
 Возникаем, снова таем,
 Да и то — куда нас деть?
 Хомо твой — скажи, Всевышний,
 Уж признайся, не тая,—
 Есть продукт творенья лишний,
 Головная боль твоя.
 Вот стоит он, нищий духом,
 Сердцем юн, а телом стар,
 И поёт тебе над ухом
 Вешний свой репертуар.

март, 1998

Дни тяжелы и неподъёмны.
 Казалось бы, светлы, бездонны,
 Легки — и всё же тяжелы.
 Столь ощутимы и объёмны,
 А догорят — и горсть золы.
 И как нести всю тяжесть эту:
 Весомых дней, текущих в Лету,
 Событий иллюзорный вес,
 Покров небес, которых нету, —
 Аквамариновых небес.

март, 1998

* * *

«La vie»*, — поет Эдит Пиаф,
 «La vie, La vie», лови мгновенье...
 И этот голос вечно прав,
 И не грозит ему забвенье.
 «La vie», — поет она, где «La»
 Артикль, а само-то слово
 Настолько коротко — земля
 Не слышала короче зова.
 «La vie», — поет она, на крик
 Срывается, на крик гортанный.
 Лови, лови же этот миг,
 Нам для чего-то кем-то данный.
 Да хоть и данный, что с того?
 Нам только снится обладанье,
 Лови, лови, лови — кого? —
 — Наикратчайший миг свиданья,
 «La vie», — как веткой по лицу,
 А может быть, по венам бритвой...
 И жизнь опять идет к концу
 И завершается молитвой.

июнь, 1998

* La vie — жизнь (фр.)

* * *

Местоименье «Я» имеет место быть,
 Неосторожность жить, дышать неосторожность,
 И без него — ни дня, и как его забыть
 И дать ему не быть какую-то возможность
 Хотя бы день иль два?... Но я жива, жива,
 Всегда при мне права на этой жизни сложность,
 На голубой покров, вернее, покрова
 Небес и на слова — их силу и ничтожность.
 Тянула «Я-а-а» да «Я-а-а», а зазвучало «а-а-а»,
 И буква, что была последней в алфавите,
 Вдруг стала первой, да, и в этом вся беда,
 И в этом корень зла. Не надо, не тяните.
 И все же «АЗ» да «АЗ», «АЗ ЕСМЬ» — в сотый раз
 Творится вечный сказ, прядутся жизни нити,
 И вспыхнул звездный час, и вспыхнул, и погас,
 И нету буквы «АЗ» переее в алфавите.

июнь, 1998

Разыгралась непогода,
 Все стонало и гудело,
 В царстве полного разброда
 Лишь разброд не знал предела,
 Все стонало и кренилось
 В этом хаосе дремучем...
 На ветру бумажка билась —
 Кто-то почерком летучим,
 Обращаясь прямо к миру
 Без затей и без загадок,
 Написал: «Сниму квартиру.
 Гарантирую порядок.»

июнь, 1996

Не стоит жить иль все же стоит —
 Неважно. Время яму роет,
 Наняв тупого алкаша.
 Летай, бессмертная душа,
 Пока пропойца матом кроет
 Лопату, глину, тяжкий труд
 И самый факт, что люди мрут...
 Летай душа, какое дело
 Тебе, во что оденут тело
 И сколько алкашу дадут.
 Летай, незримая, летай,
 В полете вечность коротай,
 В полете, в невесомом танце,
 Прозрачайшая из субстанций,
 Не тай, летучая, не тай.

июль, 1998

Ах тонус, тонус, нужный тонус —
 Его поддерживает конус
 Мороженого в жаркий день,
 Его поддерживает тень
 В жару, а убивает Хронос,
 Чей нрав неумолимо крут:
 Сегодня ты как будто тут,
 А завтра неизвестно, где ты —
 Не то на середине Леты,
 Не то попал на Страшный Суд,
 Не то, не это, и, увы,
 Все эти мысли не новы,
 Как, в общем-то, любые мысли...
 Жара, но облака повисли
 Желанные над головой,
 И если ты еще живой,
 И если сливки не прокисли
 Вчерашние, — себя потешь:
 Смешай с клубникой да и съешь.

июль, 1998

Хлестал он по спинам, по спинам,
 Струился по саду с жасмином,
 Стекал по лицу, по лицу,
 По крыше стучал и крыльцу,
 Не шел он, а бешено неся
 По саду, что дивно разросся,
 Он шарил в траве и кустах
 И был он у всех на устах,
 О нем (о, мгновение славы!)
 Шептались и листья и травы,
 Он кончился в десять утра...
 Сик транзит, сик транзит, сик тра...

июль, 1998

А что там над нами в дали голубой?
 Там ангел с крылами, там ангел с трубой,
 Там в ангельском облике облако, о!
 Такое текучее, так далеко,
 Как прошлое наше, как наше «потом»,
 Как дом самый давний, как будущий дом,
 Верней, домовина. Откуда нам знать,
 Куда уплывает небесная рать,
 Какими ветрами он будет разбит,
 Тот ангел, который беззвучно трубит,
 Тот ангел, который не ангел, а лишь
 Сгущение воздуха, горняя тишь.

июль, 1998

То мимолетна, то длинна
 Но музыка устремлена
 В те выси, из которых родом,
 И вечно бредит небосводом,
 Нездешним светом пленена.
 Заглянешь в ноты — темный лес

Крючков и знаков. До небес
 Семь долгих верст, семь нот — всё лесом.
 Творимы ангелом и бесом
 Её бекар, бемоль, диез.
 Она бела, черна, бела,
 Её безгрешные крыла
 Белы, но зрак бесовский черен,
 А темп так бешено ускорен,
 Что, закусивши удила,
 Она достигла тех высот,
 Где нет ни знаков и ни нот.

июль, 1998

Урок английского

А будущее все невероятней,
 Его уже почти что не осталось,
 А прошлое — оно все необъятней,
 (Жила-была, вернее, жить пыталась),
 Все тащим за собой его и тащим,
 Все чаще повторяем «был», чем «буду» ...
 Не лучше ль толковать о настоящем:
 Как убираю со стола посуду,
 Хожу, гуляю, сплю, тружусь на ниве...
 — На поле? — Нет, на ниве просвещения:
 Вот аглицкий глагол в инфинитиве —
 — Скучает он и жаждет превращения.
 То stand — стоять. Глаголу не стоитя,
 Зеленая тоска стоять во фрунте,
 Ему бы все меняться да струиться
 Он улетит, ей-Богу, только дуньте.
 А вот и крылья — shall и will — глядите,
 Вот подхватили и несут далеко...
 Летите, окрыленные, летите,
 Гляжу во след, с тоскою вперив око
 В те дали, в то немислимое фьюче,
 Которого предельно не хватает...
 Учю словцу, которое летуче,
 И временам, что вечно улетают.

июль, 1998

«Oh, I believe in yesterday»
Beatles

Пели «Yesterday», пели на длинных волнах,
 Пели «Yesterday», так упоительно пели,
 И пылали лучи, что давно догорели,
 Пели дивную песню о тех временах,
 Полупризрачных тех, где всегда благодать,
 Где пылают лучи, никогда не сгорая...
 Да хранит наша память подобие рая,
 Из которого нас невозможно изгнать.

сентябрь, 1998

Я опять за своё, а за чьё же, за чьё же?
 Ведь и Ты, Боже мой, повторяешься тоже,
 И сюжеты Твои не новы,
 И картинки Твои безнадежно похожи;
 Небо, морось, шуршанье травы...
 Ты — своё, я — своё, да и как же иначе?
 Дождь идёт — мы с Тобою сливаемся в плаче.
 Мы совпали. И как не совпасть?
 Я — подобье Твое, и мои неудачи —
 Лишь Твоих незаметная часть.

октябрь, 1998

Голос ломок, слеза солона,
 Взгляд растерян — сии сантименты,
 Сокровенные эти моменты
 Не забудь, коли память дана.

Помни, помни, memento о ней —
 Не о смерти, — о жизни, о жизни,
 О моментах, что прочих капризней,
 Прочих сладостней и солоней.

октябрь, 1998

Пишу, прибегнув к трем словам,
 К пяти — от силы,
 Что дождь идет по головам
 И оросило
 Тебя, меня и тех, и тех —
 Всех поголовно...
 Среди отсыревших здешних вех
 Живем условно.
 Живем, покуда нам дана
 Сия возможность,
 Но очень хрупкая она,
 И осторожность
 Не помешает. Лютят и лютят
 Дожди, сшивая
 Всё то, что ТАМ, и то, что ТУТ...
 А нить — живая.

апрель, 1999

О чем, бишь, это всё — Бог весть —
 О неразгаданном и дивном ?
 О безнадежно примитивном?...
 Ответа нет. Вопросы есть.
 Ответа нет, и нет, и нет.
 Темно на том, на этом свете.
 И непонятно, кто в ответе
 За всё, увидевшее свет.

апрель, 1999

В трех вечных деревьях
 Пожизненно плутая,
 Иллюзий не питая,
 Пытаюсь в двух словах
 Поведать смысл и суть
 Того, в чем смысла нету,
 Что хочется поэту
 Звать громким словом ПУТЬ.

апрель, 1999

Дай выпутаться мне из паутины слов,
 Опутавшей меня словесной паутины,
 Без коей ни любви, ни мира, ни рутины,
 Из той, что для меня — узилище и кров.
 Дай выпутаться мне. Любой и всхлип, и вздох,
 И стон, и всхлип, и вздох — всё претворяю в СЛОВО,
 И снова говорю и заклинаю снова:
 Дай выпутаться... нет, не дай, не дай мне Бог.

апрель, 1999

Свои перебираю гусли...
 А жизнь — она всё в том же русле
 Течёт, и музыка — тщета:
 Слегка наивней, чуть искусней,
 Но не меняет ни черта.
 Перебираю те же струны...
 Рождаются и меркнут луны
 Под вечное моё трень-брень.
 И всё ж опять рассветы юны...
 Надейся, ежели не лень.
 Надейся — вдруг! Авось! Быть может!
 Ведь музыка — она тревожит,
 Врачует, ранит, бередит...
 А вдруг тоска, что вечно гложет,
 Мотив неслыханный родит.

Какая досада, досада, досада:
 Уж не отыскать того белого сада,
 Что цвёл возле Майского Просека где-то...
 Судьба наложила строжайшее вето
 На все наши жалкие поползновенья
 Вернуть невозвратные эти мгновенья,
 Когда, сора белого еле касаясь,
 В пространстве кружили мы, не опасаясь,
 Что канет, иссякнет, уйдёт, растворится,
 Исчезнет и более не повторится
 То время, когда мы от щебета глохли
 И горькие слезы стремительно сохли.

апрель, 1999

Которые тут временные? Слазь!
 Мы все тут временные. Каждый слезть обязан,
 Как ни привязан к миру, чем ни связан
 С любимым его мгновеньем — рвётся связь.

Который час? Конечно, роковой.
 Какой ещё? Другого не бывает.
 Не лечит время. Время убивает —
 Коль не тебя, то юный облик твой.

май, 1999

Колеблясь, перышко к ногам упало...
 Хоть и давно живу, но мало, мало,
 Мне мало воздуха и мало света,
 И неба мало мне и лета, лета,
 И ливня летнего, что шумно льётся,
 Он пошумит ещё и оборвётся...
 И будут с веток падать капли влаги,
 И расплывётся слово на бумаге.

май, 1999

Иссякло время, и со временем ушло
 Всё то, что ранило и мучило, и жгло,
 Иссякло время, значит, некуда спешить
 И наконец-то можно жить себе и жить,
 Читать нечитанное, петь или гадать,
 О чём — неведомо... Какая благодать!
 Я почитала бы, да строк не видит глаз,
 Ведь время кончилось и значит свет погас.

май, 1999

Что с городом моим, что с ним,
 С тобой, со мной, со всеми нами?
 Закатное бушует пламя,
 И мы в том пламени горим.
 Сгорим — останется зола.
 Зола созвучна слову «злато»,
 Созвучна золоту заката...
 «Живу» сменилось на «жила»,
 Сменились малого словца
 Две крайних буквы, что не ново,
 Сменилось окончанье слова
 В речах, которым нет конца.

март, 1999

Апрель. И сыро и серо.
 И птичье вымокло перо.
 Серо и сыро.
 Что ни скажу, как мир старо,
 И нету мира
 Ни в мире, ни в душе самой,
 Ни в восклицанье: «Боже мой!»
 Ни в водах талых,
 Ни в этих вот: «Пойдем домой» —
 Словах усталых.

март, 1999

То небо с овчинку, то искры из глаз...
 О, Господи, хватит испытывать нас,
 Довольно, довольно,
 И тех обездолил, и этих не спас,
 Не видишь, что больно?

Наверно, не видишь. Наверное, Ты
 Ушел, отлучился.
 А, может и вовсе от всей маеты
 Земной отключился.

март, 1999

Положено идти вперед,
 Но он и давит и гнетет —
 Кусок, что прожит.
 И даже верба, что цветет,
 Помочь не может,
 И даже неба светлый край...
 Ты погоди, не умирай,
 Там рая нету.
 Твой рай — нести под птичий грай
 Всю тяжесть эту.

март, 1999

Жизнь почти истаяла, стала тоньше льдинки...
 Горькие, прозрачные, вешние картинки...
 Хрупкие, горчайшие, вешние подарки...
 Вьется нить тончайшая в гибких пальцах Парки,
 Вьется, обрывается: тронешь ту иль эту —
 Грань легко смывается между «есть» и «нету».

март, 1999

Все эти общие места:
 Автобус, улица, аптека,
 Сама земля, где человека
 Не видно — так толпа густа
 И так шумна, где словеса
 Затасканы, и словесами
 Объелись все под небесами,
 И даже сами небеса...
 И все ж на круглой, как пятак
 Земле, где век, который прожит,
 Произойти такое может,
 Чего не может быть никак.

март, 1999



Наум БАСОВСКИЙ

БЫЛЫЕ МИФЫ ПРОВОЖАЯ

С какого бы краю ни шел я, надежда слаба
 причину узнать, почему оказался я с краю.
 Не я выбираю — меня выбирает судьба:
 ведь это лишь видимость — думать, что я выбираю.

И тут не пройдет прогулять и сказаться больным —
 да так ли уж трудно над строчкой неделями биться?
 Быть в центре событий судьба повелела иным,
 а мне поручила невидную роль летописца.

Мо то, что я мог называть бы творением рук,
 не хроника фактов: для этого есть и газета, — а легкий, прозрачный, почти что
 который ложится на все полнозвучие света,

меня тональность — чуть-чуть, незаметно, едва,
 но так, чтобы в мире, где будни скупы и жестоки,
 знакомые с детства, затертые с детства слова
 рождались опять и свои открывали истоки.

сентябрь, 1997

Прожив достаточно долго
в среде, не совсем безвоздушной,
подбить попробуем бабки, сделав начет и вычет.
Придется признать, что люди в массе своей равнодушны
и не придут на помощь, когда это нам приспичит.

Впрочем, и мы-то сами точно такие же люди,
как те, которые слева, и те, которые справа.
Придется признать, что люди в массе себя лишь любят,
и ничего не скажешь — имеют на это право.

Любят смотреть сериалы и петь банальные песни,
верить легендам и слухам, особенно с чудесами...
Придется признать, что люди в массе неинтересны —
ровно в такой же мере, как неинтересны мы сами.

Вокруг, куда ни посмотрим, наблюдения сходны;
но чтобы они плотнее были с реальностью слитны,
придется признать, что люди изредка превосходны;
впрочем, эти же люди наиболее беззащитны.

май, 1998

Январь девяносто второго

Озябшей рукой за спиной по скамейке пошарить —
безлюдный и строгий, заснеженный парк за спиной —
слепить из подмокшего снега увесистый шарик
и всласть запустить в деревянный забор предо мною.

И этим движеньем — слепым, безоглядным, нелепым, —
уж раз невозможно открытыми миру строками —
сказать на прощанье: по горло я сыт вашим хлебом,
и вашей лаской, и вашими в душу плевками.

Кому говорю и какая нужна тут ремарка? —
единственный зритель, я сам и актер поневоле
на призрачной сцене холодного гулкового парка,
актер поневоле в никем не написанной роли.

В ней смысла немного, и действие длилось бы чинно,
когда б не на досках внезапные белые пятна,
но надо ж хотя бы себе указать на причины,
зачем я из белой зимы ухожу безвозвратно.

Еще я и этому небу, и снегу подсуден,
еще я с собой не в ладах до прощального рейса...
А парк за спиной молчалив и опасно безлюден,
и пальцам озябшим нескоро еще отогреться.

август, 1999

В который раз все тот же сон
сбивал дыханье кладью грузной,
в который раз мне снился он,
наш прежний дом на Профсоюзной.

Мы заходили в наш подъезд
стыдливо как-то и неловко:
не выдаст Бог — свинья не съест,
а все же пахло мышеловкой.

И было душно нам, пока
кабина кверху подымалась,
как будто жесткая рука
на горле медленно сжималась.

И вот открылся лифта створ,
и на стене следы пожара,
а в доме пахнет воровством,
как пел когда-то Окуджава.

В простенках мышья суета,
слова, напоенные горем,
и в доме пахнет, как всегда,
растлением и алкоголем.

И вдруг, когда со всех сторон
полезли мысли об обидах,
во сне я понял: это сон — и ощутил свободный выдох.

А если сон — не полошись,
былые мифы провожая:
знакомый дом — чужая жизнь,
чужой уклад, судьба чужая.

И на знакомом этаже
в чужие вглядываясь лица,
мы не ответственны уже
за весь позор, что там творится.

июль, 1999

В.

Мечтаньям давнишним давай на прощанье помашем:
они хороши, да, похоже, исчерпаны сроки.
Уже никогда мы с тобою не съездим в Томашув,
не выпьем соплицы у Лешка в корчме при дороге.

Ума не приложим, что делать с отложенным фантом,
сперва недоступным, а после и вовсе забытым.
Уже никогда не пройдем по путям дилетантов,
и Гоги Киквадзе в застолье не станет пиитом.

Не то чтобы грусть об иной, несложившейся доле,
а просто года и в крови недостаток железа...
Уже никогда не пожить нам в заснеженном доме,
в заброшенном доме среди заповедного леса.

Мы эти химеры не станем преследовать с риском
и к собственной блажи не будем особенно строги,
а вновь помечтаем о чем-нибудь более близком,
что так же поманит и так же растает в итоге.

август, 1998

Вот подробности утра: рыбалка, поход за малиной,
черный хлеб с молоком, перепрятки, чужой огород —
не упомянуть всего —
каждый час многослойный и длинный,
и картофель в костре, обжигающий душу и рот...

Вот подробности дня:
встал, побрился, ушел на работу,
возвратился с работы, поел, телевизор включил,
на привычные лица смотрел, подавляя зевоту,
и глухую хандру монотонно стаканом лечил.

Вот подробности вечера: стал собираться куда-то,
а куда — позабыл, и нелепо стоит во дворе...
Вот подробности жизни: фамилия, имя, две даты,
заключенные в скобки, и знак между ними — тире.

январь, 1999

Перед тобой шоссе, где лишь зеленый свет,
где нет пути назад и остановок нет,
где каждый Божий день — крутые виражи,
и, если хочешь жить, сноровку покажи.
Ты мчишь во весь опор, куда — не знаешь сам,
и веры нет ушам, и веры нет глазам,
и лишь слепой инстинкт сигналы подает:
вписаться в поворот! вписаться в поворот!
Ты, начинавший путь за тридевять земель,
был молод и упрям и ясно видел цель,
а нынче не узнать за стеклами земли,
да к чуткому рулю ладони приросли.
Еще один вираж! Тебе неведом страх —
почти в зенит летит обочина в кустах,
выравниваешь крен — и вдруг невдалеке
ты видишь: арлекин в нелепом колпаке.
Печально он бредет в прозрачной тишине,
на конусе звезда и ромбы на спине,
и это для тебя — крутые виражи,
а для него они — простые миражи.
Немолод он и хил, любитель миража,
и вовсе не ходок по лезвию ножа,
и где тебя гнетет: вписаться в поворот! —
он попросту идет, и нет иных забот.

Цветней костюм его — традиций торжество,
гармонии сродни симметрия его,
и лишь бубновый туз, отчетливый вполне,
пылает на спине, на левой стороне...

Июнь 1999

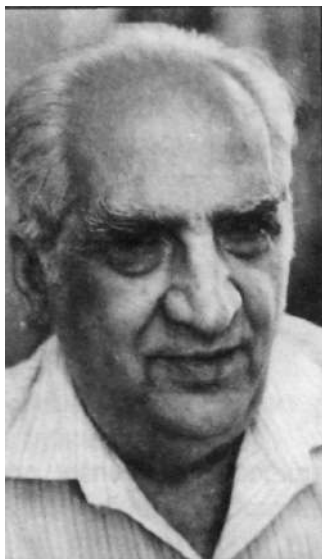
Воспоминанье брезжит робко
издалека-издалека:
была железная коробка
из-под зубного порошка,
в ней ржавый ножик перочинный,
наушник, линза и слюда...
Но ведь не в этом же причина,
чтоб снова приходить сюда?
Назад по времени кочуя,
места меняя и пути,
на самом деле, что хочу я
в развалах памяти найти?
Шоссе, проселок, дальше тропка,
поселка смертная тоска...
Ну да, железная коробка
из-под зубного порошка,
и в ней лежат полузабыто
попавшие в бессрочный плен
кусочек вонючего карбида,
что порождал ацетилен,
значок, футбольная таблица
за пятьдесят четвертый год, —
и долго-долго эхо длится
тех радостей и тех невзгод.
А все-таки чудное войско
построчно занимает стих —
ведь это все не вещи вовсе,
а лишь обозначенья их.
Нет на листе ни грана, кроме
названий и меж них пустот,

но в звуке, цвете и объеме
мерцает мир миражный тот,
мир гладкий и шероховатый,
холодный, теплый под рукой,
где есть напевы, ароматы,
веселье, горе и покой.
Какое мощное барокко
берет начало с пустяка!
Была железная коробка
из-под зубного порошка —
и вот медлительно, не сразу,
растекся город наяву,
и в парке вековые вяза
роняют рыжую листву,
и шпили башен в позолоте
осеннюю пронзают ржу,
и я, у жизни на излете,
как прежде, мнимостям служу.

июль, 1998

Вышла в свет книга стихотворений и поэм
Наума Басовского
«Свободный стих»
(240 стр.)

Цена — 15 долларов США, включая пересылку
Обращаться к автору по адресу:
Nachum Basovsky, Ben Zeev Str. 8/22,
75289 Rishon-le-Zion, Israel



Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ

МИР — ДУХА ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ

Вавилонская башня

Строили семьдесят лет.
Семь бед — один ответ.
Спасская башня упала.
Пизанская башня упала.
Вавилонская башня упала.
Что упало, то пропало.
Произошло смешение языков.
Никто не поймет, ху из ху и кто он таков?
У матери спрашивает дочь:
— Ду ю спик инглиш? Шпрехен зи дойч?
Отец сына встречает: — Парле ву?..
А сын отцу отвечает: — Нале-ву!
Муж произносит такие слова:
Коман са ва? Коман са ва?

МИР — ДУХА ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ

137

А жена говорит мужу:
— Кому сова, а кому кое-что похуже.
То есть безумие, паранойя, мания
Непонимания.
Некоммуникабельность, некоммуника...
Я уже никогда никому никак.
Вы читали про Вавилонскую башню рассказ?
Вавилонская башня это про нас.

Лорелея

С утра начинаю томиться,
Мне пить неохота и есть.
Лежу в соловьевской больнице
В палате моей номер шесть.
Небритый, больной, одичалый
Гляжу я на вас, как сова,
И все повторяю в печали
Немецкие эти слова...
Свяжите меня, успокойте,
Чтоб я не бубнил, как кретин,
Их вайе ниht вас золь эс бедойтен
Дас их зо трауриг бин.

Размышления о душе

Неведомое — суть проекция,
Тень знаний, легшая дилеммой.
Для древних мир кончался Грецией,
Для нас — эйнштейновской вселенной.
Мы лишь масштабы изменили
И отдалили рубежи,
Но сочетаний Я и Мира
Нам недоступны чертежи.
Мы расширять вольны пределы,
Но выпрыгнуть бессильны за...
Часть отделить нельзя от целого,
А значит, и убить нельзя.

Мир — духа отраженный свет,
 Душа ли — мира отблеск слабый,
 Здесь только разница в масштабах.
 По существу различий нет.
 Да, как зерно повторит колос,
 Так и душа повторит космос,
 Как будто рок имеет целью
 Нас окрутить подобий цепью,
 Кружить юлой, волчком вращать,
 Чтоб все на этом свете белом
 Вдруг понеслось спиральным бегом
 В одном стремленье — повторять!
 Нам всем проклятье повторять,
 Из рода в род сей крест нести,
 Иметь Христа, потом распять
 И вечно тщиться обрести:
 За то, что Бога, от рождения,
 Подаренного человеку,
 Мы жертвуем предубеждениям
 И прихотям случайным века.

Отцы пытались сжечь планету,
 И не смутит нас глаз кино
 Дымящимся еврейским гетто,
 Из детской кожи кимоно.
 Наивные, как людоеды,
 Отцы лакали кровь планеты,
 Но, подивясь своим делам,
 Вдруг кончили на Хиросиме
 И этот мир невыносимый
 Преподнесли смиренно нам.
 Мы их пожаров не тушили
 И молча приняли дары.
 Как Гитлеры и Джугашвили,
 Мы выжгли и опустошили
 И смяли душ свои миры!

Душа, наверно, что-то белое,
 Вмещает звездные поля,
 Она, должно быть, что-то более

Значительное, чем земля.
 Когда с неведомым сомкнётся,
 В такую даль протяженна...
 А здесь, как в глубине колодца,
 Лишь звездочкой отражена.
 Легка, как на стекле дыхание,
 Она сегодня — полыхание
 Ста тысяч солнц слепящий вспых.
 Вы прекратили испытания,
 Но мы не прекращали их.
 Спасите, Боги, наши души.
 Катаясь по снегу, мы тушим,
 Горящие со всех концов.
 Мы ничего не изменили,
 Мы лишь масштабы изменили,
 Но мы преступнее отцов.

Хиросима

Я был поэтом Хиросимы,
 Не той далекой Хиросимы,
 А нашей собственной, родимой,
 Что запалили на Руси мы.
 Я видел облак грибовидный
 Не над Гоморрой и Содомом,
 А над моей краиной ридной,
 А у себя в саду за домом.
 Простерся он кромешным адом
 Над отчим кровом, тихим садом,
 Не над неведомой чужбиной,
 А над березкой и рябиной.
 Куда себя от взрыва денешь?
 И, как и все, бежал в толпе я.
 И это был последний день наш,
 А не последний день Помпеи.
 Я был, как все, не мог иначе,
 Раздавлен тяжестью сомнений,
 Цепной реакцией охвачен
 Убийств, предательств и растлений.

И я бродил по пепелищу,
 И язвы обнажал такие,
 И выродков встречал почище
 Мутантов с острова Бикини.
 Когда же становилось душно
 От душ, разорванных на части,
 Я думал лишь о том, что нужно
 Кричать о совести, о чести.
 И я кричал, и лез из кожи,
 И повторял одно и то же
 Про этот взрыв невыносимый —
 Я был поэтом Хиросимы.
 Но облученные калеки,
 Каких-то чувств пишась навеки,
 Могли в разверзшееся небо
 Смотреть без ужаса и гнева.
 Они не чувствовали боли,
 Не слышали мой вопль, толкуя
 Все о хоккее и футболе.
 И мог ли я переупрямить
 Тех, кто давно утратил память?
 Они, от хохота икая,
 Мне возражали: Честь? Какая?
 Что означает это слово?
 Сейчас не времена Толстого.
 Лишь некто, сохранивший опыт,
 Кто смутно помнил о потере,
 Внезапно перейдя на шепот,
 Мне говорил, прикрывши двери:
 — Врачи врачуют прокаженных.
 Покойников увозят дроги,
 На тех зловещих полигонах
 Песком присыпаны дороги.
 И не был ли сам взрыв тот мнимым?
 И так ли уж чреват он горем?
 Ведь не в России Хиросима,
 А где-то далеко за морем.
 Они забыли, все забыли,
 Пирамидоном боль запили,

Настроились на лад игривый.
 Зачем же я, тоской гонимый,
 Все повторяю им о взрыве?
 Я был поэтом... был поэтом...
 Вчера... во вторник... прошлым летом...
 Какое-то забыл я слово,
 И мне его не вспомнить снова.
 Я гложу, не воспринимаю
 Боль женщины и боль мужчины,
 И сам уже не понимаю,
 В чем глухоты моей причина...

Кому-то с маслом каша,
 Кому-то калачи,
 А Марфа в поле пашет,
 Шурует у печи.
 И верую, и правдой,
 И баба, и мужик —
 Она тук-тук кувалдой,
 Она косой вжик-вжик.
 Придет восьмое марта —
 Международный день,
 Христос обнимет Марфу,
 Дочь русских деревень.
 И, подведя к налою,
 Чтоб видел весь народ,
 Он ноги ей омоет
 И слезы ей утрет.

Тишина

Прислушайся, как тишина различна:
 Молчанье деревень с потухшими огнями,
 И леса тишь, где хрустнет под ногой —
 и более ни звука.
 Безмолвие заброшенного дома,
 И в доме тишина, где спать легли.

Молчанье двух людей,
 Когда они согласны.
 Крик петуха, и пауза между ответным криком.
 Покой речной долины, пролившийся на всю округу,
 Такой реальный,
 Что хочется его потрогать.
 Покой ума.
 Безмолвие земли.
 Великое безмолвие богов,
 Согласие ладов,
 Где лишь любовь,
 Блаженство, смех и радость.

Эрику

Ты оставил всех нас,
 Суету нашу, нашу мороку,
 Этот наш свистопляс
 И выходишь один на Дорогу.
 Где ты там в этот миг,
 Неудержанный, невозвратимый?
 Так же трубкой — пых-пых?
 Тот же сдержанный, невозмутимый?
 Может быть, никакой
 Не тоннель... Ничего не известно.
 Может, сад городской,
 Может, Азия. Солнце. Сиеста.
 Может, это полет.
 Возвращение к полной свободе?
 Может, Моуди врет,
 Просто снова ты в Сталинобаде,
 Помещенный в те дни,
 Когда юность была нашим богом.
 Снова сорок в тени
 В том саду захолустном, убогом.
 За кустами арчи,
 Где эстрада, — проход тупиковый.
 Там знакомый пловчи

Дразнит запахом первого плова,
 Там под небом столы,
 Кеклик выпучил глаз петушиный,
 Сквозь деревьев стволы
 Можно видеть предгорий вершины.
 Мир похож на арбуз,
 На зеленое знамя пророка.
 Горы сбросили груз.
 Льды исчезли, растаяв до срока.
 Жар полуденный, злой,
 Тень коснулась стола — и ни с места.
 Солнце. Азия. Зной.
 Все застыло. Уснуло. Сиеста.
 На деревьях листья
 Не дрожат, не трепещут, не дышат.
 Кеклик в клетке застыл,
 Никого ничего не колышет.
 Спят любители нард.
 В пыль зарывшись, уснули собаки.
 За стоп-кадром стоп-кадр
 И последний — бутылка араки.
 Выпьем на посошок
 И допьем ее всю без остатка.
 Жаль, конечно, дружок,
 Что разгадана жизни загадка.
 Выпадает орлом,
 Сколько раз ни подбросишь монету.
 Это к тайне о том,
 Что пространства и времени нету.



Ирина МАШИНСКАЯ

ВЕДЬ ТЫ ОДИН, КАК НИКОГДА

Ветер

Сидите тихо, господа,
у них там ружья наготове.
И не играйте на гитаре,
и не ходите никуда.

Зачем крутится ветер в овраге?
Подъемля пыль, идут варяги.
Несут хоругви боевые,
корявые, как никогда.

Слышь, лес ползет, сухое днище.
Вот гнет сосну, что кнутовище.
Вот нож кладет за голенище
пока молчавший тамада.

Зачем бросать в бороздку семя,
зачем носить пустое имя,
зачем, зачем бродить со всеми?
Ведь ты один, как никогда.

15 марта, 1999

ВЕДЬ ТЫ ОДИН, КАК НИКОГДА

Москва

А.С.Пушкин

«Пельмени», рядом «Чебуреки»,
Солянка, мимо — человеки.
А дальше — юг: татары, греки.
Я тут хожу.

Чужая, в общем, синагога.
Решетка из Кривого рога.
Ни тверди над собой, ни стога
не нахожу.

Толпа течет на перекаты,
и в переходе не плакаты
про Днепрогэс,
а всякие картинки, книжки,
матрешки, пирожки и пышки,
а также воры и воришки.
И се — прогресс.

Продолжи сам, отсюда просто.
Положим, ты большого роста.
Тебя видать
и без ушанки, и без кепки,
и без великолепной лепки
лица. Без Емельяна в клетке.
Без упоительной таблетки —
тебя видать.

Но мы, которые от мамы
умели только с мылом рамы,
и, не роняя мыла, мамы,
глазеть в окно,
и панорамой называли
то, что в округу насовали, —
мы хоть немного трали-вали,
но не говно.

И если раньше я, невеста,
когда поменьше было теста,
себе не находила места

в такой гурьбе —
сейчас подавно: ибо мекки
любой бегу, и от опеки
твоей, Москва, за те бы реки,
к другой тебе.

1997

Сегодня ночью проложу
по нашей улице следы,
куда хочу, туда хожу,
такие ровные ряды.

Вы говорите: много тут
живет, а я не вижу: вот
мои следы туда идут,
а вот идут наоборот,

а больше просто вот ничьих,
ни песьих и ни птичьих — да,
вот мои наоборот
хоть кончились мои туда.

Вот так и мы (сказал бы тот
поэт, чей так люблю стежок),
вот так живу как будто вот
моя земля и мой снежок,

и до меня тут никого,
со мною тоже ни следа,
и я назад по целине,
где кончились мои туда.

27 февраля, 1999

Но Вы-то, слава Богу, не
из таковских, не из нервных.
Вы там, надеюсь, не одне —
где скучных нет, и нету первых,

куда летит январский пух
сухих миров, где мы не вместе,
и чей-то услаждают слух
не песенки еще, но вести.

Пусть никогда не приду в себя,
пусть мне не ведать, пером скрипя,
как вырываются из репья,

пусть не собою до смерти слыть,
пусть у полпота каналы рыть,
пусть из забвенья вовек не всплыть,

пусть не посметь мне тебя назвать,
пусть недопивки себе сливать,
пусть никогда мне любви не знать.

Хоть захлестнусь я своей тропой,
хоть я услышу, как врет любой
праздник, который ушел с тобой,

пусть ни в одной, ни в другой стране
пусть не пропустят тебя ко мне,
пусть захлебнусь я в своей вине,

пусть наорут на меня: «Отверг!»
ангелы, уводя наверх, —
только б ты услышать: ты жив, Четверг.

1997

и от созвездий
устать впору —
как от известий
бежишь в гору

под ноги глянешь
полюбишь глину
вниз гляжу
и люблю долину

Посвящается подписи

Я расписываюсь так
и так
и вот так,
потому что пуст,
а то полон,
то пуст мой верстак.
Вот моя подпись маленькая,
а вот — вот какая,
а вот печальненькая

1999

Жизнь в июле

Жук жужжал
А.С.Пушкин

Малознакомые шары
валяются на пыльной грядке,
на нас не падкий, дождик редкий
зайдет во двор, расчешет прядки
ну, повесит мишуры.

А ты — за Фебом-дураком,
туда-сюда, заключенный,
и днем, и ночью, кипяченый,
ходи, ходи себе кругом,
цветочной пылью золоченый,

раз угораздило на юг.
Земля родит, как помешалась!
Все, что в суглинок помещалось,
наружу выперло, мой друг,
все вылезло, любая шалость
(бежал на север мой конек,
и вот на юге мой каурка):
хоть косточка тебе, хоть шкурка:
тут деревом растет пенек,
там — весь курильщик из окурка,
как витязь, лезет. Жук жужжит.
Трава растет — ее пинали.
Ваш друг под соснами в пенале,
как вечное перо, лежит.
Тарелка плавает в канале.

июль/сент., 1998

Сказка

Вот плод, вырос, качает колос.
Жизнь в окне, как в тарелке волос.

Вот пыль в ступе, в пустой халупе,
вот скалолаза ноготь в уступе.

Тайное, сделавшись явным, Тоже,
лежит у ног, как свои ж одежи.

Вот она сыплется сверху известь,
в волны бурые, землю, повесть —

сырую шкурку, как штукатурку,
жемчужной ночью теряет туча.

Греби, предок, вослед предкам,
путем верным, ты был редким.

О грусть, парус, как ты ломок.
Мотай папирус, дерзи, потомок.

1999



Дмитрий БЫКОВ

АНТИКОММУНИСТ

Природа коммунизма и коммунизм о природе

Боги всегда выигрывают.
Джек Лондон

Бесхитростен, как сама природа,
и, как природа, знает, что делает.
Леонид Зорин

От автора

Фридрих Ницше — вероятно, самый упорный самоистребитель в мировой истории — написал когда-то «Антихристианина», сочинение довольно путаное, направленное против собственной человеческой природы.

Я никоим образом не лезу в ряд мыслителей, но мне кажется, что с отождествлением коммунизма и христианства, равно как и с русским коммунизмом как таковым, пора разбираться серьезно. Нас к этому обязывает пограничная эпоха.

Ниже предлагаются фрагменты довольно обширного и, подозреваю, временами монотонного сочинения, которое этому вопросу как раз и посвящено.

1

С мифологией русского коммунизма пора кончать, как и с мифологией коммунизма вообще.

Мы живем во времена, не благоприятствующие ответам на абстрактные вопросы. Жизнь подменена выживанием, и любые размышления, не связанные с завтрашним пропитанием, кажутся обременительными даже тем, кто избрал их своей профессией. Главная беда нашего времени — в томительной неопределенности, в мировоззренческом кризисе, в странном страхе назвать вещи своими именами.

Страна с более чем тысячелетней христианской историей встречает двухтысячелетие христианства в обстановке такой мировоззренческой путаницы, таких упорных споров о словах, такого панического ужаса перед любой идеологией (это при нашем опыте вполне понятно), что ни о каких итогах века и тем более тысячелетия, ни о каком осмыслении нашего пути говорить не приходится.

В этой обстановке смешно ждать, что коммунистическая идея будет адекватно проанализирована и оценена, а значит, Россия в очередной раз обречена топтаться на несуществующей развилке, делая ложный выбор.

Никакой коммунистической идеи нет и никогда не было. Коммунистическая идея — такой же оксюморон, как горячий снег или живой труп. Вместе с тем коммунизм (или то, что мы привыкли им называть) был, есть и будет, эта вымечтанная веками утопия на самом деле давно осуществлена, и каждый из нас видит ее сто раз на дню, обращая взор свой на пейзаж.

Коммунизм (русский, прусский, зулусский и какой угодно) есть не что иное, как перенос на социум законов природы — и не только биологических, но и всех известных нам физических. Ни у кого не повернется язык сказать, что природа уродлива. Более того, она бессмертна. Но при всем при этом определяющей ее чертой, главным

барьером между нею и человеком остается ее изначальный, непреодолимый имморализм, то есть полная несоотнесенность ее развития с законами морали, которые во всем живом мире только человеку и даны. Слово «бесчеловечность» выступает здесь и ниже исключительно как термин и потому лишено всякой модальности.

Я не социолог и не философ, и этот текст не трактат, но записки очевидца. По счастливому стечению обстоятельств, на протяжении последних десяти лет у меня была уникальная возможность близкого и заинтересованного наблюдения за эволюцией людей, называвших себя коммунистами, и за постепенным подпаданием множества здравомыслящих людей под их действительно сильный гипноз. В результате сегодня, к концу девяностых, коммунизм практически реабилитирован в глазах миллионов, и серьезные люди всерьез задумываются о том, не следует ли России в конце концов забыть о последнем пятнадцатилетии XX века, как о кошмаре, и поворотить на прежнюю дорогу.

Коммунизм нельзя ни осудить, ни реабилитировать. Но при всей своей кажущейся эффективности перенос законов природы на человеческое сообщество рано или поздно приводит к бунту человека против бесчеловечности. Коммунизм нельзя уничтожить, как нельзя уничтожить природу, органическую и неорганическую материю с ее темной и неодоушевленной жизнью. Вопрос лишь в том, как научиться эту природу использовать и с нею сосуществовать.

2

Мысль о феноменологическом сходстве коммунизма и природы неизбежно зарождается у каждого, кто возьмет на себя труд отследить эволюцию так называемого русского коммунизма в последние годы; и отслеживать этот путь лучше всего по флагману красно-коричневой прессы газете «Завтра», столь последовательной в своих виляниях, что именно ей автор приносит главную благодарность. Без А.Проханова и его единомышленников, гораздо более последовательных, чем Г.Зюганов, меня никогда бы не осенило.

Дело в том, что никаких окончательных истин, никаких неколебимых принципов у русского коммунизма нет. На

этот случай марксистами даже придумано было кокетливое оправдание «Марксизм не догма, а руководство к действию». Здесь, в принципе, уже все сказано. Даже отдельные честные (то есть особо упертые) коммунисты упрекали русских коллег в ревизионизме, видя разнообразные манипуляции отечественных идеологов с марксизмом. Ленин развил Маркса, Сталин кое в чем подправил Ленина, Сулов всю жизнь промучился, адаптируя Сталина к изменившимся временам, — словом, точнее всех выразился Бабель: «Извилистая кривая ленинской прямой» («Мой первый гусь»).

Коммунисты обладают поразительной способностью — иногда врожденной, иногда благоприобретенной — из всех возможных вариантов поведения или мировоззрения выбирать не то чтобы максимально отвратительный, как иногда кажется, но какой-то максимально ползучий, или, научно говоря, максимально способствующий выживанию. Даже мечта о всеобщем счастье человечества, которую так упорно приписывают себе коммунисты всех времен, есть мечта глубоко животная, ибо и счастье предложено животное — равенство всех особей перед законом рода. Да и понимается это счастье исключительно как сытость и праздность — коммунистический рай был бы на редкость скучным местом, где хорошо себя чувствовала бы разве что обезьяна.

Марксизм, мертвее которого трудно что-нибудь себе представить, мертв только на взгляд сколько-нибудь одухотворенной личности. С точки зрения природы — это форменный триумф жизни, точнее, борьбы за нее. Человек здесь низведен до роли слепого червя, инстинктом питания или размножения пробивающего толщу почвы. Природа по сути своей не нравственна и не безнравственна. Ветер, дующий в паруса корабля, одновременно может развеять последние запасы муки у бедной вдовицы на берегу, и подходить к природе с моральными критериями так же безнадежно, как проследить единую теорию в метаниях Г.Зюганова и его летописца А.Проханова. Стратегические союзники тут меняются ежеминутно. У Ленина тоже не было нравственности, но было потрясающее чутье на целесообразность, и с точки зрения этой целесообразности Троцкий сегодня был Иудушкой, а завтра становился наркомвоенмором; предатели Ка-

менев и Зиновьев становились стратегическими союзниками; мировая революция из ближайшей цели превращалась в недостижимую утопию и так далее.

Даже нравственно, как мы знаем, с ленинской точки зрения было то, что хорошо для избранного класса, и, следовательно, понятие морали полностью вытеснялось понятием целесообразности. Это единственное, в чем нынешние коммунисты наследуют Ленину (в остальном — в части изобретательности, энергии, эрудиции и личного обаяния, не говоря уж о пресловутой скромности — они недостойны носить знамя с его изображением). Идеологии нет, убеждения отсутствуют также: есть вера в высшую целесообразность, обожествление этой целесообразности, и именно эту веру стране пытаются навязать как идеологию, в очередной раз превратив Отечество в буквально понимаемый неодушевленный предмет.

С самого начала коммунизм зародился именно как философия природы. Первые утописты и просветители видели идеал человеческого существования в общине древнейшего образца, в слиянии с природой и следовании ее примеру. Наиболее наглядно это демонстрировал Руссо (чье влияние так ощутимо в обожествлении животной жизни, природного витализма и силы у Толстого). Но если утописты были озабочены поисками в природе именно нравственных начал, то марксистская теория представляла историю лишь как развитие производительных сил, то есть упразднила ее нравственную составляющую вообще. Человек оказался игрой процесса, его заложником (интересно, что сходного взгляда на роль личности в истории придерживался и Толстой, также любивший сравнение ее хода с движением паровоза и, судя по дневникам жены, все духовные недуги свои и своих близких «объяснявший физическими причинами»).

Не подлежит сомнению, что русская революция (в чем ее принципиальное отличие от Великой французской) являла собою именно и только бунт природы — в самом широком ее понимании — против цивилизации, бунт звероловцев против доктора Моро. Не стоит думать, будто схлестнулись Закон и Беззаконие. Напротив, боролись два Закона, один из которых был навязан людьми, а другой

существовал имманентно. Не случайно русский коммунизм, победив, немедленно установил собственные законы, уж подлинно отличавшиеся бесчеловечностью, но при этом замечательно близкие к законам природы, которой незнакомо сострадание и для которой понятия смерти не существует как такового. Даже тепловая смерть Вселенной не означает конца времен с точки зрения вещества. Вещество бессмертно. Жизнь в неодушевленном мире ничто не дорожит: смерти нет, есть переход материи в новое качество, новое соединение, другую форму существования (в коммунистическом изложении умереть — значит лечь в фундамент счастья будущих поколений, т.е. дословно — перейти из телесного состояния в вещественное, в некий цемент, скрепляющий фундамент будущего памятника борцам за всеобщее счастье). Эта же теория призвана была заменить коммунисту веру в личное бессмертие, и не зря в речи платоновских героев, первобытных коммунистов из глубины России, так часто мелькает слово «вещество» (существования, человечества), а в языке тогдашней публицистики впервые возникает выражение «человеческий материал». Начинается по-своему грандиозная, но совершенно расчеловеченная жизнь природы, какую и было все лихорадочное советское строительство и производство предвоенных лет.

Лишь немногие из действительно образованных и чутких литераторов того времени увидели в революции бунт против цивилизации как таковой. Не имея этого в виду, но безошибочно угадав суть процесса, Заболоцкий создает «Торжество земледелия» (1929-1931), в котором хлебниковские «конские свободы и равноправие коров» осуществляются въяве. Непременный атрибут цивилизации — подчинение человеком природы, использование и порабощение ее в своих целях. Революция — бунт природы против навязанного ей закона. Закон, разумеется, навязывается не только коню, впряженному в соху, или реке, впряженной в турбину, но и человеку, впряженному в ярмо своего предназначения. Это сверхприродное предназначение упразднилось. Человек, по Ницше, — это прежде всего его усилие быть человеком. Отныне усилие было отменено.

Особенно любопытно, что из всех течений религиозной мысли наименьшие подозрения в СССР вызывал пантеизм. В то время как историософия и теософия, баптизм и пятидесятничество, христианство и католичество, иудаизм и мусульманство были одинаково маргинальны: эта обструкция как будто не коснулась философии природы, что позволило выжить Михаилу Пришвину. Благополучно издавался и переиздавался Генри Торо. Нелишне будет отметить такой феномен, как юннатство, со всеми системными признаками тоталитарной секты; замечателен наглядный перекося в сторону изучения природы во всех советских школах и пионерских кружках. За природой наблюдали, с нею сливались, поощрялся и пропагандировался туризм (и чем более дикарский, тем лучше), а среди детских программ процентов 70 составляли, например, такие: «Ребятам о зверятах», «В мире животных», рассказы о великих дрессировщиках... Мифологизированной фигурой уровня Мичурина был Дуров. Подлинной индустрией было издание и переиздание Сетон-Томпсона, Джеральда Даррела (самого читаемого в России английского писателя XX века — это о чем-нибудь да говорит!), и вообще можно без всякого преувеличения сказать, что ни в одной стране мира изучению природы не придавали такого воспитательного значения. Кружки юных следопытов, птицеловов, растениеводов и альпинистов были при всяком дворце пионеров. Призывы учиться у природы и искать в ней гармонию (несмотря на мудрое предостережение того же Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе» и на иерархию всеобщего поедания в его «Лодейникове») раздавались повсюду, и особенно часто — в школе. Не случайно и большинство деревенщиков, пришедших затем к самому пещерному коммунизму, начинали с экологии, с защиты природы, с призыва учиться у нее! Любимым персонажем советской живописи был учитель, вышедший с детьми на природу и любовно вслушивающийся в щебет птиц. Семья, в которой не было домашнего животного, считалась столь же неполноценной, как семья без отца.

Автор этих строк хорошо помнит сектантскую замкнутость, царившую в юннатских кружках, самодовольство и сознание собственной значимости у юных следопытов —

все это, но возведенное в квадрат, я имел счастье наблюдать уже позже в кружках юных экологов и во вполне взрослых ассоциациях типа «Гринписа».

За права природы эти люди борются с такой агрессивной яростью, что, кажется, способны были бы истребить всю цивилизацию ради неприкосновенности своих любимых «деревьев и китов». Кстати, я и в детстве не интересовался передачами о животных, все, кроме человека, мне всегда было скучно. Любоваться морем я могу не больше трех часов кряду.

Несомненно, коммунизму присуще своеобразное величие. Отрицать его огульно (как поступали самые яростные «прожектора перестройки») — значит не иметь обыкновенного эстетического чувства. Именно природой, и отнюдь не только идиллическими ее картинами, вызваны к жизни тысячи шедевров искусства. Размах строительства, его дерзость, «величие замысла», сам масштаб возводимых объектов — все это должно производить на эстета то же впечатление, что и шторм, и муравейник в пыли труда, и лесной пожар, наблюдаемый с безопасного расстояния. Важно лишь помнить, что все это грандиозное действие, выдаваемое за ПОКОРЕНИЕ ПРИРОДЫ, на самом деле было триумфом природы, слиянием с нею и подчинением ей. Человек думал, что покоряет, но на самом деле покорялся. На социальную жизнь были перенесены не только биологические, но и физические законы; в основе советского бытия лежал не только социальный дарвинизм (правда, понятый предельно вульгарно, усвоенный лишь в той части, которая касается борьбы за существование), но и закон Ломоносова-Лавуазье, на новоязе формулировавшийся кратко: «Незаменимых у нас нет». И незаменимых морских волн действительно не бывает. Наивно было бы полагать, что СССР и его могучая, зловонная промышленность находилась, однако, в ладу с природой. Разумеется, было и пресловутое загрязнение окружающей среды (без которого, впрочем, немислимо ее преобразование), и тьмы экологически неграмотных проектов, и безжалостное истребление редких видов зверья ради того, чтобы пошить из этого зверья шапки для номенклатуры. Я говорю лишь

о том, что лозунг «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача!» (И. Мичурин) был на самом деле не чем иным, как экстраполяцией законов природы на человеческий социум. Здесь клин вышибали клином, на природу воздействовали теми же приемами и с той же интенсивностью, с какой она сама воздействует на любое заброшенное дело рук человеческих — стоит полюбоваться, во что превращается заброшенный вагончик строителей через год стояния под открытым небом.

Коммунисты впервые противопоставили природе нечто столь же могучее, упорное и бесчеловечное, как она сама. Удивляться ли, что по части антропогенного воздействия на Землю именно СССР был бесспорным лидером? Именно эта страна шагнула в космос, перекрыла Енисей... да и область балета, продолжая хрестоматийную цитату, была символом такого же безжалостного насилия над человеческим телом, жестокой и результативной муштры. Нет, коммунисты не берегут природу. Они лишь говорят с нею ее языком. Землетрясения, в конце концов, тоже меняют лик земли, но не перестают от этого быть явлением природы.

Самое же характерное, что как раз христианству, с которым коммунизм иногда любит самоотожествляться, пафос борьбы с природой ее же оружием, пафос землеустройства и пастушества, садоводства и строительства вполне чужд. Это все относится к сфере жизнеобеспечения, а до нее христианству нет никакого дела. Оно не возражает против повседневного труда и не принуждает к нему, оно его игнорирует.

Христос охотно пользуется «природными» метафорами, но природа как таковая, весь окружающий мир оказываются вне поля его зрения. Именно на этом строят Казанцис и Скорсезе один из важнейших эпизодов «Последнего искушения Христа», когда ангел показывает спасшемуся Христу землю, по которой он ходил, а Христос этих мест не узнает: «Я никогда не обращал на них внимания». Христианство относится к природе так же, как природа к человеку: не берет в расчет. Оттого так забавны с христианской точки зрения теории Штайнера — антропософское огородничество, мистическое животноводство и пр.

Трудно придумать что-нибудь более враждебное христианству, чем почвенничество, и не случайно почвенничество становится излюбленным эстетическим и философским течением коммунистов.

Люди, непрерывно одуряющие себя грубым трудом (Шаламов не зря называл его унижением, проклятием человека), люди, теряющие способность задавать вопросы и думать об абстракции, берущие уроки покорности и живучести у почвы и скота, — вот идеальные персонажи советского эпоса. Сходным образом китайская культурная революция была таким же бунтом природы против интеллекта, приспособляемости против нравственности, — отсюда типичная для китайской пропаганды шестидесятых годов символика земли, почвы. И если для самих идеологов культурной революции (как и для идеологов советского почвенничества) ссылка интеллигента в деревню «для сближения с жизнью и лучшего с нею знакомства» была, конечно, чистой демагогией, — то в метафизическом смысле никакой натяжки тут нет: знакомство с жизнью природы, с жизнью неокультуренной почвы способно многому научить человека если, конечно, он пожелает пройти такой курс расчеловечивания.

3

Коммунизм, или апология природы и подражание ей, есть нечто чуждое человеческому духу, постороннее ему, отлично существовавшее и до него. Рассмотрением двух крайностей — или, если угодно, двух альтернативных возможностей развития человеческого духа — мы и займемся ниже.

Первая такая возможность отождествляется в нашем сознании с так называемым «западным либерализмом» и восходит к попыткам американских «отцов нации» построить христианское государство. Первой в истории демократией, которая строилась на основе Закона, с его безусловным приоритетом; первым таким опытом и первой надеждой людей XVIII века, видящих вокруг либо монархии, либо тирании, стали Соединенные Штаты.

Каких бы корректив в наше восприятие американской истории ни вносила сегодняшняя Америка времен сербской войны, идеи этого либерализма наиболее полно и последовательно сформулированы упомянутыми отцами нации и более популярно, с массой пословиц и прибауток, изложены Линкольном. Человек есть прежде всего его моральный долг; этот моральный долг выделяет человека из всей живой и неживой природы, делает его уникальным творением Божиим и обязывает обуздывать любые свои инстинкты во имя сосуществования. Нет равенства умов и состояний, но есть равенство возможностей и прав. Человеческая жизнь много ценнее любой идеи, права меньшинства священны, и пресловутое правило «Бог на стороне больших батальонов» для человеческой природы оскорбительно. Таковы вкратце эти принципы, не претерпевшие изменений до наших дней и лишь доводимые временами до абсурда.

От так называемой (а точнее, несуществующей) коммунистической идеологии, постоянным признаком которой является лишь преобладание прав большинства, — эта идеология отличается прежде всего тем, что она последовательна, то есть внутренне стройна. Она с нею соотносится примерно так же, как кристалл — с аморфной структурой. Прямое столкновение двух таких структур наглядно демонстрирует Сергей Эйзенштейн в фильме «Александр Невский», где четко построенная тевтонская «свинья» на глазах ликующего зрителя поглощается бесформенной русской МАССОЙ.

Соответственно есть и другая, симметричная либерализму и столь же последовательная идеология, которая наиболее наглядно была представлена германским фашизмом, хотя и до этого (в частности, в сатанистских сектах) прослеживается вполне узнаваемо. Фашизм, коммунизм и либерализм соотносятся так же, как сатанизм, атеизм и христианство; ад, чистилище и рай. Разница здесь, пожалуй, только та (и ее мы коснулись выше), что коммунизм отождествлять с атеизмом не совсем верно. Природа, заменяющая коммунистам Бога, — это и есть Бог в его ветхозаветном, дохристианском понимании: мо-

гучая сила, логика которой человеку изначально непонятна, но присутствие которой тем не менее явлено в каждом муравье, каждой грозе.

Мир не хаотичен, даже не всегда враждебен человеку,

— он просто не учитывает его, человек не вписывается в эту систему и действует самостоятельно. Вот отчего так надуманны все аналогии между коммунизмом и ранним христианством. Коммунизм — это нечто ветхозаветное, жестокое, масштабное и чуждое всякого сострадания, всякого тепла.

Именно поэтому так недальновидны и наивны любые попытки отождествления коммунизма и фашизма. Все идеологии пользуются сходными приемами, и тоталитарное искусство Москвы или Берлина тридцатых годов недалеко ушло от секулярного искусства Америки тех же времен (разве что последнее более разнообразно, но, скажем, через увлечение конструктивизмом одновременно и без особых формальных различий прошли Америка, Россия и Германия).

Фашизм — это не менее последовательное, чем либерализм, но античеловеческое и аморальное по своей сути глубоко сознательное зло. Это возвращение темных магических верований, но если природа (и коммунизм) человека игнорируют, не учитывают, то фашизм прямо и недвусмысленно направлен ПРОТИВ всего человеческого. Именно поэтому он в конечном итоге и проигрывает коммунизму — несравненно более гибкому, зыбкому и последовательному.

Возьмем хрестоматийный еврейский вопрос: для нациста всякий еврей — враг, и, даже пользуясь его капиталами и до поры до времени с ним сосуществуя, нацист твердо знает, в какой момент дать отмашку погрому. Именно «окончательное решение еврейского вопроса» сначала сделало гитлеровский режим монстром в глазах мира, а потом помешало ему овладеть атомной бомбой.

Что касается Советской власти, она чередовала совершенно искренний интернационализм с приступами дикого антисемитизма, и если установление этой власти немислимо без комиссарящей близорукой еврейки в непременно-

ной кожанке, то закат Сталина непредставим без борьбы с так называемым космополитизмом, и все это на фоне трескотни тех самых лозунгов, которые формально не переменились за тридцать лет. Новая тевтонская орда точно так же поглощалась аморфной, природной массой, как и за семьсот лет до того. Дело тут не в русской изначальной склонности к коммунизму, а в русской «природности», аморфности, в явном примате природы перед цивилизацией и культурой. Именно в силу этого, а не в силу своей особой любви к равенству и братству, Россия оказалась более восприимчива к коммунизму, нежели Европа. В Европе бунтовать против закона и комфорта в конечном итоге оказалось некому.

Фашизм был философией оргиастической, апеллирующей к подсознанию и оттого куда более поработочающей, гипнотизирующей, чем коммунизм, который и философией-то не был никакой, а был торжеством роевого начала над духовным. (Любые попытки примирить рой и дух разбиваются о тот неоспоримый факт, что дух по природе своей индивидуалистичен, и подчинение его законам роя — всегда драма, оканчивающаяся бунтом.) Этот гипноз сильнее действовал, но и быстрее спадал: немецкий пленный, выпадая из контекста, попадая к русским, становился обычным малым, играющим на губной гармонике, а большинство русских пленных оставалось советскими солдатами, для которых никакое сотрудничество или дружелюбие в отношении немцев было немыслимо, и уж конечно дело тут не в разнице обращения с пленными). Тем не менее, оба последовательных способа поведения

— последовательно человеческий и последовательно античеловечный — пасуют, проигрывая в прямом противостоянии бесчеловечной, имморальной природной цивилизации. В нашем случае это цивилизация советская. До ее прямого противостояния с американской дело, слава Богу, не дошло. Но неудачи американцев во Вьетнаме и Сербии, где им никто не благодарен и где любой их относительный успех обеспечивается только технократическим перевесом, сами по себе довольно доказательны. Система всегда проигрывает в столкновении с бессистемнос-

тью, поглощается хаосом, — ибо хаос существует по своему внутреннему закону, закону выживания и поддержания себя в нужном состоянии, — а система держится на принципах. Принципы же, как известно, — непозволительная роскошь в экстремальной ситуации. Глубоко прав был Солженицын, призывая Запад в середине семидесятых к санкциям против СССР, а иные договаривались и до крестового похода против коммунистов: возможно, против лома действительно нет приема, если нет другого лома. Но последовать этим советам — значило бы для западного мира поступиться принципами (а отнюдь не только личной безопасностью). Точнее других это сформулировал Бродский: «Мы бы продали Божье тело, расчищая себе пространство» («Речь о пролитом молоке»). Именно поэтому, как бы ни кончилась холодная война, «горячая» обернулась бы для западного мира неизбежным поражением. Хотя бы потому, что, как гениально чувствовал тот же Толстой, запад воюет по правилам (Толстой сравнивал действия французов с фехтованием), а русский действует эффективно, но без правил. Толстой называет это дубиной народной войны, мы выразимся сдержаннее: каша.

В этой каше в конечном итоге и растворится любой кристалл, иное дело, что жизнь внутри нее со временем становится невозможной для любого уроженца, в котором проснулось самосознание человека, то есть, проще говоря, душа.

Любопытнее всего в этой связи вспомнить недавний фильм В.Абдрашитова и А.Миндадзе «Пьеса для пассажира» (сценарий назывался точнее — «Большая постановка жизни»). «Новый русский» в молодости, в конце семидесятых, в бытность свою простым студентом, из-за жестокости судьбы получил непомерно большой срок: Система требовала ужесточить наказание за спекуляцию. Жизнь студента сломалась, в лагере он навсегда лишился здоровья, зато приобрел мощные криминальные связи, которые и позволили ему «подняться» в конце восьмидесятых. Случайно, едучи с подругой на юг, он встречает в поезде своего погубителя: бывший судья, вышвырнутый вслед-

ствии квазиреформирования Системы, теперь работает проводником, и проводником образцовым. Новый русский мечтает капитально отомстить ему, заставив пройти через все, на что его самого обрек когда-то будущий проводник: вначале он задумывает лишить его жены, затем — новой работы, наконец — уничтожить. Но каких бы козней, каких бы новых ситуаций герой ни подбрасывал своему антагонисту — все тщетно: тот идеально встраивается в любые предложенные обстоятельства. Более того, он в конечном итоге оказывается победителем, неизменно выходя сухим из воды. Мораль проста, хотя большинство зрителей посчитали картину надуманной: человек, в любом случае ИГРАЮЩИЙ ПО ПРАВИЛАМ, меняющий их вместе с местом работы или жительства, обречен на победу. Сегодня он действует по одному закону, завтра — по другому, но во всех ситуациях мгновенно принимает новые правила игры. Тот же, кто смеет сохранять верность собственным убеждениям, собственной логике, в меняющемся мире безоговорочно проигрывает конформисту. Коммунизм и есть конформизм, но в таких масштабах, что начинает уже походиться на явление природы.

Сходная коллизия — видимо, актуальная для постсоветского сознания — разрабатывалась в фильме В.Хотиненко по сценарию В.Залотухи «Мусульманин» (и должна была лечь в основу их следующего проекта — «Великий поход за освобождение Индии», не осуществившегося до сих пор по финансовым причинам). В афганском плену уроженец русского села принял мусульманство. Когда он возвращается в село — твердый, убежденный мусульманин, непьющий, работающий, молящийся в строго определенное время, — стихия российской жизни сперва пытается его перемолоть, но, видя, что орешек пришелся не по зубам, быстро уничтожает. Последовательный герой обречен либо принять новые условия игры, растворившись в аморфной, вязкой среде, либо погибнуть, будучи ею отторгнут. Логика биографий многих героев перестройки подтвердила этот вывод.

С точки зрения коммунизма плохо только то, что не способствует выживанию Системы. С этой точки зрения

те ее элементы, которые отказываются слепо признать свою роль и начинают задавать вопросы, для Системы еще более вредны, чем прямые враги. Именно экспроприация не столько чужих бриллиантов, сколько чужих аргументов, постоянное обращение против противника его же оружия — основа коммунистической ментальности. Коммунист способен уважать (хотя бы и во враге) только силу, витальную энергию, — и только этого аргумента слушается природа. От элементов Системы требуются мощь и покорность, или, иными словами, мощь и отсутствие рефлексии: лев, ворон и павлин не рефлексиируют никогда, и никто не отнимет у них величия органичности. Но человек тем и отличается от них, что жить только по их законам не способен.

Честертон, о котором Борхес справедливо говорил, что все его несколько истерическое веселье и преувеличенная душевная ясность были только безуспешными попытками заговорить мрачность собственной души, ее метания и робость, замечал, что на вопросительный знак Иова Бог отвечает восклицательным. Но такой диалог заведомо не может привести к взаимопониманию. Действительно, вся природа вопиет о величии Творца и его непобедимости, но человеку, который существует, чтобы задавать вопросы, такой ответ ничего не говорит. Никакие соловьи и черемуха для него не оправдывают трагедии человеческого существования, они лишь подчеркивают ее. Страдание и сострадание неведомо камню и морю. Коммунистическая система старается подражать природе даже и во внешней своей атрибутике: все эти волнующиеся знамена, скалоподобные здания, мореподобные толпы — попытка создания некоего рукотворного пейзажа из «человеческого материала». Впрочем, этой атрибутикой охотно пользовался и фашизм. Но и фашизм уважает не только силу, но прежде всего — верность, убежденность, зачарованность символикой. Коммунистическая же власть в России интуитивно уважала не того, кто убежден (мало ли убежденных коммунистов было перемолото, мало ли убежденных книжных юношей были в окопах объектом общих насмешек!), но того, кто обладает счастливым да-

ром приспособленчества. Именно эта публика в конечном итоге занимала высшие посты в коммунистической системе начиная с первых дней ее существования, когда полуграмотный, но уверенный в своей непогрешимости рабфаковец брался учить профессора диалектическому материализму.

4

Эти заметки были бы неполны без гимна человеческой природе и трагической, но радостной человеческой миссии (заметим, что радоваться трагизму своей участи и гордиться им — тоже прерогатива человека, умеющего извлекать поводы к самоуважению даже из поражения). Ключевой фразой христианской литературы я назвал бы гениальное прозрение блаженного Августина:

«ГОСПОДИ, ЕСЛИ БЫ Я УВИДЕЛ СЕБЯ, Я БЫ УВИДЕЛ ТЕБЯ».

Человек вечно ищет проявлений Бога на земле, не видя того, что главным таким проявлением является сам. Человек вечно озабочен поисками причин, по которым Бог терпит мировое зло. Он не терпит его. И мы — его инструмент в этой нетерпимости. Человек, по кантовскому прозрению, единственное недетерминированное существо во Вселенной. Человек настолько не отсюда, настолько противопоставлен всему остальному миру, настолько вытесняется им и не согласуется с его законами, что, право, поражаешься тупости атеистов.

В мире сосуществуют две структуры, одна из которых свободна от любых моральных ограничений, бесконечно сильна, включает в себя на равных живую и неживую природу, а другая отличается хрупкостью и строгим подчинением нравственному закону, который ни на чем, кроме самого человека, не держится. И эта вторая структура не просто выживает, но побеждает на всех фронтах — нужен ли другой повод для счастья?

Все противоречия в мире — пресловутый «еврейский вопрос», противостояние Востока и Запада, черной и белой рас — в конечном итоге сводятся к простейшему противопоставлению человека всему остальному миру. Кон-

фликт природы и цивилизации — лишь частный, самый поверхностный его случай. Коммунизм, вцепившийся в человечество и изо всех сил утаскивающий его назад, ощущает свою обреченность и хватается за любые идеологии, чтобы прикрыть ими свою наготу. Но век его кончен, и третье тысячелетие русской истории будет свободно от этого соблазнительнейшего из соблазнов.

Никто, однако, не запретит нам любоваться видом гор или побережья — коммунизмом в самом чистом, эстетичном и безобидном воплощении.

ЕВРЕЙСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

Три эссе о русском еврействе.

Предлагаемая вниманию читателей публикация, естественно, не ставит своей целью хоть как-то исчерпать проблему современного еврейства. Не претендует она также и на какое-то теоретическое осмысление этого чрезвычайно сложного и противоречивого вопроса.

Заметим сразу же, что речь пойдет прежде всего о еврействе России, о его положении, о развитии его самосознания, о его завтрашнем дне.

Мы хотим предложить читателю три абсолютно разных, субъективных взгляда на положение русских евреев в современном мире, когда с одной стороны в России наступили широкие демократические перемены, а с другой — наблюдается все более растущая тяга русского еврейства к отъезду в Израиль и страны Запада.

Меняется лицо русских евреев. Меняется и облик Израиля, куда прибыло уже более миллиона выходцев из России. Авторы предлагаемых эссе живут в разных странах, и это прежде всего определяет различия в их оценках и опыте, которые они выносят на суд читателей.

Автор первого эссе — «Этюда о евреях» — известный российский журналист, сотрудник журнала «Новое время» Вадим Дубнов предлагает нам взгляд на русских евреев изнутри России.

Во многом иную точку зрения выражает в своем эссе «Русское нашествие на новый Израиль» проживший многие годы в Израиле главный редактор журнала «Время и мы» Виктор Перельман.

И, наконец, в заключение представляется позиция широко известного израильского философа раввина Аддина Штейнзальца, у которого, как мы увидим, опять же свой, оригинальный угол зрения на пролемы и сущность современного еврейства.



Вадим ДУБНОВ

ЭТЮД О ЕВРЕЯХ

И почему их боится Россия

Евреев в таком количестве я впервые увидел в конце семидесятых на вступительных экзаменах в университет. Евреи сомнамбулически бродили по коридору, сидели на подоконниках и напряженно ждали вызова в аудиторию, в которой, кроме пары экзаменаторов, тоже сидели одни евреи.

Все было очень просто. В целях минимизации риска из всех абитуриентов-евреев сформировали этакий отказный конвейер — две экзаменационные группы человек по сорок. Все прошло без сбоев, результат оказался стопроцентным, и ни один еврей не прошел. Кстати, как потом выяснилось, всем задавался один и тот же вопрос, над изысканной бессмысленностью которого потом так потешался знакомый университетский профессор...

Все было очень просто. Великая страна самым естественным и понятным образом боялась тех, кого мы называли евреями. Кто-то боится покойников, кто-то темноты или

замкнутого пространства, а страна боялась евреев. А поскольку большая часть последних таковыми себя изначально не ощущала, в связи с чем становилась злом скрытым, страна всеми мыслимыми проявлениями своей боязни приглашала их раскрыться и саморазоблачиться. И в один прекрасный день, поступая, скажем, в университет, устраиваясь ли на работу или осаживая кого-нибудь чересчур ретивого в очереди за водкой, житель большой страны вдруг осознал себя евреем. У иных это, впрочем, происходило еще в песочнице, а детские реакции самые выразительные, и реакций этих по большому счету было две.

Первая — слезы: «Не хочу быть евреем!».

Вторая — запальчивый протест, и мы с приятелем, помню, навсегда поставили крест на своих педагогических талантах, когда его пятилетняя дочь, всхлипывая, вернулась со двора, и, узнав от нас свою первую и, как нам представлялось, вполне взвешенную правду о евреях, перекрикнула собственные рыдания и гневно резюмировала: «Мы, еврейцы, лучше всех!..»

С теми, кто уезжал, тоже все было просто: они уезжали, и всё, а провожавшие, те, кого мы называли евреями, знали две вещи: что они могут уехать и что они все равно останутся. В этом раздвоении надо было жить, надо было получать письма и посылки — от всех это надо было скрывать, и конспирация входила в плоть и в кровь, и страна добилась своего: иметь родственников за рубежом было не просто непрактично и опасно, это было почти стыдно.

Они оставались, и они уже научились с тысячной попытки отвечать на вопрос, почему они не уезжают, и только никак не могли для себя понять, почему остаются. Страна их боялась, вполне рефлексивно пыталась от них отгородиться, и они платили ей тем же, и отгораживались сами, и говорили о внутреннем гетто, в которое они уходили сами, как уходят в себя уставшие от всего люди, и тем больше боялась страна, и так по кругу, наперегонки и — вместе. И я, как житель страны, в которой очень часто приходится показывать паспорт, прописываться, выписываться и нарушать правила уличного движения, не раз ловил себя на том, что мне ужасно интересно: а что

происходит за этим профессионально-каменным лицом, в процессе изучения моих документов уже добравшимся до графы «национальность»? В большинстве случаев, думаю, не происходило ровным счетом ничего, этому лицу уже осточертело все на свете, включая паспорта, что бы там ни было написано про один из полутора сотен народов интернациональной страны. Почему я никак не мог избавиться от этого лукавого и инстинктивного любопытства?

Они, страна и евреи, легко придумали, каждый для себя, чего друг от друга ждать, сначала придумали — потом, как выяснилось, угадали. Евреи говорили: страна — исторический антисемит, иного быть не может и ничего с этим не поделаешь, и страна с удвоенной бдительностью стерегла от них свои вузы и секретные заводы. Страна продолжала бояться и народ с некоторым высокомерием говорил: они считают себя умнее нас. Народ с некоторым высокомерием верил, что они умнее, и настороженно за ними следил, и те, кого мы называли евреями, отвечали народу очень интересным чувством, в котором — а совсем даже не в евреях — все и дело.

Ведь мы увлеклись и едва не забыли: еврей не национальность. Их ведь было, как мы знаем, очень много, даже больше, чем всех вместе взятых евреев, — кто так жил, с этим смешанным ощущением загнанности и одновременно превосходства.

Они тоже очень хотели во все верить, ведь они оставались, и потому им это было, возможно, даже нужнее, чем остальным, но у них ничего не получалось. У них получалось только немного стыдиться, что они не такие, как все, — что они знают, что такое ОВИР, что в Израиле, дай бог ему здоровья, сын, что их не взяли на работу, что им все не нравится, и они не могут этого скрыть, что они читают другие книги, что они не празднуют Пасху, что их с души воротит от всеобщих банальностей и бессмысленно-частого употребления слова «русский», что когда весь народ болеет за Карпова, они болеют за Каспарова, что они лягут костями, но уберегут своего очкастого сына от армии, побоев и интернационального долга — но никому, кроме таких же, как они сами, никогда об этом не расска-

жут, и не из административно-гражданской опаски, а от того же стыда, что они не такие, как все те, кто брезгливо говорил: они, сволочи, еще про нашу армию врут, потому что там надо вкалывать, и подышают пусть за них другие, — а их дети другие, лучше, умнее? И те, кого мы называли евреями, опять стыдились того, что и в самом деле в глубине души считали: да. Лучше...

А потом была Чечня, и в комитетах солдатских матерей еврейских мамаш, естественно, не было. Но к этому времени уже выяснилось, что про армию все-таки не врут — те, кого мы назвали евреями, ни во что не верили, и поэтому очень многое узнавали раньше других.

К этому времени вообще многое выяснилось и многое изменилось: для евреев исчезла необходимость отсиживаться в своем гетто, баркашовцы-макашовцы добились возможности призывать к погромам совершенно открыто и демократично, и, увидев на телеэкранах взорванные синагоги и раскуроченные еврейские могилы, страна узнала про существование еврейских кладбищ и что такое синагога.

Страна притворилась возмущенной, евреи притворились, что снова пойдут в очереди к посольствам, никто никому не поверил, но то, что у игры появились, наконец, правила, которые, впрочем, никто не собирается выполнять, всех удовлетворило. Страна разделилась на новое большинство и новое меньшинство. Большинство продолжало считать, что евреи во всем виноваты, потому что распяли Христа и устроили кровавую революцию, которая уничтожила цвет русской нации, но идеалы которой нетленны. Меньшинство, включающее евреев, полагает, что все было ровно наоборот, и над большинством уже без всякого страха смеется.

Родители с хасидским усердием хранили тайну своей загнанности, и в том был смысл и вкус жизни. Детям евреям не интересны ни тайны, ни хасиды, они свободны и потому снисходительно равнодушны. Когда-то, в первом классе, моя разгневанная соученица подарила мне паразитический фонетический изыск: «Уезжай в свою ЕВРОпу!» Те, кого мы называли евреями, и были первыми российскими европейцами — а кто еще мог ими быть, как не потомки безродных космополитов? Но потом, когда среди про-

чего выяснилось, что вовсе нет ничего плохого в заграничной родне, и эту свою привилегию они утратили.

А потом они перестали и пунцоветь, когда при них рассказывали еврейские анекдоты. Не потому, что эти анекдоты вдруг стали исключительно добродушными. Просто вместе с отцовской обреченностью еврейские дети растворили в токах свободы и что-то из другого родительского чувства, не только заставлявшего бессильно сжимать кулаки и стискивать зубы, но и помогавшего узреть разницу между анекдотом одесским и псевдоодесским, между «битлами» и «на-ной», между Копполой и Михалковым, между Гайдаром и Лужковым. Нет, те, кого мы называли евреями, кого в детстве родители понуждали к фортепиано и хорошим книжкам, ничего этого не утратили, они унаследовали и родительский прищур и вековой скепсис, и они никогда не наденут желтый галстук к синему пиджаку, и они со своей генетической памятью никогда не дадут себя убедить в том, что с такими, как чеченцы, по-другому просто нельзя, что сербы — братья, а албанцы хотят присоединить к себе Белград. Они по-прежнему знают, что могут уехать, и им еще немножко стыдно того, что они другие, что они все еще читают другие книги, смотрят другое кино, никому не верят и их мутит от того, что для других очевидно. Но они, в отличие от родителей, все-таки научились читать и эти книги, смотреть и это кино. Они не уехали, они научились не обижаться, не настаивать и не прятаться.

Их мы называли евреями.

* * *

Они разные, но они близнецы, и отец-шестидесятник так неумело притворяется в том, что их не узнает. А еще мы все ведь были из интеллигентной семьи со старыми традициями и потому сентиментальны — не так, конечно, как они, а ровно настолько, чтобы им так легко было научить нас любить старые и — они это знали не хуже нас — насквозь лживые фильмы. Родители наслаждаются своими шлягерами в исполнении нашей, незамысловатой, но быстро заматеревшей попсы — затея нескольких продвинутых детей шестиде-

сятников со «Старыми песнями о главном» оказалась гениальной. Нам ведь почему-то нравилось и про синий платочек — от продвинутых детей скрыли семейную тайну, но они догадались. По самим себе, когда-то успевшим отравиться еще не выветрившимся кухонным духом.

Но мы снисходительны. Из нас вышло почти здоровое поколение.

У нас, детей чуть отоспавшихся шестидесятников, были рюкзаки, были гитары и были костры. Нам нравилась романтика их выморочной юности, их преданных и мужественных кинодобровольцев и нам очень нравились их песни про паруса и про горы. И вышло так: все то, что для родителей было всю жизнь отвоёвываемым правом на участие, на затворничество и на бегство, нам явилось только в форме романтических палаток и их очень хороших песен, Визбора и Высоцкого, которого, впрочем, мы считали своим. В полученном наследстве мы разбирались с полупониманием, замешенном на полужелании полуверить и на полупопытках о чем-то полудогадаться. Но пародией это еще не было.

...Как был изыскан и деликатен Герман Гессе, с какой чудовищной серьезностью он улизнал от точного определения придуманной, но так угаданной им эпохи! Он называл ее «фельетонистической». Обитатели этой эпохи зачитывались книгами типа «Любимые блюда композитора Россини» и «Роль болонки в жизни великих куртизанок».

Мы — уникальное поколение. Мы еще сентиментальны, и для нас еще серьезно и свято то, что было серьезно и свято для них, и День Победы — праздник, каких больше нет и не будет, но вот интересно: был все-таки Сталин гомосексуалистом или все враки?

Фельетонистическая эпоха: «Фридрих Ницше и дамская мода 60-70-х годов 19 века...» Годы почти те же, другой век. Дети шестидесятников ворвались в указанную эпоху или, наоборот, эта эпоха накрыла их в очень интересном возрасте. Считается, что если жизнь идет по графику, то своим детям родители впервые по-серьезному запоминаются тридцати-сорокалетними. Сегодня комсомольцы, которые так хотели походить на исправившихся родителей, программисты, которые проглядели свою свободу, и евреи,

которые еще прищуриваются, но уже ни от кого не прячутся и ни на чем не настаивают, — в том самом возрасте, в котором когда-то сами в первый раз увидели родителей.

Их революция когда-то победила — их уничтожили Прагой, но они добились права на рок-н-ролл, и им, остепенившимся и выспавшимся, было, наверное, любопытно, насколько они тогда все расшатали, чтобы понаблюдать за формой нашего бунта и убедиться: нового — ничего. На нашу долю не выпало даже джаза. Даже Праги. Чечня оказалась не в счет.

Но наше время еще придет, и мы, наконец, займем свои места в зале. В зале «Сибирский цирюльник», которого, оказывается, мы ждали, как ждут развязки. Михалков все объяснил: тогда ему было интересно копаться в рефлексиях всяких дядь вань и штольцев. А теперь ему интересно про юнкеров и духовность.

Про дядь вань, штольцев и гамлетов нам, в отличие от них, и тогда было почему-то не очень интересно, и Бетховена мы постигали все больше в аранжировках, а про юнкеров мы знали все больше по «Ленину в Октябре». Были еще другие юнкера, про которых надо было петь под приклатненный мотив хриплым голосом певца одесского кичмана Аркадия Сиверного, и это было очень щемяще и романтично, особенно в сумерки...

Они были оптимистами и энтузиастами, ровно до тех пор, пока не осознали, какими суррогатами их успокоили. Нам выпало неинтересное время после несостоявшегося бунта, и наша чуть высокомерная усмешка по поводу их физико-лирических полемик, наверное, даже немного отдавала легкой завистью к тому, что когда-то кого-то что-то захватывало до крика, до истерик и до нерукопожабельности.

Нам не досталось даже суррогатов. То, что мы получили, нам досталось в самом настоящем и незамутненном виде.



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

РУССКОЕ НАШЕСТВИЕ И НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ

Думаю, что автор «Этюда о евреях» совсем не случайно начинает со вступительных экзаменов в МГУ. Он словно бы специально возвращается в 1947 год, чтобы показать, как все это начиналось. А начиналось с того, что, окончивши с медалями московские десятилетки, еврейские абитуриенты решили попытать судьбу на самых что ни на есть его престижных гуманитарных факультетах.

Я и сам, закончивши в тот год с медалью 170-ю московскую школу, хорошо помню это время. В коридорах МГУ на Моховой слонялись толпы совсем еще юных кандидатов в гении, в душе уже полагавшими себя будущими Плевако, Спинозами, Чернышевскими, самой судьбой поставленными решить блистательное будущее советской науки.

Но жизнь решила все по-другому. Пытаясь поступить на юрфак МГУ, я был среди первых еврейских абитуриентов, попавших в жернова отказного конвейера. Напрасно с утра до вечера подпирал я высокие двери приемной ко-

миссии, пытаясь выудить хоть что-то для себя обнадеживающее; как и у Вадима Дубнова результат оказался сто-процентным — ни один еврей на юрфак не прошел. И все провалившиеся оказались зачисленными в Московский юридический институт на улице Герцена, 13.

Я уже не помню, что за поводы помешали другим, — мне на приемной комиссии отказали по причине моей неграмотности, выявленной тут же перед ликом Высокой комиссии. В тексте своего заявления вслед за фамилией излагал я по частям свой адрес, и при описании места жительства (улица, город, номер дома) по рассеянности не поставил ни одной запятой, надо же было сподобиться: «Заявление от такого-то и такого, проживающего по адресу Москва Петровский бульвар дом 17 квартира 39»...

«Ну как же так? — возмущенно размахивал в воздухе моим заявлением седовласый Председатель приемной комиссии. — Наверное, Плевакой хотите стать, а русской грамматики не знаете!»

Вот так и получилось, что всех «провалившихся» — числом что-то человек в 300 — не взяли в МГУ, а взяли в МЮИ, то есть в Московский юридический институт. Но не по причине царившего там интернационализма, а просто по дурацкому стечению обстоятельств, которые, случалось, даже в СССР играли на руку «инвалидам пятого пункта». Именно в эти дни было принято Постановление ЦК о расширении подготовки кадров в юридических вузах, в результате чего на первый курс МЮИ было зачислено 527 будущих прокуроров, адвокатов, следователей, которых, впрочем, четыре года спустя просто не знали куда деть и в большинстве оставляли без работы.

Но, станным образом не допущенные к университетскому образованию и выстояв пол-улицы Герцена очередь на собеседование к тогдашнему директору МЮИ Гавриле Ивановичу Федькину, мы не ощущали себя униженными. Скорее, напротив, чувствовали в своем изгойстве даже какую-то силу, какую-то гордость собой, сродни опять же той, что выше описана Вадимом Дубновым в его «Этуде о евреях». Видно верхи, действительно, нас, еврейских абитуриентов, побаивались, если по чьей-то негласной ин-

струкции всех как одного отрешили от права двигать вперед советскую юридическую науку.

Согласно той же негласной инструкции два моих однокашника Витя Мининзон и Лева Эстрин не были приняты на отделения ракетостроения Бауманского института, а только на факультет двигателей внутреннего сгорания. Из всего этого сам собой напрашивался вывод: ни при каких обстоятельствах нельзя оставаться евреем, а любыми путями стать русским, или, по крайней мере, быть во всем, как они: золотому медалисту Вите Мининзону его одинокая мама дала отчество Иванович, а Леву Эстрина просто записали русским, то ли по маме, то ли по мачехе, то ли просто за взятку домоуправу.

Я же со своей знаменитой фамилией — автора «занимательной физики», «занимательной геометрии», «занимательной астрономии» — в знак противостояния своему еврейству очень скоро записался в кружок международного права, приступив к подготовке доклада о Генуэзской конференции, где до небес превозносил старания российской делегации прорвать блокаду международного капитала. Каждый тогда действовал как мог, и наша наивность воистину не знала границ!

Так шло и дальше. Пока учились, экзамены сдавали на все пятерки и получали повышенные стипендии и даже позже, когда на распределении раскидывали нас по всей стране (куда угодно, но только не в Москву), сидящую внутри нас гордость ничто не могло поколебать. Что бы там ни говорили, в какую бы тьмутаракань не посылали — мы, евреи, были все-таки умнее всех! Так мы входили в тогдашнюю советскую жизнь, русские во всем: и привычками, и любовью к Родине и преданностью Партии. Но все равно: чем дальше, тем было труднее и горше: не брали на работу, отсылали из Москвы, ни за что ни про что увольняли, затем космополитизм и Дело врачей, затем хрущевский доклад на 20-м съезде. Становилось бы вроде легче и в то же время все оставалось по-прежнему, по крайней мере для таких «русских», как мы. Над страной нависло черное брежневское небо, и не разглядеть было лучика в конце этого безнадежного и мрачного туннеля.

Верно, не было лучика надежды, но история не развивалась сообразно логике. И Россия не была исключением. То там, то сям случались подземные толчки. Появлялись диссиденты и вместе с ними почему-то вовсе не желавшие оставаться в России и сочинявшие «подметные письма» о своем желании уехать в Израиль. Поначалу их просто не хотели слушать и упрятывали в психушки, затем стали появляться отказники, которых хотя и не пускали в Израиль, однако теперь не пускали согласно закону. Появились угонщики самолетов, которых бросали в одиночки и собирались расстрелять как изменников.

Но не помогало ничто — почва все больше уходила из-под ног. В жизни у каждого появился другой выход, (пусть вначале и нереальный, и смертельно опасный), но все-таки выход — уехать из страны, и шансов для этого становилось все больше. Так исподволь, что даже сами того не замечая, мы оказывались на перепутье жизни.

Я хорошо помню, как это происходило у меня. Кстати, без слез и драматизма, а так, вроде бы шутя и играючи. Выйдя с институтским товарищем из кафе на Смоленской, прилично там выпивши и оказавшись напротив Министерства иностранных дел, мы совсем было уж распоясались.

Оба в те дни были не удел, тянули ляжку в каких-то зауспокойных шарагах. К более или менее настоящей работе «кадры» не подпускали ни меня, ни его. Итак, вышли из кафе, будучи прилично навеселе, и ни с того ни с сего к нам привязался страж порядка и стал требовать документы. Разговор был короткий. Нас препроводили в милицию и стали допрашивать, что мы тут делаем напротив Министерства иностранных дел и с какой целью сюда пришли. «С какой целью? — насмеялся над милицейским чином мой институтский друг. — Да ни с какой! Просто захотелось с каким-нибудь товарищем из Мининдела по рюмашке пропустить!» Полночи проманежили нас в КПЗ. И когда уже поздно вечером выпустили, друг мой криво усмехнулся и едва слышно бросил мне в ухо: «В хорошей стране живем, а? Я, знаешь, вот что думаю: пора нам, дед, рвать когти!»

Надо же, так получилось, что эта дурацкая фраза втемяшилась в голову. Уехал я что-то два или три года спустя. Но что бы в моей жизни не случилось — в редак-

ции ли, на улице ли или еще где-то, — дурацкая эта фраза, сказанная вроде бы и не всерьез, неизменно лезла в голову: «Из этой страны надо рвать когти!»

У каждого происходило это по-своему, но что-то в жизни надломилось, сдвинулось, что-то требовало решения, почва все ощутимее уходила из-под ног. На смену остроумам и шуточкам приходили дела, от которых становилось уже не до шуток. И если серьезно, то все дальнейшее, о чем пишет Вадим Дубнов, как раз и подводило нас к теме исторического перепутья, перед которым тогда оказались русские евреи.

Строго говоря, перед столь же непростым выбором пребывало в послевоенную эпоху все европейское еврейство, чему в те годы посвятил свое блестящее эссе «Иуда на перепутье» Артур Кестлер: ассимилироваться в своих странах или уезжать в Израиль? — таков был смысл этой драматической, в сущности, альтернативы. И тогда же, а может быть, немного позже над тем же вопросом «Ехать — не ехать?» задумались едва ли не все «граждане еврейской национальности», населяющие Советский Союз.

«С теми, кто уезжал, — пишет далее автор «Этюда», — все было просто, они уезжали и все, а провожавшие, те, кого мы называли евреями, знали две вещи: что они могут уехать, и что они все равно останутся... Они оставались, и они уже научились с тысячной попытки отвечать на вопрос: почему они не уезжают, — и только никак не могли для себя понять, почему остаются...»

Собственно, весь «Этюд о евреях» — это повесть об оставшихся, это попытка ответить на главный для автора и его российских читателей вопрос: почему они остались, при том, что их действительно боялось и, мягко говоря, не слишком любило государство, в котором они проживали. И это при том, что сами они с презрительным прищуром глядели на это общество, — словом, оставались евреями — точнее не выразишь этой ситуации. Им было не сладко, а они все равно не хотели уезжать на свою историческую родину, напротив, решали остаться в стране, от которой имели столько неприятностей. И часто незаметно для самих себя принимали «правила игры» этой страны, вживались в нее, ассимилировались, стано-

вились такими же ее гражданами, как и все остальные. Более того, шло время и они не просто становились такими, как окружающие их русские, подражая им, следуя их примеру. Этого им было уже мало, они стремились больше любить эту страну, больше и лучше на нее работать.

Об этом «еврейском подражательстве» как национальной черте речь у нас впереди, а пока еще раз отметим, что разбор наш касается не евреев вообще, а тех, кто выбрал для себя один единственный путь — навсегда остаться в России. И поэтому эссе свое Вадим Дубнов мог бы с тем же правом назвать «Этюд об оставшихся», именно «оставшихся», какими видел он их изнутри, выбрав одинаковый с ними путь в жизни.

Он не пишет о них в лоб, а искусно плетет тончайшую паутину их психологии и происходящих в ней перемен, как шаг за шагом уходили они от отцов-шестидесятников, как вырабатывали свой собственный, «с прищуром» взгляд на жизнь, как стремились оставаться самими собой, со своими собственными вкусами и пристрастиями, даже если просиживали ночи за одними и теми же кострами со своими русскими товарищами (русские, евреи — кого это теперь волновало?), пели под гитару одни и те же песни Высоцкого и Визбора и, как бы себя не вели, с кем бы не входили в общение, всегда и везде сохраняли в душе и во взглядах что-то неискоренимо свое, то есть хотя и были до мозга костей русскими, но все равно оставались евреями. Вот так перед нами открывается судьба «упомянутых выше», всех тех, кто решил связать свою судьбу с Россией. Чего только не пришлось им в эту странную эпоху пережить, но к чести своей все-таки выжили, выстояли свое еврейство, пока не пришли к тому состоянию, в котором мы застаем их сегодня, в канун третьего тысячелетия.

А те, другие, «уехавшие», как бы и не особенно занимают автора этюда — уехали и уехали. В другую страну и цивилизацию, и как им там придется — худо ли, тяжело ли или, наоборот, легко и счастливо — это уже их проблема, каждый сам расплачивался за свой выбор.

В литературе много написано о расставаниях и отъездах. Я помню, как в аэропорт «Шереметьево» приехало что-то человек под сто, чтобы проводить меня в Израиль.

Ах, до чего же это было печально — покидать родную Москву и близких на всю жизнь друзей, с которыми даже не было шанса встретиться. Но и теперь, спустя десятилетия, даже отдаленно эта печаль не напоминает мне настроения, которое ощутил я в первый день там, выйдя после прилета пройтись по улицам Тель-Авива...

...1973 год. Тогда, четверть века назад, это был маленький, провинциальный и типично левантийский город, настоящее, если хотите, еврейское местечко (если называть вещи своими именами) с совершенно не похожими на меня людьми, жившими на кривых, провинциальных улицах, ни вам московских шоссе, ни Нового Арбата, ни московских небоскребов, низкие, из выгоревших камней и зачастую совсем ветхие малоэтажные дома, в воздухе непереносимая духота, над магазинами допотопные вывески, написанные на языке, про который я сразу понял, что никогда его не выучу... И вот тогда-то, известный в те дни еврейский активист, отказник и борец за еврейскую алию, я задал себе вопрос, который ужаснул меня самого: «Зачем я сюда приехал? Что связывает меня с этим заупокойным ближневосточным местечком? Что я не видел в этом душном и левантийском Тель-Авиве?» И это уже были не шутки, не дурацкая фраза, что де «пора рвать когти», это было на всю жизнь и куда посерьезнее, чем то, что я думал о своем будущем в России.

Позже я стал привыкать к этой стране (уверял себя, что родину не выбирают, а берут такой, какая она есть) и стал работать в местной израильской газете «Аль Гашишмар» и даже побывал в качестве ее корреспондента на Голанских высотах. Много в моих представлениях об этой стране изменилось, но что бы не происходило в моей судьбе — тот самый первый день в Тель-Авиве врезался в память.

О жизни тех, кто уехал на родину предков, не принято было много писать: уехали и уехали, с глаз долой — из сердца вон, правда, оттуда шли письма, иногда целые потоки писем: об отвратительных сохнутувских чиновниках-пакидах, о ненависти к русским олим со стороны старожилов, о левантийских нравах общества. Письма делали свое дело, под их влиянием алия шла на убыль, потом снова возраста-

ла и снова со всей остротой вставал вопрос «Ехать — не ехать?», и все большее число людей, не выдерживая советско-российских порядков, отвечали себе: «Да, ехать!» Не потому, что чувствовали в себе пробуждение еврейского самосознания (хотя об этом не уставала трубить израильская печать), а потому, что если хотели выжить, то просто не было у них другого пути. Так им, по крайней мере, казалось. И другой правды не хотели видеть. И приезжали новые тысячи и десятки тысяч, погружаясь в неведомую им жизнь, которую поначалу проклинали, а потом сживались, не видя, не желая видеть для себя другого выхода.

Такой вот амбивалентной и многослойной выглядела из России судьба тех, кто оказался на исторической родине. И если тема «оставшихся» обсуждалась на весь мир, ибо вечно подпитывалась темой российского антисемитизма, то судьба «уехавших» интересовала мир куда меньше. С ними было все ясно. На их стороне была сама логика истории. Действовал прямой, как стрела, Аристотелев сорит. Все народы должны иметь свою страну. И евреи такой же народ, как все. Они также имеют право жить в своей собственной стране. И, пережив две тысячи лет скитаний, должны, наконец, вернуться домой. Вот и все. В этом были все начала и концы. Именно в этом месте я мог бы сослаться на Герцеля, Жаботинского, Бен Гуриона, но, с другой стороны, они были еврейскими вождями и идеологами, а меня притягивают факты прожитой мной жизни и пройденного мною пути. И потому сошлюсь не на вождей и идеологов, а на одного из моих товарищей, такого же, как и я, романтика и отказника, на эссе историка и еврейского активиста Бориса Орлова, напечатанное четверть века назад в журнале «Время и мы» (и вышедшее в свет под весьма красноречивым заголовком «Не те вы учили алфавиты»). Вот какими словами начинается это эссе: «Можно жаловаться на судьбу, предъявлять претензии к своему или молодому поколению, вздыхать о несовершенстве мира и грустить о прошлом. Но на историю не жалуются, она не любит обидчивых и посему не терпит морализирующего к себе отношения. Произошло то, что должно произойти. Еврейство России проделало беспримерный опыт слияния с

русским народом и русской культурой, вмешалось в судьбу и историю России, внезапно оттолкнувшись, как внезапно отталкиваются от одинаково заряженного тела, ушло. Самое поразительное в этом Уходе — его добровольность в момент наивысшей ассимиляции, свободное принятие решений в стране тотальной несвободы».

Как просто все было в теории! Даже если она излагалась не идеологами, а простыми еврейскими парнями, каким был историк Боря Орлов. И как трудно приходилось в жизни! Маленький пыльный Тель-Авив наводил на грустные размышления. Им нужно было что-то противопоставить, что-то очень серьезное, побудившее приехать в эту страну. Как воздух, каждому из нас нужна была защитная реакция. И мы ее (может, все от той же безысходности) находили в той нашей амбивалентной жизни.

Помню, через несколько дней после приезда в Тель-Авив мы с моим другим товарищем по эмиграции Борисом Мойшезоном прогуливались по одной из центральных улиц Тель-Авива и, легко оперируя цифрами, наполняли свои сердца оптимизмом. Да, пока это еще глубокая провинция. Но ведь российские евреи едут и едут. И не пройдет и нескольких лет, и все советское еврейство переберется в Израиль. Именно это обстоятельство раз и навсегда решит еврейский вопрос в России. И вместе с тем вопрос о будущем нового цивилизованного Израйля. Пусть уезжают! Не потому, что движимы идеями сионизма, а потому, что их выталкивает советский антисемитизм, — не все ли равно, по каким причинам! — уезжают перед угрозой гибели, которая нависает над каждым российским евреем и над всей гибнущей еврейской общиной страны. Но как бы то ни было, все же уезжают, и мы в этом провинциальном Израйле не будем больше одни — нас станет на несколько миллионов больше, а еще через какое-то время все три миллиона российских граждан еврейской национальности окажутся в этой стране — воистину было от чего прийти в хорошее настроение!

И снова то, что произошло в жизни, говорило лишь о том, насколько рискованно доверяться исторической логике и как она часто приходит в противоречие с живым потоком истории.

Прошло два десятилетия, и сегодня уже можно говорить о двух параллелях в развитии еврейской судьбы в России и в Израйле. О происшедшем в России мы более или менее знаем. Мы видели и продолжаем видеть бесконечные всплески антисемитизма, но теперь все-таки это происходит в демократической стране, где худо-бедно развивается еврейская культура, существуют синагоги, можно свободно изучать иврит, а перед евреями открыты дороги в различные сферы государственной и политической жизни. Это видно всем, даже самому ленивому. На самом же деле мы видим и большее, видим, как еврейские олигархи (какие ни есть, а все-таки наш брат, еврей!) набирают все больше сил, становятся неограниченными владельцами газетных и прочих империй. Мы не знаем, что со всем этим станет в будущем, и совсем нет уверенности, что не повторятся кровавые страницы прошлого. Но это уже другая тема.

Говоря о судьбе российских евреев, я опираюсь на факты, о которых знаю и которые вижу своими глазами. И намеренно иду дальше, чем идет Вадим Дубнов: новое поколение не просто вырвалось из судьбы своих родителей-шестидесятников, не просто становилось учеными, программистами, но прорвалось дальше, уже фактически показывая, что у России есть основания их бояться, этих «новых русских» с еврейскими паспортами! Они не просто провозглашают себя равными, но и с гордостью, а иногда и с самомнением, сверху вниз, смотрят на окружающее общество. Кто знает, может быть, это совсем другое? Не просто равенство, — некое «еврейское нищество», столь опасное в антисемитской России? Не знаю! Я не даю этому никаких моральных оценок: российские евреи в этом эссе для меня не более, чем предмет исследования, конечные результаты которого для меня неизвестны. И насчет их будущего у меня, право же, нет никаких гарантий.

Читатель, вероятно чувствует, с какой осторожностью подхожу я к другой параллели — к судьбе евреев, покинувших Россию и осевших в Израйле. Теперь о них уж написаны горы литературы, да куда идти дальше, если каждый пятый гражданин Израйля — это российский еврей, если русские евреи становятся здесь ведущими банкирами и бизнесменами, владельцами ведущих газет и телевизион-

ных компаний, занимают ведущие правительственные посты, становятся решающей политической силой в Израильском Кнессете. И все же противоречия между «русскими» и «ватиками-израильтянами», несмотря на все эти сдвиги, отнюдь не стираются. Более того — и это уже настоящий парадокс, — конфликт между «новоприбывшими» и «старожилами» выглядит сегодня куда более острым, чем между русскими и евреями в самой России. Не в том ли причина, о чем говорилось выше, что в стране многие десятки газет и русских телевизионных станций, огромное множество русских издательств и магазинов, беззащитное хозяйничанье русских мафий, повсеместная мода на русских проституток, для которых Израиль стал своего рода отхожим промыслом — вот они реальные (с плюсом ли, с минусом ли) слагаемые влияния русских евреев в стране, которая, конечно, никакой исторической родиной для них не является (во всяком случае в старом библейском смысле слова), а есть, скорее, своего рода объект... — не знаю уж, как это тоньше, тактичнее высказать — объект не знающего себе равных в истории «нашествия»! Какого нашествия? Кого на кого? Так вот, нашествия евреев на евреев ради их общего будущего на возрожденной земле предков. И не есть ли это великое чудо европейской истории?

Вот такая странная метаморфоза произошла в судьбе евреев России: угнетенные и униженные при Сталине, едва не депортированные и не погубленные в лагерях за колючей проволокой Сибири и Дальнего Востока, они вначале, как птица феникс, воспряли в стране своих душевателей и если не стали ее фактическими правителями, то, во всяком случае, почти полностью прибрали к рукам ее экономику. Но и на этом не успокоились, а, как бескомплексные и бесстрашные колонисты совершили «нашествие» на страну своих предков ради все той же высокой и фантастической цели, о которой мы уже говорили выше.

Самое интересное тут, может быть, то, что их приезд не сопровождается духовным и культурным слиянием, что с точки зрения классиков сионизма всегда было альфой и омегой любой алии. На этом всегда зиждился сионизм. Но большинство приехавших «русских» не знают иврита, не

говоря уже о Библии и израильской истории, они индифферентны к израильской религии. И, может быть, к самому Богу Израиля. Но — вот еще парадокс — все это не мешает им ощущать себя полноценными гражданами Израиля, осваивать контролируемые территории, проявлять готовность в любую минуту встать на защиту страны и умереть за ее свободу.

Я не знаю, как охарактеризовать это особое внутреннее самоощущение людей, не вызванное ни связью с предками (их восточно-европейские предки были слишком далеки от Израиля), ни связью с Библией и Маккавеями (все это они только сейчас открывают для себя!), но, может быть, именно этого ощущения собственной силы и преданности Родине не хватало евреям, приехавшим из России, и, обретя его, они станут той силой, которая поможет Израилю отразить нападки арабских врагов и занять свое место в цивилизованной семье народов.

Все же остальное — что они рвутся править страной, завладеть ее газетами и банками, внедрить в ней свой родной русский язык, все эти мафии, дома терпимости и проститутки — все это в масштабе истории мало что значит и рано или поздно отойдет на второй план.

Заканчивая, я чувствую, что так и не ответил на наиболее существенные вопросы моего эссе, ради которых, может быть, и взялся за перо, кто же такие в сущности, современные евреи, и какое главное качество отличает их от неевреев, и откуда они черпают свои силы, и что для них значит их еврейский дух, и существует ли этот дух, этот ствол нации вообще?

Я много раз в жизни задумывался над этими вопросами: и когда еще жил в Союзе, и когда эмигрировал в Израиль, и когда уехал оттуда. Временами мне кажется, что я приближался к ответу, но шло время, и перед моими глазами вставали новые факты из еврейской жизни, которые я снова оказывался не в состоянии объяснить. Поэтому я рискую предложить читателям мысли другого автора, раввина Аддина Штейнзальца, директора Иерусалимского института Ван Лир, человека, которого в Израиле называют самым мудрым евреем нового времени.



Рабби Адин ШТЕЙНЗАЛЬЦ

КТО МЫ: ТРАГИЧЕСКИЕ АКТЕРЫ ИЛИ САМОБЫТНАЯ НАЦИЯ?

Наш национальный характер многогранен, и в этом одна из причин, почему большинство других народов не понимает нас. Они всегда видят только одну сторону, одну грань и думают, что это все. Их поражает, разочаровывает или по меньшей мере просто удивляет, когда им вдруг становится ясно, что в нашем характере есть и другие стороны.

И тем не менее существуют две основные силы, которые воздействуют на нас и имеют наибольшее значение, для понимания нашей сущности. Одна четко выраженная сила

— это наша поразительная способность видоизменяться, приспособливаться, становиться похожими на людей, среди которых мы живем. Я бы сказал, что это в какой-то степени верно, даже когда мы говорим о чисто внешней, биологической стороне нашего облика. Можно наблюдать, что происходит с евреями, которые переселяются из одной страны в другую. Изменения заметны уже при сравнении

Печатается с незначительными сокращениями

людей второго или третьего поколения. Например, если мы сопоставим современного еврея из России или Польши с его родственниками во Франции или особенно в Америке, чьи родители эмигрировали в начале века, то различия даже в физическом облике весьма впечатляющи.

Но это лишь одна и не самая существенная сторона дела. Подлинная способность к приспособлению, мимикрии проявляется гораздо глубже, и она связана с нашей способностью впитывать окружающую культуру. Чтобы лучше понять это, попробуем обратиться к явлению очень сходному, которое принято именовать левантизмом. Человек левантийского типа тоже очень легко и быстро способен изменяться, схватывать новые языки, перенимать манеру одеваться и вести себя.

Наша адаптация — это внутреннее преобразование. С языком чужого народа к нам приходит глубокое понимание его духа, его чаяний, его образа жизни и мыслей. Мы не просто обезьянничаем, а становимся частью этого народа. Более того, спустя некоторое, часто очень недолгое время, мы оказываемся в состоянии понять этот народ лучше, чем он сам понимает себя.

Этот феномен вовсе не означает, что евреев так уж любят в странах, где они прижились и стали частью окружающей культуры. Нет, это вызывает обиду и возмущение. У других народов складывается ощущение, что евреи не только берут их деньги, но изощренно похищают у них душу и таким образом становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а через некоторое время — устами и мозгом их народа. Мы становимся большими англичанами, чем сами англичане, большими немцами, чем сами немцы, большими русскими, чем сами русские.

На эту тему есть много историй, звучащих как анекдоты, но на самом деле мы уподобляемся тому актеру, который не только играет роль, но и сам становится на сцене тем человеком, чью роль он исполняет. Если талантливый актер играет на сцене роль какого-то человека, то создаваемый образ в известном смысле правдивее, чем характер этого человека, ибо актер отыскивает его самые типичные детали и наиболее яркие индивидуальные осо-

бенности... И если евреи пытаются играть роль, то не как заурядные лицедеи и жалкие комедианты, а так, как играют великие трагические актеры. Подражая народам, среди которых они живут, они изображают, скорее, тип народа, нежели просто отдельных его представителей.

Возникает вопрос: как евреям это удается? Этого мы не знаем. По-видимому, в этом заключается наш путь к естественному отбору, путь создания группы людей, обладающих исключительной способностью к выживанию в самых разных условиях. Похоже, что психологически, а может быть, даже биологически мы находимся в состоянии, в котором находятся некоторые цветы и животные, причисляемые натуралистами к новейшим типам.

Огромное давление, оказываемое на наш народ, изначально народ маленький и слабый, всегда означало одно: что мы должны либо адаптироваться, либо умереть. И те, кто не сумел приспособиться, действительно умирали. Те же, кто обладал талантом в каждом новом месте уподобляться этому месту, точнее, живущему здесь народу, — те выжили. В этом состоит одна из могущественных черт нашего национального «грима».

Но вот другая сторона, и это не менее важно. У нас в душе постоянно звучит властный зов. То, чего он требует от нас, нечто противоположное приспособлению и изменению. Этот зов — стремление к самопознанию. Иными словами, в нас есть какое-то ядро, какие-то трудно объяснимые элементы нашего существования, от которых мы не можем избавиться.

На протяжении многих поколений нашей истории не раз бывало, что мы даже пытались это сделать. Иногда после того, как одно, два или три поколения, казалось бы, уже приспособились и ассимилировались, из сохранившихся ростков вдруг снова пробивался древний ствол, как будто ничего и не случилось.

Это как раз то свойство, которое прежде всего замечают в евреях другие народы с самого начала нашей истории, а именно, что мы — самый упрямый народ в мире, который невозможно покорить, народ, который можно погрузить в воду, но нельзя утопить, который можно сло-

мать, но нельзя убить, который можно разорвать на куски, но эти куски останутся живыми и вырастут снова.

Как будто налицо очевидное противоречие. Но если взглянуть в проблему пристальнее, мы увидим, что эти два свойства нашего народа противоречивы только внешне. Просто способность к приспособлению означала бы, что мы должны были бы раствориться в других народах. Лет через сто мы исчезли бы, уподобившись другим народам. И те из нас, кто действительно хотел этого, стали бы частью других народов. Но выжили, не как индивидуумы, а как нация, только те, кто обладал особым свойством, придававшим особый смысл нашей способности приспособляться и изменяться.

Это свойство заключается в том, что в такой же мере, в какой мы изменяемся, мы все-таки продолжаем помнить, что мы — евреи и есть в нас нечто особое, и в конечном счете мы все-таки не похожи на других.

Итак, мы гибче, податливее, чем что бы то ни было на свете. И в то же время мы тверже, чем сталь. И в этом в конечном итоге секрет того, что в течение двух тысячелетий мы сумели выжить и сохраниться. Эта двойственность еврейского характера обычно объяснялась, как результат жизни евреев под гнетом. Однако в действительности эти характерные черты так глубоко в нас заложены, что мы не можем просто взять и отбросить их по своей воле. И самый существенный элемент в еврейской жизни нашего времени — государство Израиль — по сути дела, пример того, насколько устойчивы эти свойства.

Снова — даже если говорить о физическом облике евреев, когда мы смотрим на типичных людей из нового поколения сабр, мы видим в них их родителей. А вместе с тем кажется, что дети здесь очень непохожи на своих отцов и матерей. Они в большинстве своем выше ростом и сильнее физически. Они выглядят по-иному; они явно по-иному действуют и думают.

И здесь мы подходим к едва ли не самому драматическому парадоксу. Государство Израиль создавалось на основе двух противоречащих друг другу стремлений. С одной стороны, это было движение за самовыражение

еврейского народа, а с другой — это национальное движение, развивавшееся в условиях войн и жесточайшей борьбы за существование, обладало очень ясными и в чем-то специфическими представлениями о том, чего оно хочет достичь.

Основатели Израиля мечтали создать здесь новый тип человека — разностороннего, прекрасного, сочетающего в себе духовные качества и внутреннюю духовную силу еврейского народа, накопленную за долгие века, вроде Виленского Гаона, и в то же время обладающего свойствами и способностями такого человека, как Спартак. Этот человек, унаследовав духовное величие прошлого, должен был приобрести черты, которых, по мнению евреев, ему прежде всего не хватало, — физическую силу, прямоту, умение сражаться и сражаться хорошо, способность жить оседлой жизнью в своей стране.

И поскольку наши отцы считали, что духовный элемент заложен в народе настолько глубоко, что нет нужды его укреплять, они стали прежде всего учителями, просветителями, создателями нового типа евреев... И они преуспели. По правде говоря, даже чересчур преуспели — в создании нового типа, который, если вдуматься, является не подражанием какому-либо народу, но, скажем, чтобы это не прозвучало слишком уж антисемитски, подражанием некоему абстрактному идеалу нееврея.

Они преуспели в создании того, что не было ни русским, ни английским, ни французским, а было просто целью. Появилась нация, лишенная подлинной сердцевины нашего народа. Эта нация выросла здесь, в стране Израиля, но по своему образу жизни, по способу мышления она стала гораздо более нееврейской, чем, может быть, какая бы то ни было нееврейская нация. Однажды кто-то сказал: нееврей — это не еврей, но подлинным, законченным неевреем может быть только еврей.

Итак, появилось поколение, у которого есть масса превосходных качеств. Но до чего же оно странное! Черты, которые считались типично еврейским — гибкость ума, утонченность, обширные знания, самокритичность, — качества, которые были частью нашей сути, исчезли.

Мы стали совершенно другим народом: очень целеустремленным, неспособным меняться, неспособным сомневаться в себе и критиковать себя. Мы снова с успехом приспособились, но не к тому, что реально существует, а к тому, что мы создали в своем воображении.

И дело не только в том, что это трагично само по себе, а в том, что, поскольку наше государство имеет такое значение, оно становится образцом для подражания евреев диаспоры, притом нередко отрицательным образцом. Но ведь мы этого совершенно не хотели, однако наши намерения тут мало что значат. Куда важнее вопрос: в таком нееврейском качестве сумеем ли мы сохраниться и выжить? Проблема самобытности важнее, чем экономические и даже политические проблемы. Последние постоянно меняются, а эта — ведь сама суть нации.

Вместо того, чтобы играть роль (а пьеса-то все равно второстепенная), мы не попытались просто стать самими собой, то есть сделать все возможное, чтобы выяснить, что же мы собой представляем изнутри, выяснить, какой образ живет в наших сердцах и как он должен развиваться теперь, когда отпала нужда в приспособлении.

Кажется, актер уже сыграл весь свой репертуар, и теперь его спрашивают: «А сам-то ты какой, что ты собой представляешь?»

В этом-то и состоит проблема: можете вы быть только актерами или способны что-то сделать самостоятельно?



Андрей НУЙКИН

РЕКВИЕМ ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ

Истерические оптимисты

«Мы — исторические оптимисты», — провозгласил в начале перестройки лидер межрегионалов Юрий Афанасьев. «Нас можно убить, но заставить замолчать уже нельзя!» — объявил в то же время на собрании интеллигенции еще один выдающийся демократ Г.Попов. Гордые, мужественные слова настоящих мужчин, пришедших в политику всерьез и надолго. Как мы ими гордились, как готовы были пойти за ними на любые баррикады! И пришли в 91-м. И гордились, аж до 93-го! А потом?.. Ау? Где вы наши лидеры, закаленные бойцы за свободу и демократию, знаменосцы и прорабы перестройки? Дайте ответ. Не дают ответа... Огорчила вождей жизнь, разочаровала, разбросала черт-те по каким закоулкам планеты и социальным «нишам».

«Началась рукопашная, где победителей не предвиделось. Перебрасываться комками грязи со своими обидчиками в условиях парализованного судопроизводства смысла

не было. Мне до сих пор кажется, что я сделал хорошее дело и ушел вовремя — в отличие от многих верховодов перестройки», — объяснил причины переселения с наших баррикад в далекий тихий край, где судопроизводство не парализовано, еще один из наших кумиров Виталий Коротич (как видим, комок грязи даже через океан вполне можно добросить до обидчиков).

Лидер перестройки в Союзе писателей Евгений Евтушенко, видимо, опасаясь, что перестройка может плавно перейти в перестрелку, тоже отгородился от нее безднами Атлантики и много лет уже обслуживает там ностальгию эмигрантов и любознательность славистов. Но родину все же совсем не забыл, наезжает время от времени, чтобы облить показательным презрением тех своих коллег, которые не сбежали на заработки и продолжают худо-бедно, но тянуть бурлацкую лямку, извините за выражение, демократизации.

Юрий Афанасьев ушел в освоение богатого наследства Высшей партийной школы ЦК КПСС (в виде роскошного комплекса зданий) и периодически скорбит в своих интервью о том, что еще во времена Горбачева не перешел в жесткую оппозицию к «псевдodemократической» власти. Какую власть он начал бы этим поддерживать — «большой, большой секрет». А может быть, в оппозицию ему хочется для того, чтобы подкрепить авторитет Плеве, считавшего главной чертой интеллигенции стремление с восторгом дискредитировать любое правительство, любую власть? Или чтобы на своем примере проиллюстрировать мысль писателя А.Мелихова, усматривающего в этом проявление «еще более глубинного стремления — стремления чувствовать себя безупречным при почти полном безразличии, во что эта безупречность обойдется другим».

«Верховодов перестройки» в нынешних структурах власти практически не осталось. «Убивать» их для этого не потребовалось, и «замолчать» их тоже никто не заставлял. Порой так и хочется добавить: к сожалению. Одно дело ведь когда в пессимизм вгоняют, Горбачева с Ельциным матерят, злобствуют и хнычут оголтелые враги реформ, а совсем другое, когда этим занимаются закоперщики рыночных и демократических преобразований. Уж если сами они вспух призна-

ют вредность своих действий и ошибочность своих мечтаний, то что же остается делать тем людям, которые доверчиво пошли в свое время вслед за ними? Даже рядового дезертира в ходе боя принято расстреливать перед строем. А чего заслуживает в таком случае сбежавший с поля боя политрук?! Но, может быть, ситуация действительно настолько безнадежна, что честному лидеру ничего другого не остается, как, издав клич «Спасайся, кто может!», спрятаться в кустах или пустить пулю в висок?

Безнадега?

Что и говорить, чтобы нормальному человеку не впасть в черную меланхолию от всего происходящего в стране, нужно быть или слепым или блаженным. Начнем с географии. Той страны, которую все мы считали своей родиной — СССР, — у нас больше нет. И забавная история — «порабощенные и нещадно эксплуатируемые» Россией народы бывшей Российской империи вышли из лап «оккупантов» отнюдь не в тех границах, в которых их страны (кто насильственно, а кто и вполне добровольно) когда-то в нее были включены. Тундру, правда, России оставили целиком, но плодородные черноземы и побережья морей обкорнали чуть ли не на половину. Даже крохотная Чечня сумела отвоевать два исконно казачьих района и явно не собирается их возвращать даже в отдаленном будущем. Так что живем мы даже уже и не в России. Превратилась она, горемычная, в (как выразился Максим Соколов) «малопонятное нечто» без герба, гимна и границ. По случаю чего, надо полагать, мы и празднуем радостно каждый год День независимости.

Ну и как же выглядит это освободившееся от Закавказья, Средней Азии, Прибалтики и Украины с Белоруссией «малопонятное нечто» на сегодняшний день изнутри? Замахиваться на системный анализ не будем, ограничимся отдельными мазками. А также «свидетельствами очевидцев», призвав слабонервных и беременных перелистнуть пару страниц, не читая. Итак...

Газетные заголовки после «разгрома» путча 1991 г.: «Путч окончен, пособники путча у власти», «Пучьте даль-

ше, господа!», «Победил ГКЧП?», «Коммунисты за сутки переродились в демократов»... Не этот ли последний заголовок стал основанием для всемирного убеждения, что в России демократы «пришли к власти»? А ведь во всех аппаратах (и ветвях) власти с тех пор до наших дней сидят постсоветские... как бы это определить?... не то гибриды, не то мутанты, крестятся левой рукой и твердят о близкой победе теперь уже совсем другого «светлого будущего». В новых справочниках областных администраций 1993 и 1994 гг. — сплошь и рядом те же имена, что и в справочниках 1990 г.» (политолог Г.Костин). С тех пор справочники частично изменились, пополнившись именами дочек, зятьев и племянников тех, кто значился в справочниках 1990 г. Это о кадрах. А вот о том, чего они добились.

«Во многих отношениях, — пишет «Вашингтон пост», — Россия вернулась к недобрым старым дням 1991-1992 гг. Но в 1991-1992 гг. многие по крайней мере верили, что жизнь вскоре улучшится. Теперь такой надежды нет почти ни у кого». «Всего восемь лет назад Россия производила в три раза больше кур, чем сейчас. То же самое относится к большинству других продуктов — от сахара до мыла, от рубашек до обуви, от холодильников до бритвенных лезвий. С 1990 года общий объем производства сократился наполовину...»

«Россия — зона криминального бедствия. В России ежегодно совершается около десяти миллионов преступлений. Официально регистрируется лишь каждое четвертое. По данным ФСБ, регистрируется лишь каждый 26-й эпизод взятки» (депутат В.Лопатин). «Союз преступников и чиновников угрожает национальной безопасности» (Юрий Батурин). Это о криминальной ситуации.

«В Москве из 27 уголовных дел, возбужденных налоговой полицией (а она мелочами сегодня не занимается), до суда в 1994 году дошло лишь одно». Так преступников ловят.

Знакомый член коллегии адвокатов признался мне однажды, что «на каждый тип судебного приговора у нас выработана четкая такса, а адвокаты превратились в инструмент для передачи взяток от обвиняемых к судьям». Так их судят! Один из исполнявших обязанности генпроку-

рора на встрече с писателями признался: «Мы хотели получить независимый суд, а получили бесконтрольный». Не устраивают вас судьи-взяточники? Что ж, как положено при демократии, на знамени которой написано: «Судьи независимы и подчиняются только закону» — обращайтесь с жалобой в суд. Лучше через адвоката. Он таксу знает.

«Из 149 полков, имеющих в составе наших сухопутных войск, полностью укомплектованы и пригодны для выполнения боевых задач только 23... Доля современных образцов вооружения не превышает 20-30%. Сегодня лишённые аккумуляторов 72 тысячи танков не тронутся с места никогда. Запасами топлива войска обеспечены всего на 25%. На полученные от правительства средства армия сумеет сегодня одеть с головы до ног только каждого третьего защитника неласковой Родины. Но при условии, что он имеет собственное нижнее бельё». Такова наша обороноспособность.

Пожалуй, на этом лучше притормозить, а то данная «очернительская» глава рискует разрастись до бесконечности. Плакать на тему «до чего довели страну демократы» (которые, как мы видели, к власти так и не приходили) — занятие почти столь же противное и бесполезное, как и нытьё по поводу преступлений коммунистов. Не захотели устроить им свой Нюрнберг — ну и заткнитесь, не будьте смешными. Я в этой главе к мрачной статистике обратился только из чувства справедливости к «прорабам перестройки». Хотелось показать, что у них было вполне достаточно оснований для того, чтобы «во всем разочароваться», обидеться на не понявшее всей глубины благородства их душ человечество и рассредоточиться по всякого рода фазендам, чтобы в тиши и тепле сочинять мемуары под названием «Как нас коварный Ельцин обманул».

О глупых пчелах и умном Явлинском

Григорий Явлинский, сумевший соорудить вышеописанную фазенду прямо в здании государственной думы, судя по фундаментальности обобщений и отшлифованности формулировок, свой мемуар уже явно завершает: «Благодаря

Ельцину коммунистическое движение в России обрело вторую жизнь, сумело неимоверно возрасти количественно и сформироваться организационно»... «Не сумев создать стабильной политической и законодательной системы, Ельцин...», «Процесс феодализации России — целиком на совести президента»... «Личную ответственность за развитие страны в этом направлении несёт Борис Ельцин»... И все это богатство уместено в небольшую газетную статью! За сколько же упущений будет поставлено на вид президенту в нескольких томах мемуаров Явлинского, которые, видимо, будут названы «Мы пахали!»

Низкий жизненный уровень в России вынуждает ее жителей искать развлечения, которые не требовали бы больших денежных расходов. И самым популярным в этих условиях естественно стало ритмическое чередование очарований и разочарований, веры и скепсиса, восторга и негодования. По поводу одного и того же события, одного и того же политика, почти в одно и то же время. На Ельцина эти контрастные души народной любо-ненависти обрушены были в полном объеме. Боже, как ему поначалу смотрели в рот! С верой, надеждой и даже временами — любовью. Разумеется, весьма требовательной, типа: «А ну-ка, президент, быстренько организуй нам, чтобы было красиво!» Ельцин в общем-то старался, но красиво все как-то не получалось. Да и трудно делать красиво в одиночку, ведь только для того, чтобы все загаженные подъезды (их по стране, наверное, миллионы) в порядок привести — никакого долголетия не хватит! Не худо бы и населению изредка веник в руки брать, но «верить» безусловно и приятнее, и интереснее, чем полы мести. В итоге россияне начали переставать верить и надеяться, а тем паче — любить. Наиболее же нетерпеливые даже гневаться начали. Мы, говорили они, на трех митингах в его поддержку по три раза лозунги выкрикнули, мы за него бюллетень в урну опустить не поленились. В воскресенье, между прочим, — в наш законный выходной! А он нам, понимаешь, до сих пор красиво не сделал! Вот выберем в следующий раз президентом Бабурина с усиками или Памфилову с бантиком, тогда узнает Ельцин, как чаяния народа игнорировать!..

Вообще-то говоря, взялся за гуж — не говори, что не дюж, назвался груздем — полезай в кузов, а тем паче: вызвался быть поводырем — веди! Ельцин и не отказывался, да вот беда! Являясь чуть ли не десять лет уже самым выдающимся из тех, что есть, политиком-прагматиком, душой и мотором (другие-то не тянут!) антитоталитарных преобразований, теоретиком и идеологом демократических реформ он стать не смог. И не мог по всей совокупности своих интеллектуальных и идеологических качеств. Тем более, что в условиях уникальной российской ситуации, не укладывающейся ни в одну из опробованных миром схем разрешения социальных проблем, для этого требовался ведь не просто грамотный экономист и философ, но выдающийся экономист, выдающийся идеолог.

Ведь, как тонко подметил еще Маркс, человек, не пчела! Та строит свои соты инстинктивно, автоматически. Человеку же, оказывается, необходимо для созидания иметь какой-никакой, но план, проект, то есть хотя бы в самом общем виде понимать, что именно он собирается построить: землянку или дворец? Пионерский лагерь или концентрационный? Иначе можно только стройматериалы извести. Не хотелось бы обижать отцов русской демократии (делали, что могли, кто мог лучше — почему-то не делал), но и Горбачев, и Ельцин в своих попытках привести страну к рынку и демократии все-таки больше походили на пчел. Притом таких, которые взялись не соты лепить, а птичье гнездо вить. В итоге и получилось это самое нечто, в чем ни пчелам мед не отложить, ни птицам птенцов не высидеть.

Речь Ельцина о переводе экономики на рыночные рельсы россияне слушали в суровом молчании, как когда-то 22 июня 1941 года слушали речь Молотова. В широчайших слоях населения, по моим впечатлениям, она ни жарких споров не вызвала, ни волны энтузиазма, ни горестных стенаний, хотя не могли уж совсем-то не понимать эти самые «слои», что стоит за игривым словосочетанием «либерализация цен». Страшно, горько, но... что тут поделаешь? Война! Наша бывшая преступная власть, не взяв в августе баррикады реформаторов штурмом, сделала ставку на осаду, перешла к партизанским диверсиям в тылах, пробует истребить младенца демократии голодом. Надо

перетерпеть, надо выстоять! И в суровом молчании мы готовились без ропота принять ужасы осады, не впадать в панику от залпов жестких рыночных декретов, взрывов цен, пожаров инфляции, похоронок банкротств...

А либеральные газеты в барабаны даже забили: «Указы Ельцина ведут Россию к рынку»... «Десять декретов, которые потрясли мир»... Это из заголовков статей за 18 - 19 ноября о пакете указов, повернувших, как нам казалось, стрелку на путях России к свободной рыночной экономике, которая, как известно, есть гарант демократии и процветания. Мы ко многому были готовы в конце 1991 г., очень ко многому, только не к тому, что нам вдруг скажут: «Вас, глупые, разыграли! Это было вовсе не начало войны, а шутка, разминка перед финальными состязаниями клуба веселых и находчивых!»

Прямо-то нам этого не сказали до сих пор, но... Какое именно гнездо мы свили в итоге своих героических усилий и приносимых каждодневно жертв, конспективно мы обрисовали в предыдущей главе. И что? Горбачева с Ельциным теперь должно всей страной камнями забрасывать? Не умеешь — не берись! Не знаешь, куда вести слепых, не лезь в поводыри! Ну, а дальше-то что? Со страной разоренной что делать? С жизнями нашими неустроенными, никому не нужными, но единственными? Разумности самой жизни довериться? Поплыть по течению: авось куда-нибудь вынесет? На народ положиться, который «мудрее всех высоколобых экономистов и сладкоголовых идеологов»? Но мы не пчелы, и за годы советской власти народ наш, увы, все здоровые инстинкты утратил и на воле жить напрочь отвык.

Слепой ведет слепого

Все врут календари!.. Словари — тоже. Взгляните, как в «Толковом» и в энциклопедиях трактуется слово «народ». Оказывается, это «население, объединенное принадлежностью к одному государству, жители страны». Или: народ — это «то же, что нация, национальность»... При этом оказывается, и в том, и в другом случае «в состав народа не

входят господствующие, эксплуататорские группы»... Заметьте, не о бытовом употреблении слова идет речь (тут черт-те в каких смыслах оно употребляется!), а в научном, философски выверенном. И смех и грех. Так ведь можно кошку охарактеризовать как совокупность лап, хвоста и ушей (только непременно без мозгов). Или — как конгломерат клеток. Или как определенную сумму химических элементов. Все будет соответствовать действительности, но только вот при этом исчезнет разница между живой кошкой и ее трупом.

Народ не скопление людей на территории, а живой, имеющий исторические корни, неповторимое лицо, свою структуру, систему взаимодействующих органов, способный к самоорганизации и саморазвитию организм. И, как все живое, он может рождаться, умирать, быть больным и здоровым, прогрессировать и деградировать. В начале века народ России представлял из себя живой и жизнеспособный, притом прогрессирующий организм. Но сегодня мы живем в больной, очень больной стране. И разумеется, не реформы, не Ельцин ее до этого довели. Как констатирует А.Н.Яковлев: «Взять нынешнее столетие. Все в ухабах. Первые 20 лет — три войны, три революции. Ну какая нация это выдержит? 60 миллионов погибших в этом веке! 13 миллионов — гражданская война, 15 миллионов — Сталин, 30 миллионов — Отечественная война... Кто может такое выдержать? Это значит выбит генофонд, деформирована психология, каждый враг другому. Ненависть так и пышет...»

А главное — народ наш за 70 лет, в течение которых по нему каталось «красное колесо», уничтожая структуры самоорганизации его: классы, сословия «прослойки», элиту, — превратился в аморфное, послушное политикам и идеологам «народонаселение», в «трудящиеся массы», не осознающие своих интересов, не способные их отстаивать, с дурацким энтузиазмом готовые устремляться под любые кровавые расцветки знамена: хоть Сталина, хоть Жириновского или Анпилова. При подобной запущенности болезни на самоизлечение и на «пчелиные» инстинкты народа надеяться рискованно. Требуется сугубо человеческая модель поведения, т.е. отчетливое понимание, где мы находимся, куда должны прийти и какие именно пути ве-

дут к этой цели. А стало быть, на теоретиков и идеологов, на вождей и лидеров, на политиков и элиту в наших условиях ложится двойная и тройная ответственность. Без определенного плана, стратегического проекта, без воодушевляющих магистральных идей и концентрации воли реформирования России неизбежно сорвется. «Веймарский период», как аргументировано предсказывает А. Янов, завершится приходом к фашистской диктатуре, а это уже верная «гусарская рулетка» и для всего человечества.

Кто в состоянии внести в стихийные процессы, кипящие в России, это самое «сознание», кому может народ поручить роль Моисея, коль скоро сам он куда идти — не знает? Ельцин? Тут мы оказываемся в ситуации, когда слепой ведет слепого. Как сформулировал это А.Гельман: «С одной стороны, ничего не понимающий в демократии, не знающий, как строить новую жизнь, народ, с другой — точно так же ничего не понимающий в демократии и тоже не знающий, как строить новую жизнь, Ельцин». Можно его стыдить за это, можно проклинать, как делает Явлинский, но ничего от этого не изменится. Да и почему бы не взять и не объяснить этому беспонятливому Ельцину, что и как надо делать? У нас ведь в политике каждый второй уверен, что в состоянии взвалить на себя ношу лидера нации! Почему-то, правда, каждый раз, когда кому-то удастся повести за собой людей, он оказывается не Моисеем, а «козлом-провокатором», которых держат при боянях, чтобы они заводили в убойные цеха очередные порции доверчивых козочек и баранов.

Партии — это близнецы-братья!

Право слово, когда вглядываешься в деятельность наших «политических партий», сравнение с «козлами-провокаторами» перестает представляться чересчур фантастичным. Кто, как не они, должны были вырабатывать модель будущего, к которой народу стоит стремиться? Кто должен разрабатывать программы ее осуществления, организовывать силы, обеспечивающие их реальность?.. На первый взгляд, вроде бы, именно этим наши партии и занимались все

время, но... Но стоит любой из них оказаться если уж не у власти, а хотя бы при власти, т.е. получить возможность начать воплощать в жизнь свои заветные мечты, как мечты эти оборачиваются то примитивным отпуском цен, то дефолтом, то обанкрочиванием целых отраслей экономики. И каждый раз обязательно — беззастенчивым ограблением населения, выдаваемым, разумеется, за «пусть тяжелый, но необходимый шаг к рынку и грядущему изобилию».

Столь удручающее однообразие результатов наводит на подозрение, что так называемый «политический плюрализм» как одно из главных достижений нашей демократии — не больше, чем фикция, имитация яростного состязания идеологических принципов, стратегических программ и радикальных идей при их полном фактическом однообразии на базе безнадежной реформаторской импотентности, увы. И все «непримиримые» бои наших фракций, партий и блоков, доходящие до плескания в лицо безалкогольными напитками и таскания дам за космы, — суть ссоры сугубо внутрисемейные, естественно возникающие из-за желаний каждого отхватить от общего праздничного пирога кусок пожирнее и послаще. А столь «непохожие» и даже «уникальные» фракционные и партийные программы, манифесты и декларации — сплошной декор, камуфляж и макияж для тех лопухов, которые к дележу не допущены. Посмотрите, сколь легко и органично «левые радикалы» Подберезкина и Лапшина вписались в блок якобы демократов-центристов Лужкова с Шаймиевым. А с каким трудом выбирала наша самая разборчивая из невест, Примаков, какой из блоков осчастливить своей благосклонностью? Буквально все его пытались совратить! И что самое пикантное — чуть не все ему в принципе годились (как и он для всех): от Гайдара до Зюганова!

И со Степашиным похожий сюжет повторился. Газеты взволнованно раскладывали пасьянс за пасьянсом, норовя угадать: на чем сердце успокоится? И никем не высказывалось ни малейшего сомнения насчет взглядов и убеждений, которые могли бы ведь и не совпасть! Отгадка грустная: партии наши — никакие еще не партии! КПРФ — «уже» не партия (с 1918 г.!), остальные «еще» не партии, а лишь

политические клубы для возгонки лидеров и вхождения во власть той или иной кучки политиков. Уставы же их, программы, декларации и меморандумы сочиняются лишь для отвода глаз, для рекламного надувательства и не для чего больше. Поварившись два срока в Думе, лидер фракции НДР В.Рыжков осознал это в полной мере: «Борьба за власть, внешне демократическая и цивилизованная, на самом деле не что иное, как драка за право делить собственность, вывозить капитал, разворовывать страну». Очень правильные слова, но мне вспоминается наш разговор вскоре после его прихода к руководству фракцией о том, что у НДР нет совершенно никакой идеологии, никакой целостной программы по реформированию страны, а есть лишь разрозненные и противоречивые «позиции» по текущим вопросам политической кухни. Поэтому, если хотите стать действительно партией, необходимо собрать группу умных, масштабно мыслящих теоретиков, идеологов и попробовать хоть как-то закрыть эту брешь!

— Да-да, непременно, — рассеянно ответил Володя, отыскивая за моей спиной кого-то необходимого для решения более насущных вопросов. Так и остался Наш Дом не больше, чем группой поддержки. Сначала премьера, теперь, видимо, Газпрома.

Ну, а страстное стремление всех губернаторов и влиятельных чиновников слиться в экстазе в виртуальном пространстве всеобъемлющего избирательного блока, чтобы взять под контроль уже не только Совет Федерации, но и Думу, напоминает анекдотический сюжет о заводе, руководство которого никак не может понять, почему так получается, что, какую бы продукцию они ни запустили в производство, у них обязательно получается пулемет? Увы, какие бы партии ни придумывала наша номенклатура, в конечном счете у них всегда получается «почему-то» КПСС! Может быть, потому, что в партиях иного типа их совершенно не устраивает «пущенный на самотек» процесс голосования? Непозволительно же мириться с такой анархией, когда каждый избиратель голосует, как ему в голову взбредет! Лужков с Шаймиевым в своих вотчинах давно уже изжили этот порок демократии, теперь вот возникает

возможность этот передовой опыт распространить через партнеров по блоку на всю Россию. Помилуйте! Но разве наша свободная и неподкупная демократическая пресса позволит такое, разве она не возвысит свой гневный голос, разве она не... Успокойтесь. И «позволит», и не «возвысит». Точно так же, как она и «позволила» и ничего не «возвысила» во время последних выборов в Москве и в Татарстане. Фальсификации, о которых рассказывали на нескольких пресс-конференциях члены блока Николая Гончара журналистам, помнится, куда меньше взволновали их (судя по полному дальнейшему молчанию), чем вопрос: удастся ли собачке Клинтон помириться с его кошечкой? А лозунг «Сделали в Москве — сделаем в России!» уже внедрен в сознание и пользуется большой популярностью у населения от могилы Канта до речки Паратунки. Все более и более привычной в российском обиходе становится констатация того, что наши СМИ, освободившись от цензуры КПСС, угодили под еще более непробиваемую цензуру денежного мешка и местного административного бонзы, а рядовому читателю, слушателю и зрителю несравненно труднее в условиях «плюралистической» какофонии разобраться, когда журналист нагло врет, а когда героически отстаивает правду. Да и теряются они, эти правдолюбцы, растворяясь в общей массе более шумной и эффектной оравы журналистов «новой волны», которые наперебой, как на ярмарке, норовят перехватить внимание обывателя, изобретательно и необременительно для мозгов «огорошивая» его и развлекая всякими сенсациями, ужасами, чертовщиной, сексом и прочей «развлекаловкой». Серьезная же, проблемная, аналитическая журналистика стремительно вытесняется, особенно со страниц массовых изданий и сетки телерадиопрограмм. Якобы за неостребованностью со стороны населения. Граждане демократических стран вправе ведь читать, смотреть и слушать только то, что им нравится.

Гласность, вопиющая в пустыне

Рекомендуя книгу Александра Янова «После Ельцина», Ирина Хакамада не скрывает своих восторгов: «Все необходимое, чтобы стать запалом для интеллектуального взрыва, в книге есть. Тема хватает за живое: куда мы идем, какие времена ждут нас за сегодняшним шатким безвременьем. Информационная насыщенность, богатство фактуры — настоящий пир для любознательного ума. И в придачу — яркий полемический темперамент автора, хорошо знающего, как разбудить даже вялую, дремлющую мысль...» Автор книги надеется, что ее издание «откроет широкую дискуссию о путях России, способную повлиять на ее будущее», но Хакамада не исключает, что она, увы, «никого не всколыхнув, осядет в груди издательских неликвидов — невостребованной, непонятой, непрочитанной». Вышла книга в 1995 г. Узнал я о ней буквально только что. От самого Янова. Хотя с 1985 г., отложив «труд жизни» — почти законченные два тома по эстетике — пишу и пишу, в частности, и по тем проблемам, о которых идет речь в «После Ельцина» (о чем сам Янов, внимательно, вроде бы, следящий за нашей периодикой, тоже не подозревал). А некоторыми из своих публикаций я тоже самонадеянно рассчитывал вызвать «широкую дискуссию». Да и сама Хакамада, так упорно доказывающая все последние годы важность для развития конкурентного, демократического рынка малого и среднего бизнеса, разве не надеялась вызвать широкий интерес и горячие споры? Увы...

Был период, когда я думал, что это мне одному так не везет, только я не нахожу слов, чтобы «разбудить вялую, дремлющую мысль» граждан России, трудолюбиво разжигающих свои примусы на гигантской пороховой бочке...

«Ну, нет у Ельцина радикального плана преобразования социалистической, тоталитарной страны в капиталистическую и демократическую, — восклицал я когда-то со страниц «Известий», — не знает он, как это сделать, что тут поделаешь! Но где, спрашивается, все эти годы была огромная орава наших профессиональных экономистов, идеологов, политологов, психологов, культурологов и прочих

«гов»? Чем они все эти годы занимались?» С оравы снимать обвинения нет ни малейших оснований. Она заслужила еще более резких квалификаций. В это почти невозможно поверить, но, ведя уже десять лет невиданные по всей глубине, уникальности и ответственности перед миром преобразования в стране, наша интеллектуальная элита не инициировала ни одной(!) полномасштабной всенародной дискуссии о путях перехода от социализма к капитализму, от тоталитаризма к демократии, от монополю-государственной и плановой экономики к частнособственнической и рыночной (так, чтобы обсуждались не отдельно выхваченные «панацеи» и «рокировки», а все экономические, политические, правовые и идеологические реалии в их системе и динамике)!

Тем не менее становится все более очевидным, что не один Янов пытался за эти годы открыть «широкую дискуссию» в надежде на «интеллектуальный взрыв». Однако получается, что каждый раз то, что предлагали такие кустарно-одиночки обществу, так и оставалось «невостребованным, непонятым, непрочитанным». Увы.

«Лучше бы все осталось, как в 1985 году!»

Я тоже не раз таким себя ощутил. Особенно огорчительной была попытка достучаться до общественного сознания по поводу во многом ключевой для успеха или провала реформ проблемы соотношения цен и покупательной способности населения. О механизмах ценообразования мне приходилось не раз писать и до начала гайдаровских реформ. Это, наверное, и позволило уже в 1991 году осознать, что простой отпуск цен на свободу и открытие границ для иностранных товаров приведут отечественное производство к неизбежному краху. Прилавки, конечно, молниеносно заполнятся товарами и продуктами (если достаточно валюты платить за них по мировым ценам, страну могут завалить товарами хоть в три слоя, в мире их всегда переизбыток), но выдержит ли мировые цены российский покупатель с его убогими по мировым нормам зарплатами? Да и производитель наш выдержит

ли такую конкуренцию при нашей производительности, наших технологиях, бесхозяйственности и тотальном воровстве? Даже при фантастически низкой цене на рабочую силу. А отсюда — развал, свертывание, банкротства, безработица, еще большее падение покупательной способности при невозможности уже слезть с «иглы» мировых цен. Да и опыт США, которые выбрались из Великой депрессии, только найдя пути обуздания жадности монополистов (за монополю-взвинчивание цен можно было угодить на много лет за решетку) и поднятия покупательной способности населения (установлением высокого по тем временам минимального уровня оплаты труда) давал, вроде бы, хороший урок нашим реформаторам. Именно быстрый рост покупательной способности населения создал тогда в США емкий внутренний рынок, что и потянуло за собой взлет производства. Увы, гайдаровская «терапия» повела нас в прямо противоположную сторону. Монополиям нашим была предоставлена полная свобода и в области цен, и в области зарплат. В итоге — за пять первых лет реформ цены увеличились в 4350 раз, а зарплаты — всего в 1200. Если же вспомнить, что в первый же год были конфискованы почти все денежные сбережения населения, то ясно и ежу, какой «рынок» могло обеспечить население, получающее за труд в 20-30 раз меньше, чем оплачивается аналогичный труд, допустим, в США, и вынужденное при этом платить за все про все по ценам, в полтора-два раза превышающим мировые. Распадающееся производство оказалось способным породить кризис перепроизводства. Но такое «перепроизводство» радости не несет. Ведь подобные кризисы не означают ситуацию, когда все объелись и больше не хотят, они означают: брюхо подвело, хлеба кругом — навалом, а купить не на что. Огромные неплатежи, гуляющие по России, — плод именно данной ситуации. И массы невыплаченных зарплат (работающим людям!) — тоже. Трудящиеся наши в растерянности и гневе: мы же работали, а нам не платят! Но чтобы получить за товар (услугу) плату, мало их произвести, их надо продать! А для этого мало просто спроса, нужен платежеспособный спрос! Иначе товар производителю остается только

выкидывать или дарить, но тогда его предприятие само становится неплатежеспособным, обостряя кризис перепроизводства. Наши реформаторы о кризисе перепроизводства стараются молчать, чтобы не пришло осознание: дальше обирать население это и есть самое главное преступление, неотвратимо ведущее не только к обнищанию населения, но и к краху всей экономики, а значит — и реформ. Когда все почти производство в стране становится нерентабельным, даже при почти что бесплатном труде, никакие податки МВФ спасти его не смогут (впрочем, в его цели это и не входит).

Я не могу тут изложить всю сумму соображений, вложенных в добрых полтора десятка статей на эту тему. Хочется только подчеркнуть безусловную жизненную важность самой этой проблемы для судеб рыночной экономики. Но... ни на одну из них не последовало ни малейшей реакции — никто ни поддерживал, никто ни возражал, никто ни предлагал своих решений. Впечатление такое, будто ты кричишь людям о смертельной опасности откуда-то из-под воды. Они смотрят, видят, что ты шевелишь губами, пожимают плечами и отходят, мирно беседуя. Год назад нам подарили еще один плановый кризис. Господи! У комментаторов многих прямо-таки радость в голосе. Тяжело-де, но кризис оздоровит отечественное производство! Передаст ему внутренний рынок. Действительно, импорт упал вдвое. Из патриотизма люди перестали покупать зарубежное? Смех и грех. Доллар стал дороже раза в четыре, цены на все (отечественное — тоже) подскочили вдвое, сбережения, накопившиеся после предыдущего ограбления, у большинства сгорели, а пенсии и зарплаты намертво заморожены. Уже больше года. Вот и все «оздоровление»! Считайте, что почти у всех жителей России начали каждый месяц силой отбирать половину их доходов в «фонд реанимации отечественного производства»... Жители привыкли к ограблениям и данное переносят безропотно, но ведь не поможет же! Ну, поторгуют наши производители какое-то время без зарубежной конкуренции по сверхмировым ценам (львиную долю которых, кстати, прикарманят «посредники»). Разбогатеют? Так ведь и им за все, что требуется для производства и сбыта по таким же ценам

приходится платить! Покупательный же спрос населения, на котором и замыкается любое производство, в очередной раз вдвое сузился. Люди, как это было в войну, переходят на огородное натуральное хозяйство. Какой же взлет производства может произойти на столь «мощной» базе? Ну, а тем, у кого нет огородов, за что при этом получать зарплату? В пенсионный фонд откуда потекут деньги? На армию, образование и культуру откуда они возьмутся?

Стоит ли удивляться при таких (увы, даже не обсуждаемых!) процессах стремительному охлаждению людей к реформам и тому, что слово «демократ» стало в России уже ругательным? Если в 1994 г. на вопрос: «Было бы лучше, если бы всё в стране оставалось таким, как до 1985 года?» — утвердительно ответили 44% россиян, то в 1999 г. — уже 58%. «Референдум» об отношении к рынку и демократии уже, как видим, пошел не в их пользу. И стоит прийти к власти — легально, «демократически», как это было в Германии в начале тридцатых, или в итоге третьего путча — народ на баррикады может уже не пойти. И винить в этом надо будет не народ, а реформаторов, демократов, которые бездарно упустили шанс, предоставленный историей им и России. Народ же... Даже такой апологет рыночной экономики, как А.Розентал, глядя из Америки на наш базар, признался: «Если бы мне платили зарплату в 10 центов, а гамбургер стоил 10 долларов, это и меня заставило бы усомниться в достоинствах свободного рынка».

(О реальности такого поворота событий и о том, чем это грозит России и миру, читайте продолжение статьи в следующем номере.)

В. Александровский

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ГАМБИТ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Чтобы сохраниться, президенту, как воздух, нужны анархия и чрезвычайное положение

Черная лошадка

Как мы все помним, в начале августа президент Ельцин снял со своего поста премьера Сергея Степашина, занимавшего эту должность 80 дней, и назначил на его место мало известного в стране директора ФСБ Владимира Путина. Никаких прегрешений за Степашиным не числилось, напротив, он с первых же дней энергично взялся за дело, что, по-видимому, и объясняло стремительный рост его популярности. Тем не менее безо всяких объяснений и абсолютно неожиданно для него он был уволен. Похоже, это было не менее неожиданно и для Путина, который стал четвертым премьером, назначаемым Ельциным в 1999 году.

Нельзя сказать, что этот шаг Ельцина вызвал сенсацию среди населения, по-видимому, уже привыкшего к разного рода демаршам президента — вначале Кириенко, затем Евгений Примаков, после него почему-то министр внутренних дел Степашин, которого сменяет глава другого силового ведомства, однако куда менее авторитетный в стране Владимир Путин, «Какая разница, один или другой, жизнь-то лучше не станет, а раз эта чехарда так нравится нашему президенту, пусть себе развлекается, все равно недолго ему осталось!» Так или примерно так рассуждал человек с улицы, так же, по-видимому, рассуждала в своем большинстве Госдума, которая без особых колебаний

проголосовала за нового премьера, являвшегося, впрочем, как и Степашин, для нее черной лошадкой, от которой во время президентских выборов можно будет ожидать чего угодно. Да только эта «лошадка» чем-то не потрафила президенту.

Но, если бы дело ограничилось очередной сменой премьеров, этот демарш президента вряд ли вызвал бы в политических кругах страны сколь-нибудь острую реакцию. Однако, приводя к власти Путина, Президент сделал в некотором смысле странное заявление, а именно, что он считает необходимым, чтобы Владимир Путин стал его будущим преемником, ибо именно он больше, чем кто-нибудь другой, обладает качествами, необходимыми будущему президенту. Подобным выдвижением и прозвучавшей из уст Ельцина характеристикой, как считают в политических кругах Москвы, он наглухо перекрыл новому премьеру путь к президентской власти.

В самом деле, при том, что Ельцин заслужил среди россиян всеобщую неприязнь и презрение, при том, что рейтинг его популярности составляет лишь пять процентов, при том, что большинство граждан спит и видит, чтобы быстрее пришел день, когда президент уйдет, можно ли представить, что население захочет доверить страну его преемнику, который и известен лишь тем, что служил в ненавистных народу органах? Но, если это понимали многие, в том числе большинство политических деятелей, то возникает вопрос: неужели этого не понимал сам Ельцин, а если понимал, то почему же на этот шаг пошел? И это при его политическом опыте и признаваемом всеми изощренным таланте к политическим интригам и комбинациям, помогающим ему уже многие годы сохранять за собой верховную власть в стране. И что же? Незадолго перед президентскими выборами он вдруг становится так наивен? Уверенный в то, что ему удастся протащить на президентскую должность своего человека, который будет верой и правдой ему служить до последнего вздоха.

Я чувствую, что перехожу из области реалий в область политических гипотез, связанных с будущими выборами

президента, который, играя свою шахматную партию, вряд ли собирается спокойно, в обстановке идиллии покинуть свой пост и пополнить ряды российских пенсионеров, забивающих козла на московских бульварах. Ельцин не был бы Ельциным, если бы после всего, чего достиг в жизни, смирился с подобной перспективой.

Но чтобы продолжить наш анализ и, если угодно, коснуться некоторых прогнозов, мы снова должны вернуться к сегодняшним российским реалиям, к раскладу политических сил и формирующимся избирательным блокам. Правда, речь пока идет о декабрьских выборах в Думу, но как считают многие обозреватели, выборы в Думу наверняка станут генеральной репетицией будущих президентских гонок, которые во многом определяют облик будущей России. Как же выглядит сегодня предвыборная шахматная партия в России? Каковы перспективы, открывающиеся перед основными политическими блоками? Кто явится реальным кандидатом на пост президента? И удастся ли, наконец, населению России избавиться от Ельцина, впрочем, последний вопрос я бы переформулировал так: допустит ли Ельцин, захвативший все бразды правления, такое развитие событий, при которых он не сможет не позволить населению избавиться от самого себя.

Как передавалась власть в послеоктябрьской России?

Перед тем, как сосредоточиться на предвыборной шахматной доске, давайте обратимся к прошлому и остановимся на передаче власти в послеоктябрьской России. Западные наблюдатели, для которых давно стало традицией успокаивать себя оптимистическими прогнозами, приходят к выводу, что важным доказательством рождения демократической России является все чаще практикуемая в ней мирная передача власти от одного лидера к другому. Никаких серьезных доказательств в подтверждение этому не приводится, если не считать ссылок на мирный уход Горбачева и его смену Ельциным, первым российским президентом, избранным народом.

На самом деле пример этот мало о чем говорит. Как мы знаем, Ельцин фактически силой заставил Горбачева уйти, «сократив штатную единицу» президента Советского Союза. И сделано это было после того, как сам Советский Союз на заседании в Беловежской пуще самым что ни на есть антидемократическим способом был ликвидирован. Как вскоре стало известно, это была инициатива Ельцина, который всеми силами рвался к власти и для того, чтобы достичь поставленной цели, без всяких колебаний принес в жертву не только президента Горбачева, но и интересы народов советских республик, для которых ликвидация Союза обернулась подлинной трагедией.

Тут, пожалуй, время заметить, что единственная попытка мирной передачи власти за всю послеоктябрьскую историю была предпринята В. И. Лениным в его широко известном Завещании, которое он составил незадолго до смерти, будучи уже полностью прикованным к постели. Перебирая возможные кандидатуры своих преемников (среди которых были Троцкий, Бухарин, Сталин, Каменев и др.), он лишь одну из них отверг со всей решительностью — это была кандидатура Сталина, который по иронии судьбы как раз и пришел к власти, хотя правильнее было бы тут говорить не о иронии судьбы и не о совпадении многих случайностей, а о природе большевизма, о силе партийного аппарата, партийной бюрократии, которая в тогдашних условиях только и могла призвать к власти Сталина, психология и характер которого более всего соответствовали характеру и задачам большевиков.

Ограниченность мышления Запада, наверное, в том и состоит, что он далеко не всегда понимает сущность большевистской идеологии, считая, что достаточно объявить в той же России демократические свободы и установить по образцу западных стран определенные демократические институты типа Государственной Думы, достаточно осуществить приватизацию государственной собственности — и большевизм как система идеологии и мышления будет повержен как бы сам собой.

Российский опыт: большевизм плюс западная риторика

На самом деле мы еще раз убеждаемся, что это лишь род западной наивности, если угодно даже инфантильности, ибо большевизм на самом деле куда более глубокое, опасное и жизнеспособное явление, хоть, правда, и следует признать то, что способы передачи власти от одного лидера к другому являются важнейшим индикатором демократии и, в частности, российской демократии. Однако суть дела в том, насколько глубоко и верно оцениваются факты российской политической жизни. (Именно на этой ошибочной оценке основан вывод, что был осуществлен мирный переход власти от Горбачева к Ельцину.)

Трудно не согласиться с тем, что некоторые из сегодняшних правителей страны, считающие себя демократами и рыночниками, как и многие «новые русские», полагающие себя стопроцентными капиталистами, по своему стилю, психологии и методам ведения дел куда больше напоминают коммунистов-номенклатурщиков, чем предпринимателей в западном понимании этого слова. При этом представители российского «нового класса» могут принадлежать к демократическим или даже правым партиям, широко пользуясь их политической фразеологией.

В этом смысле вся дооктябрьская история российских правителей по своей сути остается большевистской историей. Вся она пронизана не мирными и демократическими, а, как правило, насильственными методами перехода власти, вся она пронизана закамуфлированным демократической фразеологией обманом народа (как это было с так называемыми ваучерами, ставшими формой неприкрытого грабежа населения), пронизана ложью и обманом во внешней и внутренней политике. При этом риторика правящих кругов и уже упомянутых новых русских играет в лучшем случае роль мимикрии, призванной скрыть от мира подлинную сущность нового режима.

Кто же такой Президент Ельцин?

Задайте этот вопрос любому из западных политиков, спросите просто, кем с их точки зрения является Борис Ельцин? Уверен, что девять десятых назовут его гарантом российской демократии, гарантом Конституции. В подтверждение будет приведена масса фактов, хотя на самом деле по своей психологии, по тому, как он ведет себя на президентском посту, как правит Россией, что он на самом деле делает и как это делает, он является блестящим примером закамуфлированного под демократию лидером большевистского типа. Что тут — перерождение всенародно избранного президента в законченного бюрократа (все помнят, как демонстративно, под гром восторженных оваций он бросил на стол свой партбилет)? Или перед нами просто закостеневший тип партийного номенклатурщика, который при всем старании так и не смог избавиться от своих большевистских генов? Впрочем, все это не так уж и важно. Как, кажется, не очень важно и то, что при «демократе» Ельцине существует Государственная Дума, относительная свобода печати и относительно свободные выборы. Как не очень важна и риторика Ельцина, когда он выступает, как рьяный и бескомпромиссный борец за свободно-рыночное хозяйство. Политическая трансформация личности, рождение у нее новой психологии — процесс необычайно сложный, противоречивый и неоднозначный. (Происшедшее с Ельциным, вероятно, можно понимать так, что он в своем необузданном честолюбии начал делать быструю партийную карьеру и дорос до секретаря Свердловского обкома партии. Затем приглашенный Горбачевым в Москву и чувствуя веяние времени, он круто меняет курс, настраивает свою психологию так сказать на «демократический камертон».) Можно идти к власти таким путем, а можно другим. Кто-то делал ставку на русский национализм, кто-то на военную диктатуру, а он, Ельцин, вознесшийся на волне перестройки, сделался демократом).

Я хорошо помню, как будучи секретарем московского горкома он разъезжал по городу, притом часто в трам-

ваях и собирая вокруг себя толпы людей, громил номенклатуру, как истый и последовательный демократ, и хоть, может, это прозвучит несколько странно, но он стал демократом «ситуационным», сохранив свою большевистскую непримиримость, готовность, если ему выгодно, к предательству, беспринципность при достижении цели, особенно на своем пути в верхние эшелоны власти. Да, он как будто в одном лице и Марат и Робеспьер, но только до поры до времени, ибо когда он получил всю полноту власти — сохранившийся в нем большевик, несмотря на его искрометные робеспьеровские речи, не только по-другому заговорил, но и по-другому, по-большевистски, стал действовать. Мы уже говорили о том, как, осуществив на высшем уровне «сокращение штатов» он избавился от своего главного политического соперника Горбачева. Вряд ли даже теоретически такое можно представить на Западе.

Ельцин больше других любит говорить о честных выборах, и кто знает, может быть, когда он говорит, он по своему искренен, может быть, он по сей день пребывает в уверенности, что в 1996 году одержал честную победу на президентских выборах, хотя обман избирателей уже тогда стал явно выраженным стилем его руководства. Или достаточно вспомнить, как один из членов избирательной команды Ельцина в предвыборные дни был задержан с миллионом долларов, предназначенных на прямой подкуп избирателей. Или история со свержением генерального прокурора Юрия Скуратова, который был изгнан со своего поста, после того как рискнул начать расследование злоупотреблений одного из членов семьи Ельцина. Или широко известный кровавый разгон Думы. В 17-м году большевики разогнали законно избранное народом Учредительное собрание — во всех учебниках истории это стало школьным примером большевистских методов и их отношения к демократии. А Ельцин не просто разогнал, он расстрелял законно избранный парламент, а московская пресса и после этого продолжала о нем говорить, как о законно правящем народном президенте. Однако этим не исчерпываются ни сегодняшняя

характеристика Ельцина и тем более возможные действия, которые можно от него ожидать в переломные моменты его жизни, каким, конечно же, является грозящая ему отставка. Именно в этой связи — что мы можем ждать от Ельцина на выборах? — нас и должна, прежде всего заинтересовать его сущность.

Заключение напрашивается само собой: основываясь на его стиле и методах, Ельцина можно назвать лидером скорее большевистского, нежели западного типа. В чем-то он даже перещеголял своих советских предшественников. Так, если мы попробуем провести сравнение между ними (например, Брежневым или Хрущевым) и Ельциным, то вряд ли кто-то из советских вождей обладал такой неограниченной личной властью, как Ельцин. Принято считать, что разваливающаяся российская экономика сегодня практически никем неуправляема — последнее верно в том смысле, что никакого рационального, продуманного руководства экономическими процессами в стране нет, однако это нисколько не сказывается на полноте личной власти Ельцина, который единолично, без каких-либо коллегиальных решений свергает премьер-министров, назначает реформы, принимает судьбоносные внутривластные и внешнеполитические решения.

Вряд кто-то из его предшественников и членов их семей жили в такой роскоши, в какой позволяет себе жить Ельцин. (По сообщению ряда источников, дочь президента Татьяна Дьяченко позволила себе истратить пять миллионов долларов на собственную виллу).

Коммунистические замашки Ельцина проявляются и в том, что он, как ни один руководитель до него, позволяет себе злоупотреблять своими конституционными правами, бесконтрольно тратит миллиарды долларов, в нарушение законов, через разного рода подставных лиц открывать за границей счета и противозаконно переводить на них миллиардные суммы. Ко всему прочему это еще и хронический алкоголик, плохо управляющий своими эмоциями и, вероятно, на почве алкоголизма в определенной степени уже тронутый маразмом.

Зачем президенту Владимир Путин!

Итак, что же все-таки толкнуло выживающего из ума диктатора к столь неожиданному назначению преемника на свой президентский престол? Притом никакого не крупного политического или государственного деятеля, а человека, обладающего совсем другими качествами: с одной стороны, беспредельной личной преданностью президенту, а с другой стороны, будучи директором ФСБ, его протеже может оказаться высшей степени нужным президенту ко времени его перевыборов.

Вряд ли следует распространяться о том, какими силами и возможностями располагал в свое время КГБ и его председатель, — факт общеизвестный. Можно представить себе, что и ФСБ, принявшая по наследству его функции, может оказаться ничуть не менее полезной престарелому президенту в его наполеоновских планах.

Погрузившись в сферу прогнозов и гипотез, я не льщу себя надеждой, что все, что выскажу ниже, явится истиной в высшей инстанции — слишком много слагаемых может оказаться в той многосложной игре, которая возгорится на президентских гонках 2000 года. К тому же куда как трудно представить и всю неожиданную толпу случайностей, появление которых может вызвать к жизни еще более неожиданные последствия.

Когда я пишу эти строки, в стране идет быстрое формирование противоборствующих политических блоков, у которых, как грибы после дождя, появляются все новые лидеры, провозглашающие перед избирателями свои будущие программы. Блоки создаются и на правом и на левом политических флангах, образован крупный центристский блок, в мощный кулак собираются левые и прокоммунистические силы. Во всю идет предвыборная пропаганда, политический климат все более накаляется. И это уже сейчас, а что же будет, когда начнутся президентские гонки? Правда, пока еще все лидеры клянутся в верности Конституции и закону. Все говорят о законных и честных выборах, хотя уже сегодня в печать просачиваются факты, что коммунисты, например, готовы осуществить прода-

жу части своих мандатов, чтобы найти дополнительные средства в избирательной борьбе. Лиха беда начало, но кто может гарантировать, подобный «коммерческий патент» не захочет использовать блок «Отечество» и «Правое дело» или какие-то другие силы?

На фоне предвыборных баталий фигура президента нередко остается в тени; все чаще высказывается мысль, что его партия проиграна и ставка его бита. Но после появления на горизонте его избранника, к тому же человека из Органов над обществом неумолимо нависает вопрос: а какую роль он должен сыграть на президентских выборах?

«Мальчики кровавые в глазах»

Будущие избиратели не могут не видеть, как изо дня в день растет и решимость президента: любым способом - демократическим, не демократическим, а президентскую власть за собой сохранить. Настрой президента, по-видимому, подогревается и еще одним обстоятельством, которое чем дальше, тем большую роль будет играть.

Я затрудняюсь, как его точнее определить, Привлечение к ответственности? Ужас перед возмездием за содеянное? Может быть, даже суд и приговор? Как бы это не назвать, но президент, при котором страну и население постигло столько бед, не может не испытывать страха перед тем, что может ему принести послеельцинская эпоха.

В России с незапамятных времен живет эта традиция во всех несчастиях находить козла отпущения. Виновен - не виновен, но кто-то должен отвечать за все постигающие страну беды. И в глазах миллионов несчастных и обездоленных тут вряд ли возможны две точки зрения. Кто виноват в гибели СССР? Ельцин! Кто отдал приказ стрелять в депутатов Думы? Ельцин! Кто виноват в «дефолте» 17 августа 1998 года? Ельцин! Кто транжирил на свою семью миллионы долларов? Опять же Ельцин! Под чьим крылышком в России невиданного размаха достигло взяточничество и мздоимство? Под крылышком все того же Ельцина!

Всеобщее недовольство президентом уже давно переполнило чашу терпения населения. Но раньше его спасал президентский иммунитет. Теперь у него такого иммунитета не будет, и народ сможет за все спросить.

Думаю, что эти мысли, сулящие кошмар суда или еще более страшный кошмар, которым закончил свою жизнь Чаушеску, нет-нет да и посещают пока еще благоденствующего президента. И маячит тут конец пострашнее, чем стать рядовым пенсионером и резаться в козла где-нибудь на Нарышкинском или Трубном бульваре. А тут еще и семья — до нее уж во всяком случае доберутся, в случае ухода в отставку.

Ельцин вряд ли ожидает, что новый президент будет его другом или, по крайней мере, человеком, настроенным к нему доброжелательно. Слишком многих он низверг, несправедливо унизил и обидел, слишком многим он поломал жизнь и карьеру, чтобы все содеянное могло сойти ему с рук. Кого бы мы ни взяли — Примакова, Лужкова, Кириенко, Лебедея, Степашина, я уже не говорю о Зюганове и коммунистах. Выходит, что ему в трудный час отставки и рассчитывать не на кого. Давайте, впрочем, уточним: было не на кого, пока не появился на горизонте им же вытщенный из небытия Владимир Путин. Его-то уж Ельцин вряд ли выкинет за борт, как он это проделал со Степашиним, которого, возможно, также примерял на амплу своего преемника, но по каким-то его расчетам тот не прошел, каким-то тайным президентским критериям не соответствовал, хотя так же, как и Путин, был «силови-ком», но, может быть, оказался чересчур самостоятельным, или недостаточно решительным, или слишком интеллигентным, чтобы стать опорой президента в столь ответственный час. Что же касается Путина в этой игре, то по видимому, возможны несколько вариантов развития.

Сценарии, прогнозы, гипотезы.

Первый. Все идет, как представлял дело Ельцин. Путин на сто процентов проявляет себя на посту премьер-министра. И к тому же у него сильная рука, о которой давно

мечтает русский народ. Он погасит долги бюджетниками. И улучшит содержание пенсионеров. То есть ко всему прочему, в отличие от всех своих предшественников, окажется человеком слова. И поддержанный президентом, миллиардами из госбюджета, поддержанный всеми средствами массовой информации станет президентом России. Сценарий маловероятный, если президентскому протее придется противостоять таким мощным соперникам, как Примаков, Лужков или Зюганов. Однако если он все-таки будет избран, то при таком сильном и преданном преемнике Ельцин за свое будущее может не волноваться. Но повторяю, с моей точки зрения, возможности такого развития маловероятны (хотя бы потому, что избиратели, столь сильно настроенные против президента, вряд ли подпустят к власти его любимца), так что, думаю, что у подобного сценария наберется не более 5-10 процентов.

Куда более реалистичным представляется мне другой вариант. Путин, хоть и оказывается сильным лидером и как премьер вплоть до президентских выборов пользуется у населения популярностью, победы на выборах все-таки одержать не в состоянии. Каких действий ожидать тогда от президента? Все будет зависеть от хода событий. Маловероятно, что все пройдет спокойно, и, скажем, тот же Примаков станет президентом, а Лужков премьером, и «Большая семья» президента, включая его дочь Татьяну, придворных миллиардеров Березовского и Рабиновича и иже с ними, низвергнутые и примиренные, спокойно уйдут на покой. А вытщенный из небытия Владимир Путин так же преспокойно останется в кресле премьера. Я просто не верю, что Ельцин, или, скажем, Березовский, или та же ельцинская дочь Татьяна Дьяченко безропотно примут такой финал. И будут ждать, пока грянет гром над головой президента и его окружения. Хотя подобному варианту, как мне кажется, все же можно было бы дать бы 15-20 процентов.

Наиболее горячим и острым мне представляется третий вариант, предполагающий, что Ельцин, давным-давно продемонстрировавший свои способности мобилизовать все силы, когда он оказывается перед угрозой потерять власть,

будет в полную силу действовать. Да, в этом случае он бросит все силы на то, чтобы отстоять свою президентскую власть. Но каким образом? Думаю, что над этим вопросом Ельцин уже сейчас бьется день и ночь, особенно, когда ему снятся сны, что он низвергнут и вместе с этим «мальчики кровавые в глазах». Для этого варианта также необходимы определенные предпосылки, но даже если они не появятся, эти предпосылки, можно их в лучших большевистских традициях создать; на этот счет в ведомстве, из которого явился Путин, есть блистательные мастера.

К тому же так или иначе в стране произойдет обострение ситуации, к которой, скорее всего, будут стремиться коммунисты. Ведь для кого для кого, а для них это будет действительно последний и решительный бой, и в тот момент, когда в Москве или Петербурге появится первая баррикада (даже если она одна будет на целый город) или когда из рядов демонстрантов раздастся первый выстрел (даже, если не будет ни единой жертвы) так вот, если такой момент действительно возникнет, да еще его до небес раздуют проельцинские средства массовой информации, то будет сделан первый шаг к осуществлению плана президента, его заранее заготовленного предвыборного гамбита или, может, даже первый шаг к победе.

Когда вдруг появится что-то похожее на баррикаду или раздастся нечто напоминающее выстрел, тогда-то и наступит звездный час премьера — гэбешника Путина, который (а может, и сам президент) для спасения демократии объявит чрезвычайное положение и для наведения порядка всю власть в своих руках сосредоточит сам Ельцин или его премьер Путин и впредь до наведения порядка в стране будет объявлено президентское правление. (Куда дальше идти, если уже сейчас, когда только вспыхнула война в Чечне, уже всю циркулируют слухи о чрезвычайном положении.) А это значит, что президент Ельцин как гарант Конституции может (а возможно, и должен для спасения демократии) остаться у власти на неопределенное время, начав при этом расправу с бунтовщиками и врагами президента и Конституции, вплоть до организации военно-полевых судов и трибуналов.

Естественно, посыпятся протесты с Запада, возможно, он даже пригрозит отзывом кредитов, но когда и кого это пугало, когда в России шла борьба за власть?

Могут сказать, что теперь все это тяжело больному Ельцину просто окажется не под силу. Но чтобы понять силу Ельцина, путь даже одряхлевшего и тяжело больного, надо принять прежде всего во внимание силу его аппарата, силу его «Большой семьи», силу того же Березовского с его миллиардами, которые будут брошены для спасения президентской власти. И сражаться все они будут не только за власть Ельцина, а прежде всего за свою собственную власть, которую они тотчас же потеряют, как только уйдет в отставку их босс. И если по какой-то причине сам Ельцин избежит ответственности за содеянное, то его администрация и его «Большая семья» уж никак этого не избежат — им-то припомнят все, что они делали и не делали. Учитывая по совокупности все обстоятельства в этой сложной многофакторной борьбе и силу созданного Ельциным аппарата, я бы отдал этому сценарию хорошие 40-50 процентов.

И наконец, последний сценарий, предполагающий в случае конфликта победу стоящих на страже закона демократических сил. Для достижения такой победы нужна прежде всего сплоченность таких сил — ненависть к Ельцину мне не кажется достаточной базой для такой сплоченности — и правых, и левых, и центра, и независимых. Если будут побеждать коммунисты, то интеллигенция со своим врожденным оппортунизмом предпочтет им Ельцина. Кроме того, в этой ситуации может возникнуть реальная угроза гражданской войны, к которой большинство жителей страны не готовы и в страхе перед ней предпочтут оставшегося у власти Ельцина. Думаю, что этот сценарий, предполагающий конец российскому долготерпению и рост революционного духа демократически сил, вряд ли имеет много шансов на реализацию — 10-15 процентов, не более. А что и как произойдет на самом деле, покажет время.



Владимир ШЛЯПЕНЮХ

РОССИЯ И МОНИКА ЛЕВИНСКИ

Заметки социолога

После того как скандал Клинтона и Моника Левински занял центральное место в средствах массовой информации, реакция, последовавшая со стороны разных стран, была столь же неоднородной, сколь отличались друг от друга сами эти страны. Характер оценок определялся культурой народа, его политической и правовой системами, отношением населения к законодательству, текущим экономическим и политическим положением страны, отношением ее жителей к правящей элите и главе государства, взаимоотношениями главы того или иного государства с президентом Клинтон, отношением к Соединенным Штатам, ролью американской экономики в развитии данной страны и т.д.

Хотя, конечно, и можно говорить об общем отношении той или иной нации к этому делу, тем не менее в каждой стране можно было выявить многие различия во взглядах тех или иных социальных групп.

Избрав Россию как предмет рассмотрения, я попытаюсь в этих заметках продемонстрировать контрасты и параллели между реакцией Америки и России на дело Клинтона и Моника. При этом я буду рассматривать в отдельности его правовой и политический аспекты, постараюсь определить роль каждого из них, останавливаясь отдельно на тех оценках, в которых проявлялось всеобщее согласие, и на тех, которые отражали расхождения в обществе.

Кому не известно, какой интерес вызвал скандал Моника и Клинтона в России. Российское телевидение и газеты изо дня в день знакомили свои аудитории с ходом событий. Как показал опрос, проведенный Фондом общественного мнения в феврале 1998 года (перед тем как дело достигло своего наивысшего накала) от 80 до 85 процентов россиян были уже знакомы со скандалом в Белом доме. Из бюллетеня Фонда следовало, что мужчины были лучше осведомлены об этом деле, чем женщины, более образованные люди лучше, чем менее образованные. То же самое относилось к более состоятельным слоям по сравнению с менее состоятельными.

По мере того как скандал начинал разгораться, в начале 1998 года, достигнув своего пика в сентябре (после опубликования отчета Кена Старра), осведомленность публики также развивалась вверх по спирали.

В декабре 1998 года на вопрос, заданный в ходе обследования «Что с Вашей точки зрения явилось главным событием года», ответ дали 29 процентов опрошенных, при этом 24 процента главным событием назвали «финансовый кризис 17 августа», 10 процентов — «скандал Клинтон — Левински» и только 6 процентов упомянули «конфликт в Косово», все прочие события набрали значительно меньшее количество голосов.

Постепенно дело Моника входило в повседневный российский обиход. Скандал Клинтон — Левински поселился в спальне российской политической жизни и проник даже в русский фольклор. Для многих россиян скандал приобрел символическое значение. Политики использовали «Моника» как метафору для выражения своих оценок различных политических и моральных вопросов.

«Нам бы ваши проблемы, господа»

Для того чтобы лучше понять, о чем идет речь, приведу один старый русский анекдот, который россияне снова вспоминали, обсуждая дело Клинтона и Моника. Молодой человек сидит, примостившись у задней стены школы, и ломает в отчаянии голову над создавшейся ситуацией: его герлфренд забеременела! Не обращая внимания на его грустный вид, проходящий мимо учитель спрашивает его, сколько будет, если семь умножить на восемь. Несчастный ответа, конечно, не знал, чем страшно рассердил учителя, который обрушился на школьника за то, что тот ленив, невнимателен, стал грозить исключением из школы. В ответ на что ученик ему бросил: «Мне бы ваши проблемы, господин учитель!» Так вот, несколько известных в стране фигур, таких, как Анатолий Чубайс, знаменитый пианист Николай Петров, реагировали на скандал примерно в таком же духе, сравнивая колоссальные трудности, переживаемые Россией, с псевдопроблемами американцев типа дела Клинтона и Моника.

Эта история, не стоящая выеденного яйца, с точки зрения многих жителей России вообще не укладывалась в рамки здравого смысла. Впрочем, тут не приходится удивляться. Людям свойственно судить о проблемах и трудностях других людей в контексте своей личной жизни, и характер таких оценок зависит от их интереса к той или иной проблеме.

Большинство жителей России было глубоко озабочено ростом преступности, коррупции, безработицы. Именно поэтому шумиха вокруг дела Клинтона — Моника была ими воспринята с таким с огромным удивлением, в их глазах оно было иллюстрацией того, какие пустяки в условиях «плюшевой жизни» американцев приводят их в смятение.

Супружеские измены мало кого удивляют

Не станем удивляться тому, что дело Клинтона — Левински невольно потребовало от каждого, кто за ним следил, выразить свое отношение к проблеме супружеской измены. В то время как в зависимости от отношения к этой проблеме американское общество было разделено

на две группы, большинство россиян (невзирая на образование и имущественное положение) не рассматривали поведение Клинтона, как сколь-нибудь серьезное нарушение нравственных норм.

В советскую эпоху водораздел между частной и общественной жизнью людей был гораздо глубже, чем в те же годы у американцев.

А как дело выглядело в постсоветскую эпоху? Вот только один пример, относящийся ко взглядам яркого антизападника Дмитрия Рагозина, который энергично защищал Клинтона. Он заявил, что если демократия означает вмешательство в частную жизнь людей, то он против такой демократии.

Так вот, в постсоветский период частная жизнь в России стала ограждаться от вмешательства извне даже более решительно, чем это наблюдается за рубежом. В послесталинскую эру россияне становятся абсолютно толерантны к проблеме супружеской неверности и внебрачных связей. Они больше не соглашались с тем, что муж и жена по определению должны быть навеки прикованы друг к другу. Напротив, супружеские измены все чаще воспринимаются, как норма жизни. Так, например, телевизионная журналистка Ирина Петровская с плохо скрываемой иронией утверждала, что супружеская неверность не только не разрушает семью, но даже, напротив, способствует ее укреплению. Почему так — понятно: мужчина, имеющий любовниц (о существовании которых жена обычно хорошо осведомлена), обычно не стремится найти для себя новую подругу жизни и таким образом прекратить брак.

Советские и постсоветские кинофильмы представляют внебрачные связи в совершенно другом свете, чем американская кинематография. В ряде российских кинолент супружеская измена не подвергается никакому осуждению. В противоположность этому в американском кино неверность одного из супругов неизменно представляется в отрицательном свете. Хотя это происходит и не всегда, изменивший жене супруг в американских кинокартинах выступает как отрицательный, заслуживающий осуждения персонаж, которому в конце фильма нередко воздается за все, что он заслужил своим поведением в семье.

Постсоветский период принес с собой мощную волну вседозволенности в сексуальную мораль. Российские средства массовой информации расписывают любовные подвиги «новых русских» без малейшего намека на осуждение, фактически российские «медиа» превозносят их, как истинных героев нового времени.

Популярные газеты и еженедельники, такие, как «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», широко публикуют интервью с «богатыми и знаменитыми», которые открыто хвастаются своими амурными похождениями. В такой атмосфере вседозволенности и мужчины и женщины проявляют, как правило, абсолютное безразличие к половой распущенности.

В советские времена женщина имела возможность жаловаться на сексуальные преследования мужчин в партийные организации, где их жалобы обычно воспринимались с пониманием. Сегодня, когда «сексуальная свобода» стала частью жизни российского общества, женщина остается фактически беззащитной перед домогательствами разного рода начальников.

В этом контексте не приходится удивляться тому, что русские женщины (как, впрочем, и американские феминистки) не восприняли поведение Клинтона по отношению к Монике, как злоупотребление властью. Куда дальше идти, если русские (и прежде всего женщины) готовы были возложить всю ответственность за происшедшее не на всевластного президента Клинтона, а на лишенную всякой защиты Моника Левински.

Вообще следует отметить, что в России женщины довольно часто не проявляют никакого снисхождения по отношению к другим женщинам, становящимся жертвами внебрачных связей. И это типично для сегодняшнего российского общества с характерным для него ярко выраженным мужским шовинизмом. Так или иначе треволнения жертвы Клинтона вызвали куда меньший резонанс среди русских, чем среди американцев.

Одна из самых популярных телевизионных программ «Сегоднячко» провела на улицах интервью с рядом мужчин и женщин. И что же? Все опрошенные (мужчина, женщина,

молодой человек и старик) единодушно были на стороне Клинтона. Они в один голос называли его «настоящим мужиком», а Моника осуждали, как проститутку. Бывший министр юстиции Ковалев (который также был замешан в сексуальном скандале) прямо обвинял Моника Левински в аморальности. Еще более резкое высказывание принадлежало пожилой женщине, которая заявила буквально следующее: «Если они (имеются в виду Моника и проститутки, замешанные в широко нашумевшем деле Скуратова) своим поведением будут приводить мужчин к импичменту, то кто же будет править страной — только импотенты и геи?»

Недалеко от нее ушла и Элла Панфилова, одна из немногих женщин-политиков в России. Панфилова в одном из своих выступлений стала превозносить до небес сексуальную энергию Клинтона как жизненно важный фактор для избежания импотенции в политике.

Русские восприняли известие о скандале «Клинтон — Левински» с необычайным изумлением, как своего рода дикость. Они были бесконечно удивлены, почему американцы переживали такое большое потрясение из-за какой-то там тривиальной любовной интрижки, происшедшей в столь неразборчивом с точки зрения морали американском обществе.

Большинство жителей России просто не могли понять, что, пользуясь теми же трудовыми правами, что и мужчина, американская женщина на своем рабочем месте имеет еще и гарантированное законом право на защиту, исключающее возможность любого рода сексуальных домогательств.

С другой стороны, некоторые люди в России (в большинстве своем либералы и западники), которые были более или менее осведомлены о социальных тенденциях в США, пытались с противоположных, экстремистских позиций представить Америку как страну, в которой заправляют феминистки. Они говорили о Соединенных Штатах, как об обществе, где они терроризируют мужчин, в глазах которых женщины вообще теряют всякую притягательность, и потому мужчины ищут себе сексуальных партнеров в других странах. (Достаточно привести в качестве примера статью Ольги Кондратьевой, опубликованную в «Правде»

от 3 августа 1996 года и озаглавленную «Тургеневские девушки как предмет российского экспорта».)

С точки зрения этих людей скандал Клинтона и Моника возник как результат холодности и агрессивности жены президента Хиллари, которая своим отношением к мужу толкнула его в объятия другой женщины.

В то время как коммунисты и националисты подвергают критике неразборчивость американского общества, в российской прессе нашелся ряд авторов, которые нападают на те же Соединенные Штаты с противоположной стороны, представляя их как отсталое в сексуальном отношении общество. По их мнению, согласно американским представлениям о половой жизни оральный секс есть что-то вроде невинной игры между влюбленными парами.

Некоторые либералы, такие, например, как Марина Чудакова, широко известный литератор и член президентского совета, сравнивают поведение Клинтона с поведением советских партаппаратчиков. Она отмечает, что члены советской правящей элиты обычно следили за внебрачными связями членов партии и последние часто подвергались за это наказаниям. Но при этом существовало неписаное правило, что сексуальные подробности никогда не должны предаваться огласке, и правящие круги, естественно, старались избегать всего того, что хотя бы отдаленно напоминало доклад Кена Старра Конгрессу Соединенных Штатов.

В 1953 году советские руководители проявили чрезвычайную решимость при разоблачении зловещего главы КГБ Лаврентия Берию. Но и их обвинения не содержали никаких подробностей его сексуальной жизни даже в тех случаях, когда его обвиняли в том, что он различными методами принуждения заставил около 300 женщин вступить с ним в половую связь.

Секс и российские политики: дело Скуратова

Большинство российского населения не изменило своего мнения о президенте Клинтоне после того, как его скандал с Моникой Левински приобрел публичную огласку. В отличие от американцев русские не отделяли дея-

тельность Клинтона как президента от его частной жизни. Они оценивали его в целом — как очень хорошего лидера, чей имидж не мог пострадать из-за истории с Моникой.

Нашумевшее дело генерального прокурора Скуратова явилось еще одним подтверждением того, супружеская измена в глазах россиян является, в общем, нормальным явлением, не подлежащим никакому осуждению.

Читатели, вероятно, помнят эту историю. В начале 1999 года новый премьер-министр Евгений Примаков пытался склонить Скуратова к расследованию поведения некоторых членов семьи Ельцина. Намереваясь любыми способами предотвратить расследование и дискредитировать генерального прокурора, Кремль предложил московскому телевидению прокрутить годовой давности видеофильм, в котором Юрий Скуратов был запечатлен в постели с двумя проститутками. Но, вопреки ожиданиям Кремля, реакция публики оказалась весьма сдержанной.

При опросе в апреле 1999 года две трети россиян не признали этот инцидент достаточным основанием для увольнения Скуратова. (Возможно, что какие-то люди с уголовным прошлым специально привели Скуратова к проституткам, рассчитывая получить от него что-то взамен.)

В целом же для многих тут не было никакого злоупотребления властью со стороны Скуратова, и если они его в чем-то и усмотрели, то лишь в том, что было допущено вмешательство в частную жизнь генерального прокурора.

Некоторые журналисты и политики (включая лидера коммунистов Зюганова) поддержали принцип неприкосновенности частной жизни. «Наше Моника-гейт» (как называли дело Скуратова российские медиа) означало лишь мимолетный интерес публики к этому скандальному делу.

Американская политическая культура — вне понимания русских

Россияне в большинстве своем не поняли, какую роль играло клятвопреступление, приписываемое Клинтону, когда он под присягой отрицал любовную связь с Моникой, сколь великому испытанию подверглось допущенное им извра-

щение правды. Все дело здесь в том, что русская политическая культура рассматривает ложь в целом, как нормальное явление в поведении политиков. И потому быть подвергнутым за ложь импичменту не соответствует общепринятым российским стандартам.

В течение последнего десятилетия большинство политических деятелей (президент Борис Ельцин, ряд реформаторов, таких, например, как Чубайс, крупные олигархи и многие ведущие бизнесмены) довольно часто подвергались критике за попытки увильнуть от правды или скрыть часть правды от населения, однако при этом их карьера и финансовое положение оставались нетронутыми. При выяснении мнения о наиболее популярных российских политиках честными людьми их назвали не более 12-14 процентов населения.

В разгаре скандала Клинтон — Левински русские не проявляли интереса к тому, что президент лгал, дав перед этим клятву говорить правду. Между тем именно это обстоятельство находилось в центре внимания американских средств массовой информации. В течение 1998 года в российской печати появилось всего лишь несколько статей, объяснявших читателям само значение понятия «ложь под клятвой».

Острые дискуссии в США относительно статуса специального прокурора (каким являлся Кен Старр) оказались вообще за пределами внимания абсолютного большинства жителей России, включая самых образованных российских интеллектуалов. (Кстати, то же самое наблюдалось во времена Уолтергейтского скандала Никсона.)

Русские не могли постигнуть того простого факта, почему генеральный прокурор США Жанет Рино, которая была назначена на этот пост самим президентом, не могла отказаться от назначения независимого прокурора для расследования прошлого президента.

Российские медиа никогда не сделали даже попытки сравнить глубокое расследование другого клинтоновского дела, так называемого «White Water» с абсолютным иммунитетом, который был дарован Ельцину и его семье.

Отсутствие у генерального прокурора Скуратова достаточной независимости для того, чтобы осуществить дальнейшее расследование кремлевских дел, воспрепятство-

вало в России пониманию сложных взаимоотношений между тремя ветвями власти в Соединенных Штатах. Русские также не осознали всего значения средств массовой информации и их относительной независимости в обществе.

Действительное представление многих россиян о медиа (и так, кстати, обстоят дела на самом деле) сводилось к тому, что средства массовой информации прямо контролируются властями и крупными олигархами типа Бориса Березовского. Вот почему многие пребывали в уверенности (вместе с некоторыми адвокатами президента), что скандал в Белом доме был просто раздут врагами президента.

Как повлияло дело Клинтона — Левински на российскую политику

И поклонники и ненавистники американского общества постарались использовать это дело для того, чтобы продемонстрировать свое отношение к американскому президенту. Вот буквально слова саратовского губернатора Дмитрия Аяцкова, сказанные им на встрече с Биллом Клинтон в Москве: «Теперь, увидевшись с вами, — сказал он, — я понимаю, господин президент, почему Моника Левински влюбилась в вас». Аяцков выразил свое преклонение перед американским обществом, которое избрало на президентский пост такого превосходного лидера.

И совершенно иные оценки и взгляды высказывались коммунистами и «новыми либералами». Они использовали дело Клинтона — Левински для того, чтобы лишний раз поиздеваться над ненавистной им Америкой и еще раз заявить о нравственном превосходстве России — тема, которая с особой силой звучала в дни Балканской войны. Скандал в Белом доме изображался, как свидетельство морального вырождения американского общества.

Но в средствах массовой информации наблюдалась и другая тенденция — например, когда один из известных российских журналистов обрушился на своих собратьев по перу за их преувеличенное внимание к платью Моника Левински (использованное следствием как доказательство

сексуальной связи президента с Моникой); журналист писал о том, что в этом факте лишний раз нашла подтверждение ненависть к Соединенным Штатам, бытующая в кругах российских националистов.

Я думаю, что это весьма примечательно: те, кто стремились унижить Соединенные Штаты, пытались всеми способами убедить население России (и не безуспешно), что дело Клинтона — Моника — это еще одно свидетельство общей деградации американского общества. Причем в своей критике Америки эти круги не делали никакого различия между утвердившимся, общепринятым стилем американской жизни и ее маргинальных групп.

В качестве подтверждения этого я бы мог привести следующий пример, когда несколько российских газет и телевизионных программ в своем желании с помощью специально подобранных материалов перецеголять Запад стали использовать такие сексуальные тексты и иллюстрации, которые нельзя обнаружить не только в ведущих американских газетах, но даже и в таких бульварных изданиях, как «National Enquire». И впрямь очень трудно представить, что в нормальной американской газете или журнала можно увидеть длинную статью, озаглавленную «Секс 21 века: две пары в одной постели», которая подробно описывает коллективный групповой секс, утверждая, что он стал массовым явлением в Америке и что якобы 40 процентов населения Калифорнии увлекаются этим видом секса.

Так вот, из уст коммунистов все чаще можно услышать, что российские либералы и либеральные средства массовой информации якобы пропагандируют в России коррумпированную американскую мораль. Те же коммунисты и «новые либералы» использовали скандал в Белом доме для того, чтобы осудить Соединенные Штаты за то, что они позволили себя вовлечь в мелкий скандал, не имеющий на самом деле никакого значения. Кстати, этот взгляд разделяли и многие американцы, хотя, разумеется, они не приходили к тем же выводам, что русские коммунисты и националисты.

Опираясь на скандал в Белом доме, недруги США пытались обвинить американцев в лицемерии и двойной морали. С другой стороны, обращаясь к делу Клинтон — Левин-

ски, коммунисты, русские националисты и «новые либералы», а также и некоторые американские критики Клинтона утверждали, что все его главные внешнеполитические акции (ракетные удары против Ирака, Судана и Афганистана) так или иначе были продиктованы этим делом. Не обошлось, как всегда, и без появления теорий разного рода заговоров. Нашлись в России «комментаторы», которые решили объявить Монике Левински тайным израильским агентом, получившим от Тель-Авива задание сжить Клинтона со свету за его проарабскую политику. Другие пытались выстроить более сложные сценарии в виде многоступенчатых шахматных комбинаций, осуществление которых должно было неминуемо привести к импичменту президента.

Борис Ельцин как главная фигура в скандале

Дело Клинтона — Моника послужило предлогом для русских, чтобы обрушиться с еще более острой критикой на своего собственного президента. За время, пока шло это дело, число сторонников Ельцина в России упало до пяти процентов (в 1998 году). В то же время 70 процентов населения России давало позитивную оценку Президенту Клинтону.

Положительные оценки Клинтона дали возможность строителям социологических опросов задать в ходе одного из обследований вопрос: «Если бы Билл Клинтон был выдвинут кандидатом на пост российского президента, голосовали ли бы вы за его кандидатуру?» В сентябре 1998 года 27 процентов россиян ответили «да» (а среди москвичей даже 34 процента), в январе 1999 года менее чем один процент населения выразил желание снова избрать Ельцина президентом России.

В глазах многих людей в России сексуальные похождения Клинтона явились своего рода подтверждением его мужества и твердости, его жизненного духа как сильного лидера. Потенция Клинтона в глазах населения выглядела контрастом в сравнении с большим и немощным российским президентом. В свою очередь это влияло на формирование в обществе взгляда на распространенность импотенции среди российских мужчин.

При опросе, проведенном газетой «Московский комсомолец», одна русская женщина сделала такое, довольно типичное в условиях российской жизни заявление: «Господи! Если бы наш президент мог сказать, что наша экономика процветает, налоги падают, люди вовремя получают свою зарплату и пенсию, преступность сокращается, он бы мог иметь секс со всеми кремлевскими секретаршами, и я бы сказала: «Да здравствует президент!».

Одна из наиболее популярных программ российского телевидения «Куклы» также всячески рекламировала Клинтона, чтобы представить Ельцина, как демагога и лжеца, который презирает собственный народ и Конституцию. Словом, многие интеллектуалы и политики благодаря делу Моники — Клинтона получили возможность подвергнуть российского президента еще более острой критике, даже не вдаваясь в суть обвинения Клинтона.

Лишь несколько высокообразованных российских интеллектуалов, которые часто бывали на Западе, могли сосредоточить свое внимание на американской правовой системе, оказавшейся способной осудить Клинтона за допущенное им «Perjury». («Perjury» — это юридический термин, означающий ложь под клятвой, фактически отсутствующий в российском лексиконе.) Они утверждали, что в то время как американский президент допускал ложь в делах, касающихся его частной жизни, российский президент пользовался абсолютным иммунитетом, когда он лгал по основным вопросам российской политики.

Выступая в защиту генерального прокурора против намерения Ельцина уволить его, Юрий Лужков отмечал, что дело Скуратова касалось исключительно его семьи. И он не допускал лжи, как это позволял себе президент Клинтон.

Станислав Кондрашов, который провел много лет в Вашингтоне в качестве корреспондента «Известий», один из немногих в России акцентировал внимание в своих публикациях на вопросе лжи президента под клятвой, уделяя особое внимание институту независимого прокурора, в котором проявляется огромное уважение к закону в Америке.

Лично президент Ельцин, как и главы других государств, неизменно сохранял молчание относительно дела Моники —

Клинтона. Следует отметить и то, что определенные средства массовой информации, контролируемые правительством, такие, например, как газета «Красная звезда», также предпочли не высказываться по этому делу или выражать хоть какое-то уважение к процессу его расследования.

Вместо заключения

Анализ отношения в России к скандалу Клинтона — Моники подтвердил тезис о том, что взгляд людей на чужую страну зависит главным образом не столько от количества информации об этой стране, сколько от той культуры, в которой они живут, от идеологических и политических процессах, в которых они участвуют. Представления о чужих странах чаще всего используются внутри страны для борьбы против своих политических противников и для подтверждения чувства превосходства одного народа над другим. Так было с советскими взглядами об Америке и американскими взглядами о СССР до 1991 года, и это утверждение справедливо и для сегодняшних России и США.

Скандал использовался населением России прежде всего для выражения своего отвращения к Ельцину, но также для морального реванша над Америкой, что было очень важно для жителей страны, находящейся в состоянии глубокого экономического, политического и морального кризиса. Конечно, в использовании скандала для унижения Америки была особенно активна коммунистическая и националистическая оппозиция.

Изучение отношения русских к скандалу показало также, как трудно или почти невозможно жителям одной страны понять культуру другой страны, ее политическую систему и нравы. Русские явно плохо понимают, что происходит в Америке, хотя американцы понимают дела в России еще хуже.

ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаем читателям воспоминания Аркадия Львова о Константина Симонове, умершем, кажется, так давно и в то же время так недавно, всего каких-нибудь двадцать лет тому назад — срок абсолютно ничтожный на фоне надвигающегося третьего тысячелетия.

Но — вот воистину парадокс! — чем дальше, тем труднее нам, его современникам, говорить и писать о нем. Оттого ли, что так стремителен бег истории, когда все, что было в ней прекрасного и романтического, мгновенно покрывается архивной пылью, от того ли, что так несовершенна человеческая память: проведя с Симоновым многие дни и месяцы, иногда восторгаясь им и его поэзией» иногда становясь пленником его обаяния, иногда испытывая непреодолимую неприязнь, автор вдруг ощущает себя забывшим прошлое, и затрудняется перед элементарной, кажется, задачей просто объяснить — даже не читателям, а самому себе — какова же все-таки была истинная роль этого человека в жизни России — кто он при жизни своей был: придворный сталинский сановник, или властитель дум нескольких поколений или гениальный ее бард, воспевший Родину и народ свой и саму душу народную в самые тяжелые годы страны. О многом тут можно спорить, но он был настоящий поэт, верно, это и было в нем самое главное. И поэтому перед тем, как предоставить слово автору, приведем лишь два симоновских четверостишия — стихи, которые, может быть, и останутся реформными для нового поколения с его бесконечными реформами-перестройками, рыночными экономикой, миллионными вилами... Однако, если верно положение о том, что поэзия способствует формированию народной души, то именно благодаря такой поэзии страна выстояла в кровопролитнейшей войне и благодаря ей западающей в самую душу, мы, в сущности, и остались самими собой, а Россия все-таки осталась Россией, несмотря на все переживаемые ею изломы.

*Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся деревня сошлась*

*Как будто за каждой русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.*



Аркадий ЛЬВОВ

РАЗГОВОРЫ С СИМОНОВЫМ

Знакомство

Первый раз мы встретились августовским, по-московски жарким летом шестьдесят четвертого года в редакции «Правды», когда он появился внезапно в дверях, неожиданно высокий, с жесткими, карими, с прозеленью глазами, и направился быстрой походкой ко мне. Вот так вижу его и сегодня, как будто не минули с того августа долгие, долгие тридцать пять лет, из которых двадцать уже после его смерти, в августе семидесятого года.

— Симонов! — протягивая руку, он назвал себя, хотя в этом не было надобности, совершенно ясно было, что я узнал его, и тут же, как будто продолжая разговор, не только что начатый, сказал, что Лукин переслал ему мои рассказы, но читать было некогда, завтра они со Львом Славиним улетают в Монголию.

— Как прочту, черкну вам.

У меня было смешанное чувство, скорее, неприятное, чем приятное, но Юрий Борисович Лукин, консультант «Правды» по литературе, который привел Симонова, что-

бы тот поглядел на молодого автора собственными глазами, был вполне удовлетворен и объяснил мне:

— Все в порядке. Костя — обязательный человек: он прочтет, напишет. Все в порядке.

Незадолго до Нового года я получил от Симонова весть: «Приезжайте».

Договорились на седьмое января, он жил тогда на даче, в Красной Пахре:

— Вас привезет ко мне Василий Иванович, мой шофер. Где вам удобнее, где вас ждать? Площадь Маяковского, у концертного зала Чайковского, удобно?

Кабинет его был просторный, недалеко от письменного стола, прислоненная к книжной полке, стояла картина Пирсманншвили.

На столе, приготовленные к работе, лежали мои рукописи, Симонов стал перелистывать, вдруг остановился, спросил, почему-то облекши свой вопрос в старомодную формулу: «Вы по какому факультету кончали? По историческому?» В письме своем я уже писал ему, что кончал исторический факультет, он, естественно, не забыл, и подтверждение понадобилось ему только для того, чтобы задать главный вопрос.

— Скажите, — спросил Симонов, — сколько человек было казнено в России по политическим процессам в минувшем столетии?

Я сказал, что знаю только главные процессы, — декабристов, Каракозова, народовольцев, Александра Ульянова...

— Сколько же все-таки? — домогался Симонов, неожиданно вскочил, подставил к стене стремянку, снял с верхней полки книгу и, потрясая ею, воскликнул: Двадцать пять человек! Двадцать пять за сто лет!

В первый присест работа над рукописями заняла три часа, Симонов сказал, пора перейти в столовую, там приготовили для нас утку, тоже дело по-своему интересное и нужное.

На полке стояло множество бутылок — ассортимент, который мне случалось прежде видеть только в барах на судах заграничного плавания.

— Что будете пить? — спросил Симонов. — Коньяк?

Я сказал, коньяк, естественно, французский, а какой именно, пусть выбирает хозяин.

— Чепуха, — сказал Симонов, — слава, репутация! Лучше нашего армянского нет ничего. И не «Арарат», — махнул он трубкой, — а три звездочки. Обыкновенные три звездочки. Поверьте мне, я знаю толк в этом деле.

Речь зашла о его пространных, на несколько десятков страниц, литературных заметках, опубликованных в последние, декабрьской, книжке «Нового мира» за пятьдесят шестой год.

— Вы читали эти заметки? — спросил Симонов. — Это я в журнале, где был тогда главным редактором, назвал записки свои «Литературными заметками», а на самом деле это была лишь небольшая часть докладной записки на триста машинописных страниц, какую я представил в идеологический отдел ЦК. Главное, что подстегнуло меня...

Я машинально вставил:

— Двадцатый съезд, доклад Хрущева...

— Нет, — ответил Симонов круто, с неожиданной резкостью, вроде в реплике моей было нечто оскорбительное для него, — главное, что подстегнуло меня, смерть... самоубийство Фадеева. Мысль подготовить такую записку у меня уже давно зрела, но как-то руки не доходили. А Саша... Фадеев... выстрелил в себя — и тут засел я и досидел уже, пока не закончил. Но задумка, повторяю, была уже раньше. И до двадцатого съезда с докладом Хрущева была у меня такая задумка — написать им.

Мне хотелось спросить: «Кому им?» Ведь он и сам был в свое время не то членом ЦК, не то кандидатом в члены.

Мельком — я опять увидел его жесткие, с прозеленью глаза — глянув на меня, Симонов, вроде бы отвечая на вопрос, который так и не был произнесен, объяснил, что ЦК и все там, на Старой площади, были для него всегда «они», к которым надо ездить, надо разговаривать, потому что без «них» ничего не решалось.

— Ничего серьезного, — повторил он, — без них не решалось. Да и вообще, — махнул рукой, — не решалось и ничего другого, из чего они сами и делали серьезное. После «Заметок» этих весь пятьдесят седмой год прошел в объяснениях на Старой площади. Все разговоры на нервах. Ну, а кончилось, как водится, оргвыводами. В пятьдесят восьмом

году сняли меня с редакторства в «Новом мире» — четыре года продержался, кое-что было сделано, Дудинцева «Не хлебом единым» напечатали — ну, в общем, сложилось так, что пришлось уехать в Среднюю Азию.

«Заметки», Дудинцев и ташкентская ссылка

По тону, каким были сказаны эти слова — «пришлось уехать в Среднюю Азию», — у меня возникло впечатление, что речь шла о каком-то принуждении, чуть не административной высылке.

— Что же, вас заставили, принудили выехать?

— Ну, что значит заставили, — раздраженно ответил Симонов. — Обстоятельства сложились так, что нельзя было оставаться в Москве. Я понимал, надо уезжать. И куда-нибудь подальше, — усмехнулся он. — Ташкент я сам выбрал. И не жалел потом. Хорошие, по-своему, годы. С кинодокументалистами нашими работал там. В Ташкент приезжал один американский редактор из крупного журнала в Бостоне. Все не мог понять, почему я здесь.

— Вы объяснили?

— Объяснил, конечно, — засмеялся Симонов. — Климат нравится, растительность богатая, своеобразная, керамика, гончары, как где-нибудь в Хорезме в средние века, Симонов сделал паузу.

— Константин Михайлович, можно один вопрос?

— Говорите, — кивнул он.

— А если бы вы не уехали в Среднюю Азию, если бы остались в Москве, что было бы?

Симонов пожал плечами:

— Я же говорил: уезжать из Москвы надо было. Обязательно. Выбора не было. Выбор только, куда ехать. Все мне тогда в строку ставили. И «Заметки», и Дудинцева, за то, что не предусмотрел, какой резонанс будет, и скандал в Доме литераторов, когда обсуждали «Не хлебом единым», пришлось вызывать конную милицию, чтобы с улицы входную дверь не выломали, такая собралась толпа, и выступление Паустовского, который кричал в зал, вот, мол, Дроздовы здесь, призывая — голосом своим,

жестами, всей позой — чуть не к физической расправе, а зал бешено аплодировал. Нехорошо получилось. Главное, для книги, которая была уже в печати, нехорошо.

Несколько лет спустя в редакции «Правды» произошло у меня случайное знакомство с Дудинцевым. Роман его «Не хлебом единым» вышел тогда уже отдельной книгой, я поздравил его, он махнул рукой и вдруг заговорил горячо, воспламеняясь от собственных слов, о десятилетней давности вечере в ЦДЛ. Все было уже на мази: книга набрана, сверстана, готовился тираж в «Роман-газете». И вдруг этот вечер в Доме литераторов, на котором все перевернулось.

— Костя, молодец, все продумал, подготовил, как надо, чтобы поддержать издание, а тут на трибуну выскочил этот карла, этот мерин, стал махать кулаком и выкликать своим сиплым голосом!

— Какой карла? — не понял я.

— Да этот самый, — Дудинцев сделал в воздухе рукой отметку, обозначая человека малого роста, — который выкликал, что Дроздовы здесь, в зале, среди нас.

Я рассказал Симонову о разговоре с Дудинцевым, он кивнул головой:

— Да, так и было. Паустовский вышел тогда в герои, а главное — книгу Дудинцева — в тот вечер загнули. А я бы, — лицо у Симонова сделалось вдруг отчужденное, жесткое, — тоже мог кое-что попомнить Паустовскому из прежних времен, до марта пятьдесят третьего года.

Что именно мог он «попомнить» Паустовскому, Симонов не объяснил, опять вернулся к роману Дудинцева и сказал, что в те дни не было в литературной жизни страны более важного и нужного дела, чем это — выпустить книгу Дудинцева.

Уже в эмиграции я узнал, что на Западе, в Мюнхене почти вслед за журнальной публикацией в «Новом мире» роман «Не хлебом единым» вышел отдельной книгой. Во вступительной статье издатели писали: «Роман Дудинцева «Не хлебом единым» произвел в Советском Союзе впечатление разорвавшейся атомной бомбы».

— И это лыко, — сказал Симонов, — ставилось мне в строку, дескать, кому потрафили.

Дворянских кровей, из князей Оболенских

Он налил себе водки, спросил, налить ли и мне, взял свою стопку, так, без слов, опрокинул, и вдруг, как показалось мне поначалу, безо всякой связи заговорил о своем происхождении.

— По маминой линии я дворянского рода. Дворянский сын. Отец был военный, офицер царской армии. Отца я не знал, не видел, отец пропал на фронте без вести. Отчим мой, мамин муж, тоже был военный. Также из царских офицеров.

Что по матери он был из князей Оболенских, я узнал позднее, из опубликованных после смерти его записок «Глазами человека моего поколения». В тот январский вечер, на даче у него в Подмоскovie, он просто сообщил, что дворянских кровей.

— В доме у нас, — сказал Симонов, — было строго заведено: слово - это слово, время - это время. Ноль-ноль часов, а если с минутами, то ноль-ноль часов и столько-то минут. Порядок был обязателен для всей семьи: для отчима, для матери, для меня. Приходилось ломать себя, но это сделалось привычкой на всю жизнь. А идет оттуда, из семьи — от матери и отчима, боевого русского офицера, который с юношеских лет, из юнкерского училища, пронес через всю жизнь эти правила.

Эта гордость его, связанная с дворянским его происхождением и средой, в которой, даже и в наше время, когда в стране верховодили «они», люди со Старой площади, сохранялись былые, сложившиеся в веках нормы, удивила меня не сама по себе, но удивило, что никогда прежде, ни в одном из его многочисленных сочинений не приходилось встречаться с этой гордостью, уходящей своими корнями в его родословную, которая, по революционному кодексу после Октября, отмечена была тем, что именовали, в частности, сословной спесью.

Это самоощущение его восходило к чувству, которое я бы назвал «государственным» — государственным в том смысле, как о нем говорил Ключевский в своих суждениях и оценках российского дворянства, бывшего в веках одним из столпов имперской России.

Уже позднее, после многих встреч и разговоров с ним — и в квартире его, у метро «Аэропорт», где он жил с семьей и в конторе его, как он сам называл свой рабочий кабинет в доме кинематографистов там же, у метро, и на подмосковной даче — у меня четко, я бы сказал, нерушимо сложился образ его как «имперского человека», который, несмотря на всю его причастность к советским будням, представлял все же некий сколок того, что считалось навсегда, безвозвратно, ушедшим, канувшим в лету истории.

Произнося слово «государственное», когда ранее зашла речь о его самоощущении, я поймал себя на том, что вроде бы только что услышал это слово откуда-то извне, произнесенное другим голосом, с грассирующим «р», давно мне знакомым, но не сразу узнанным.

Прислушавшись, я узнал и голос, и хозяина его, и вспомнил весь разговор, где слово это прозвучало несколько раз, причем всякий раз с грозовой нотой, какую грассирование придает иногда этому звуку «р», с оттенком реверберации, в русской речи.

Самоубийство Фадеева

Разговор был в тот же вечер, в Красной Пахре. Симонов налил, уже не спрашивая, армянского коньяку мне, себе, приподнял бокал, увесисто, с ударением произнес: «Чтоб было все хорошо!» — «Чтоб было все хорошо!» — и стремительно, горячо, вроде до этой минуты сдерживал себя, а теперь вдруг решился положить конец этой своей сдержанности, заговорил о Фадееве.

— Вы когда в последний раз читали Фадеева? «Разгром», «Последний из Удэге», «Молодая гвардия» — этого не называйте, это вы учили в школе. Я спрашиваю: в последний раз когда читали Фадеева?

— В последний раз читал в «Огоньке», главы из романа «Черная металлургия», об уральских металлургах, в двух, кажется, номерах. А целиком романа не читал.

— И не могли читать, — подхватил Симонов. — И никто не читал. И не в двух номерах, а в одном. И ничего, кроме этого, и не было, никакого романа.

Я искренне был удивлен, потому что уверен был, роман «Черная металлургия», оконченный или не оконченный, существует, но я, после «Огонька», просто потерял к нему интерес и забыл о его существовании. И вдруг оказалось, что нет такого романа ни на книжной полке, ни в архиве Фадеева, и ни в каком другом архиве.

— Нету, — повторял Симонова, — понимаете, нету никакого романа «Черная металлургия». И не было. А была только груда листов бумаги, которые Фадеев в последний год-полтора подкладывал в свою папку, разбухавшую у нас на глазах, и, похлопывая рукой, давал понять, вот она, «Черная металлургия». А на самом деле в папке были одни листы чистой бумаги, аккуратно, как всегда у Фадеева, завязанные канцелярской тесемкой. Вот так и ходил он с этой разбухающей папкой много месяцев, хотя у некоторых стало уже назревать подозрение, но, понятно, никто этого подозрения вслух не высказывал.

— А вы? — спросил я. — Верили или тоже подозревали?

— И то и другое, — сказал Симонов. — И верил и подозревал. Подозревал не в том смысле, что угадывал насчет его папки, что одни листы чистой бумаги там, а в том смысле, что предполагал содержимое папки не как готовую рукопись романа, а как всякие подготовительные материалы и черновые наброски, А в последние месяцы, — Симонов задумался, — в последние месяцы, пожалуй, и в это уже не верил.

Он стал раскуривать свою трубку, я воспользовался паузой и спросил: заметил ли Фадеев перемену в его, Симонова, отношении к папке?

— Думаю, что заметил. Да и я хоть прямо не говорил, но и скрыть не старался. Саша человек был наблюдательный, не мог не заметить, но виду не подавал. Так и шло у нас это, как бы по молчаливому уговору с обеих сторон: он продолжает свою игру, потому что выбора никакого у него уже нет, а я... да и у меня нету никакого выбора, потому что состояние его я видел отчетливо.

Я удивился:

— Отчетливо? И видели, что он идет к самоубийству?

— Видел, — кивнул Симонов, — конечно, видел. А что можно было сделать? Ничего нельзя было сделать. У него в

последние годы сложился уже четкий треугольник: кабинет — больница — санаторий. Из санатория — в кабинет, опять запои — и опять больница, Сталин, и тот не мог сломать этого треугольника. Фадеев был государственный человек, с широким кругозором, настоящий государственный ум, Сталин уважал его и ценил, хотел сделать секретарем ЦК по идеологии, это уже само собою Политбюро, третий человек в партии, да и в государстве. Иногда казалось, дело идет на лад, Фадеев брал себя в руки, некоторое время держался, возникала даже уверенность, ну, теперь уж не сорвется. И вдруг трах-бах, все вверх тормашками — опять белая горячка, больница, санаторий. Тот же треугольник.

Списки «по кругу»

Симонов как-то не то ссутулился, не то, уходя в воспоминания, машинально втянул голову в плечи, помолчал с минуту, круто выпрямился, руки, сжав пальцы в кулаки, положил перед собою на стол.

— Летом пятьдесят второго года, в июле, Фадеев звонит мне: давай, Костя, приезжай. У меня свои дела, я был тогда редактором «Литературной газеты», спрашиваю: срочно? Фадеев отвечает: немедленно. Ну, я Фадеева знаю: драматизировать не в его манере, зря торопить не станет. Приезжаю. Захожу в кабинет генерального секретаря: первый секретарь союза писателей назывался в те годы «генеральным». Спрашиваю: в чем дело? Фадеев держит в руках какую-то бумагу, не показывает мне, ведет себя как-то суетливо, не по-фадеевски, я пытаюсь поймать его взгляд, он уводит глаза в сторону, снова говорит, вот прислали бумагу, надо подписать. Я спрашиваю: Саша, что за бумага, почему я должен подписывать? Я хотя еще не знаю, что за бумага, кто прислал, но чувствую уже, что бумага не просто сверху, а, видимо, с самого верху, так что выше некуда.

Симонов опять выложил кулаки на стол, на меня не глядит, голову наклонил, так, наклоня, держал некоторое время, вдруг поднял, ударил кулаком по столу:

— Я опять спрашиваю: Саша, что за бумага, почему я должен подписывать? В этот раз он ответил: бумага о

писателях, мы оба, как секретари Союза, должны подписать и вернуть, с нашими подписями, туда, откуда прислали. Я спрашиваю: да откуда же прислали? Подавая мне бумагу, он сказал: оттуда. Ну, я уже и сам догадывался, что бумага была «оттуда». Короче, это были списки писателей, арестованных в конце сороковых годов по еврейскому делу. Списки на расстрел.

Тогда, в январе шестьдесят пятого года, на даче у Симонова, в Красной Пахре, я впервые услышал об этих списках, которые, как объяснил мне Симонов, «рассылались по кругу», с учетом профессионального ведомства, к которому принадлежали те, кто по списку подлежал расстрелу.

Сообщив, какого рода бумагу передал ему Фадеев на подпись, Симонов сказал, что тут же, не читая ее, вернул Фадееву.

— Саша, почему я должен подписывать эту бумагу? Ты генеральный секретарь — ты и подписывай. А он мне в ответ: Костя, ты заместитель генерального секретаря и редактор «Литературной газеты», и подпись твоя должна быть тут. Он тычет пальцем в бумагу, а я говорю ему: нет, подписывать не буду; кто составлял списки на арест, тот пусть и подписывает эту бумагу.

Я не понял, о каких списках на арест идет речь. Симонов, уловив, должно быть, мое недоумение, объяснил, что у Фадеева как автора романа «Разгром», где главным героем «человек с нездешними зелеными глазами» по имени Левинсон, были в свое время очень близкие отношения с еврейской секцией Союза писателей. Ему не только доверяли в этой секции, но и любили его и избрали даже в руководство.

И вот, как руководитель Союза писателей и как человек — так, по крайней мере, думали наверху — наиболее и осведомленный по части настроения еврейских писателей, Фадеев в сорок восьмом году составил списки на аресты, которые были произведены тогда же, в сорок восьмом, и, частью, в сорок девятом году.

— Я сказал Фадееву прямо (увертывался, сколько мог, а больше увертываться нельзя было): ты, Саша, списки составлял, ты и подписывай, а я подписывать не буду! Баста! Глаза у него были нехорошие. Нехорошие были

глаза. Я знал, он никогда не забудет мне этого. Да и я не забыл. Ну, ладно, — улыбнулся он вдруг, — заболтались мы, а работа стоит. Давайте работать.

У меня на уме все вертелся вопрос о Фадееве, о списках на арест, которые, по утверждению Симонова, в сорок восьмом году тот составлял: что же он, Фадеев, в самом деле верил, что люди эти, которых он знал много лет, еще с довоенного времени, действительно изменники и предатели?

Симонов — то ли сам вопрос не понравился ему, то ли, хотя уговорились вернуться к работе, а опять втягиваемся в разговор — ответил раздраженно:

— При чем здесь верил не верил! Саша был государственный человек, — Симонов провел в воздухе трубкой, как будто очерчивая линию горизонта, — широкий государственный ум, он понимал: государство — это Молох, государству требуются жертвы. Списки, если надо, без него составят. Найдутся составители. А где гарантия, что будет лучше, а не хуже? Про меня тоже говорили, дескать, Симонов такой-сякой. А были бы на моем месте другие, лучше, что ли, было бы. Я не думаю, что лучше, поверьте, я знаю, что говорю: похуже было бы.

О космополитизме и депортации евреев

Внезапный его переход от Фадеева к себе вызвал у меня ощущение, что, хотя и открестившись от Фадеева по поводу обоих списков — и на арест, и на расстрел писателей — он все же внутренне, в тайниках своей души, не почувствовал того освобождения, какое обычно возникает, когда дело действительно завершено, как говорят законники, закрыто.

В пятьдесят третьем году, зимой, незадолго до смерти Сталина, чуть не за месяц-полтора — в памяти у меня эти события расположились по соседству, почти рядом — в «Литературной газете» опубликованы были фельетоны о евреях, не менее пошлые, злобные, написанные, что называется, не пером, а колом, чем в других тогдашних газетах. Но дело было не в самих этих фельетонах, набивших, кажется, оскомину уже и у тех, кто их сочинял, само собою, по команде сверху. Дело было даже не в том, что

дали их на страницах писательской газеты, а в том, что в редакторах у этой газеты состоял Симонов. Именно это, что фельетоны, с этакой крикливой, настырной юдофобской нотой, вышли в газете Константина Симонова, которого молва — без малейших к тому оснований — то в намеках, то прямо каким-то генеалогическим боком относил к племени иудеев, поразило тогда очень многих: я помню, не только евреев, но и русских ребят, недавних фронтовиков, для которых Симонов был поэт-солдат, летавший на бомбардировщиках и здоровавшийся за руку, как равный, с Жуковым, которого, по слухам, побаивался сам Сталин.

Я спросил про писателя и драматурга Александра Борщаговского, который по делу о космополитах в конце сороковых годов подвергся жестким нападкам, в том числе, и со стороны своего друга Симонова, о ком вскоре прошел слух, что, приняв активное участие в кампании по преданию Борщаговского остракизму, он тут же, чтобы поддержать его, будто бы дал ему пять тысяч рублей.

Я, помню, поначалу отнесся к этой истории вообще с недоверием, потому что вся она как-то не вязалась с общей атмосферой враждебности, которой сопровождалась все тогдашние акции против евреев. Но слух был очень упорный, доходил с разных сторон, и в конце концов я поверил. И вот сейчас, спросив у Симонова о тех пяти тысячах, которыми он одарил, по слухам, Борщаговского, я увидел на лице его гримасу досады, недовольства, он подтвердил, да, это правда, он дал тогда своему другу Борщаговскому пять тысяч, потому что тот сидел без денег, а достать было негде.

История с фельетонами о евреях, которая засела в памяти у многих — и у друзей его из евреев, и у недругов-антисемитов — вкупе с историей помощи, какую он оказал безродному космополиту Борщаговскому, была ему, помимо всего прочего, неприятна еще и чисто формальной своей стороной. Несомненно, огласка, которую получили пять тысяч рублей вспомоществования, приобрела какой-то странный, чуть не смердяковский оттенок, теперь, спустя годы, вызвала у него досаду.

В том же ряду технических промахов была и сама история с фельетонами, которые, по приказу со Старой

площади, он пустил в своей газете за несколько недель до смерти Сталина.

Прояви он тогда побольше упорства, а это качество было у него, не маялся бы он теперь оскоминой от этих фельетонов.

Но в промашке его с фельетонами, тем более, повторяю, для него досадной, что пришлось она на последние недели жизни Сталина, сыграли, я думаю, свою роль письма разных коллег-литераторов в партийные инстанции.

— Я, знаете ли, — Симонов чуть сощурился, плутовато улыбнулся, — тоже в свое время ходил в агентах международного сионизма.

Приняв слова его за шутку, я сказал, что о скрытых корнях его генетических наслышан, но Симонов, пропустив мимо ушей мою реплику, продолжал свое:

— Осведомленные товарищи писали в ЦК, что в Москве, в писательских кругах, существует группа, связанная с «Джойнтом». Группу возглавляет Константин Симонов.

Тогда, во время разговора, я был настолько поражен — «Симонов — главарь подпольной организации «Джойнта»! — что не мог дивиться лишь возможности такого обвинения в адрес знаменитого барда, любимца Сталина.

Только впоследствии дошло до меня, что сообщение это заключало в себе некое объяснение тому юдофобскому шабашу, какому он, редактор «Литературной газеты», дал ход на ее страницах в последние недели жизни Сталина.

Позднее я вернулся к этим последним неделям Сталина, отмеченным известным делом врачей и слухами о назначенной на весну пятьдесят третьего года депортации евреев в Сибирь и на Дальний Восток. Я спросил у Симонова: это правда, что действительно у Сталина был план массовой депортации евреев, в теплушках, в телятниках по транссибирской магистрали, чтобы часть их выморить по дороге?

Симонов ответил:

— Я не знаю, какие планы были у Сталина. Сталин не делился со мной своими планами. Но некоторые товарищи, из московского радио, еще кое-кто, говорили мне, что были какие-то материалы. Я этих материалов не видел, но думаю, материалы эти были. А что сделал бы Сталин,

можно гадать. Но это гадание на кофейной гуще. Это был уже не прежний Сталин, который все мог. Он был уже стар, и дело было не в годах, а в том, что он сам чувствовал себя старым.

Я сказал, по слухам, на XIX съезде партии он впал чуть не в истерику.

— Чепуха, — махнул трубкой Симонов, — На съезде он как раз был в форме. А вот на пленуме ЦК Сталин действительно выглядел необычно. Я думаю, слухи об истерике связаны с этим пленумом. Он набросился на Молотова, на Микояна, голос несколько раз срывался. По-моему, это была истерика. В общем, неприятное было зрелище. И неожиданное.

О Сталине

Я сказал Симонову, у меня никогда не было пиетета к Сталину. Ну, в ранние пионерские годы, конечно, был, но позднее, в восьмом-девятом классе, уже не было.

— Вам было просто: вы Сталина не видели. А Сталин был великий актер, обаятельный человек, если хотел. Смотрите, — он стал загибать пальцы, — Эмиль Людвиг, Анри Барбюс, Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер, этот мудрый еврей, — все писали о нем, как он хотел. Конечно, в Германии подымался Гитлер, эти люди правильно видели Гитлера, и Сталин, в их глазах, мог стать в Европе противовесом Гитлеру. Но все равно, дело было не только в этом: они писали о Сталине так, что сегодня многим непонятно, как можно было писать так о Сталине.

Я сказал: было обаяние силы, обаяние власти. Это понятно. И все же не оставляет тяжелое чувство, когда читаешь все эти отчеты о встречах со Сталиным, включая «Москва. 1937-й год» Фейхтвангера.

— Я со Сталиным, лицом к лицу встретился впервые после войны. На квартире у него я никогда не бывал. А вот Полевой, военный корреспондент «Правды» в Сталинграде, был у него в 43-м году на квартире. И тоже, — Симонов широко развел руками, — подпал под обаяние.

Позднее я уже сам узнал некоторые детали этого визита от самого Бориса Полевого: как Сталин усаживал гос-

тей, вызванных из Сталинграда, за стол, как остановил его, Полевого, когда он потянулся к вазе с яблочным пирогом и взял уже кусок, а хозяин вдруг, подойдя сзади, положил свою руку поверх его и указал пальцем на другой кусок, объясняя, почему именно этот: «Посмотрите, товарищ Полевой, какой замечательный кусок, какая у него румяная, поджаристая корочка. Очень рекомендую, товарищ Полевой, возьмите этот кусок».

— Это сложилось еще в тридцатые годы, — словно прочитав мои мысли, продолжал Симонов, — когда Сталин был уже бесспорно первым среди вождей, как тогда называли его ближайших соратников. А может быть, даже раньше, в конце двадцатых, когда изгнали Троцкого и начали коллективизацию. Но на моей памяти все-таки с начала тридцатых. Даже самоубийство Аллилуевой, хотя, кажется, с первого дня шли слухи, что не было никакого самоубийства, а было просто убийство, выпятило тогда на передний план памятник на Новодевичьем кладбище, какой Сталин поставил своей жене, высеки на граните слова «Надежде Аллилуевой» и свою подпись: «И. Сталин». То же самое было в декабре тридцать четвертого, когда убили Кирова и Сталин сам приехал в Ленинград, прямо, как говорили тогда, из своего кабинета в Кремле. Слух, что Сталин причастен к убийству Кирова, распространился не только в Ленинграде, но и в Москве, где я тогда жил с матерью и отчимом, и помню, были разговоры в доме о загадочности всего этого дела, связанного с убийством Кирова, который и до семнадцатого съезда партии, а еще больше после съезда воспринимался как ближайший соратник Сталина и — по отношению, какое складывалось у многих — в какой-то мере соперник Сталина. Думаю, что Киров, при всех своих достоинствах народного трибуна и лучшего, после Троцкого, оратора партии, вообще не годился на первые роли. Но после убийства фигура его как бы еще выросла в сознании людей, и тот факт, что Сталин остался теперь, когда Кирова не стало, один, укрупнил и фигуру самого Сталина, теперь уже не только бесспорно первого, но и бесспорно единственного вождя партии и народа.

— Константин Михайлович, — спросил я, — вы верите, что Кирова убил Сталин?

— Это не вопрос веры, — сказал он жестко. — Это вопрос знания. Надо знать. А мог ли Сталин дать задание, чтобы убили? Мог. Впрочем, это я думаю теперь, что Сталин мог, — сказал Симонов. — А что думал тогда, не помню. Если бы думал, что мог, наверное, запомнилось бы. Скорее все-таки, не думал. Не допускал. Когда позже, через три-четыре года, началась чистка в армии, и тогда, хотя, помню, были вопросы, а ответов не находилось, и тогда так не думал. После войны я часто ездил в Европу, мне говорили, как о достоверном, твердо установленном, что среди военных был заговор против Сталина. Бенеш верил, что такой заговор был, и Черчилль, который уважал Бенеша, человека очень честного и порядочного, тоже верил. А Черчилль, сами знаете, был не дурак. Теперь считается бесспорным, что Гитлер перехитрил Сталина, подкинул через Прагу документы о заговоре в Красной Армии. Думаю, все-таки что-то было. Другое дело чистка, которую Сталин устроил. Эта чистка в Красной Армии была страшнее всякого заговора: она чуть не стоила нам жизни. Я имею в виду всю нашу страну и весь наш народ, а не только строй. Но, странное дело, масштабов чистки ни я, хотя вырос в семье военнослужащего, ни другие тогда не представляли себе. Это уже позже произвели подсчеты и напечатали в журналах. Не знаю, как это получилось, — но ни тогда, ни тем более позднее, во время войны, когда никакой другой дороги не было, только идти за Сталиным, думалось об этом мало, а то и вовсе не думалось. Надо было воевать с Гитлером, а не гадать, что было и чего не было. Я был корреспондент «Красной звезды», подполковник, а в партию вступил в середине сорок второго года, хотя все или почти все мои товарищи давно были партийцами. Я был фронтовой журналист — не такой, как Полевой, он был самый писучий тогда, всех обскакал — но все же достаточно продуктивный, а в своих очерках и корреспонденциях с фронта имя Сталина употребил три-четыре раза.

Сталинские премии

В шестидесятые годы, еще до встречи с Симоновым, я был наслышан об особом к нему, с первых военных лет, расположении Сталина, для которого он был, как говорят французы, анфан тэррибл, шаловливое дитя, какому не только прощаются все его проказы, но выдаются при этом еще и награды. Два года подряд — в 42-м и 43-м — Симонов получал Сталинские премии.

Оказалось, однако, не только особой, но и вообще никакой близости поэта и вождя в годы врыны не было. Более того, первая встреча Симонова со Сталиным произошла год или полтора спустя после войны, когда Симонов стал выходить на новую для него орбиту — специального эмиссара в Европу и за океан, уже с конкретным заданием от самого Сталина, переданным, правда, не прямо, а через других.

Тогда же прибавились у него еще две новые роли — литературного начальника и государственного деятеля, дополненные с XIX съезда и функциями партийного иерарха, кандидата в члены ЦК. При всем своем различии все эти роли, по сути, сводились к одной: чиновника по особым поручениям, отряженного властью.

В декабре шестьдесят шестого года, в городской своей квартире, передавая мне рекомендацию в Союз писателей, он заговорил вдруг о том, как неожиданно-негаданно в сорок шестом году сделали его секретарем Союза писателей, причем по всем признакам инициатива исходила от самого Сталина. Фадеева поставили «генеральным секретарем» — титул для главы писательской организации, который придумал Сталин, а его назначили заместителем генерального секретаря. Было ему тогда тридцать лет и сколько-то месяцев.

— Конечно, устроили потом писательское собрание, партиком предложил кандидатуры, в том числе мою, но в действительности все было решено раньше, когда Сталин вызвал к себе Жданова, он был тогда секретарь ЦК по идеологии, и продиктовал, кого и в каком порядке определить секретарем писательского союза. Список — Фадеев, Вишневский, Тихонов, Леонов — был такой, какой бы я мог и

сам предложить, ну, за исключением самого себя, потому что считал себя совершенно неподготовленным для такого дела. Но вместе с тем была лукавая мысль: как же так, Сталин считает, что подготовлен, а ты считаешь, что нет, не подготовлен? Вот так — или примерно так, в таких словах — тогда думалось. В том году дали мне в третий раз Сталинскую премию — за повесть «Дни и ночи», которую я написал еще во время войны, в сорок четвертом. Повесть представил на премию Сталин. Он вообще нередко делал это: сам предлагал комитету по Сталинским премиям кандидатов на премию. Вы с Виктором Некрасовым знакомы? Он мог бы рассказать вам насчет своей повести «В окопах Сталинграда», которую Сталин выдвинул на соискание премии. Сталин так и говорил, что предлагает, выдвигает на соискание, просит комитет рассмотреть его предложение.

Я спросил у Симонова, правда ли, что Сталин спрашивал его мнение о книгах товарищей по цеху, представленных комитету по премиям, а он, опасаясь прийтись не ко двору, уклонялся от ответа, дескать, из-за перегруженности не успел эти книги прочитать.

— Да, — сказал Симонов, — однажды, не помню точно, о каких книгах шла речь, Сталин привел в пример себя, что вот у него, Сталина, нашлось время познакомиться с этими книгами, а у писателя Симонова не нашлось, поэтому надо создать писателю Симонову условия, чтобы у него тоже нашлось достаточно свободного времени. Это была обычная манера Сталина шутить. Но один раз вышла действительно нехорошая история, только дело было здесь не в Сталине, а в Бериин... — Вы книжку Авдиева «История Древнего Востока» знаете? — спросил он вдруг. — Как историк, вы должны знать эту книжку. Она была включена в программу университетов, как учебник для студентов исторического факультета.

— Так вот, — продолжал Симонов, — автор этой книги Авдиев был какой-то кавказский профессор, которого опекал Берия. Берия и выдвинул эту книгу на премию первой степени. Мне говорили об этой книге, что это компиляция, почти плагиат. Что книгу поддерживает Берия, я не знал, и на моем выступлении это никак не сказывалось. Собственно, это было не выступление, а реплика: книга Авдиева —

не ученая монография, а учебное пособие, со свойствами такого рода книгам элементами компиляции. О плагиате я ничего не говорил. Тут Берия, чуть не в бешенстве, набросился на меня: кто дал мне право судить о вещах, в которых я ничего не смыслю! Я ответил, что передаю мнение специалистов. «Так приведите этих специалистов сюда, — кричал он, — и пусть они сами скажут нам, что думают!» Испугался ли я? За себя нет, не испугался, но, зная Берию, понимал, что могу навлечь опасность на других, которые не могли рассчитывать на заступничество Сталина. В другой раз Берия набросился на меня из-за книги известного подводника Иосселиани, про которую издательство сообщило, что эта книга — перевод с грузинского. Между тем, я знал от самого Иосселиани, что грузинским он не владеет, а книга его — литературная запись. И вот, когда за эту литературную запись готовы были дать Сталинскую премию, я решительно выступил против и, несмотря на все крики и возмущения Бериин: «Как это грузин Иосселиани не знает грузинского языка!» — Сталин поддержал меня.

- Но мог и не поддержать, — сказал я.

- Нет, — покачал головой Симонов, — я уже не первый раз сталкивался со Сталиным и был уверен, что он поддерживает меня в этом случае. Так и случилось: поддержал.

Я отчетливо слышал в голосе его нотки удовлетворения, но не личного, что вот, мол, взял реванш, а удовлетворения, какое дается сознанием того, что восторжествовала правда.

Я спросил, пишет ли он воспоминания о Сталине.

- Нет, — ответил Симонов резко, с тем обычным для него всплеском раздраженности, какую он позволял себе, когда ему навязывали тему, неприятную ему или нежелательную. Он сказал, что всему свое время. Воспоминания о Сталине — как свое, личное — он напишет, когда придет время.

Воспоминания о Сталине — «Глазами человека моего поколения» — он написал через тринадцать лет, за несколько месяцев до смерти, уже зная, что осталось ему, по прогнозу врачей, жить полгода, возможно, чуть больше, но, может быть, и меньше.

Что же удерживало его? Почему откладывал он эти воспоминания буквально до последнего звонка?

По моим впечатлениям, тема эта вызывала у него чувство дискомфорта, тревоги, более того, страха. Страх, в котором соперничали два начала: во-первых, он боялся сказать себе всю правду, во-вторых, не в меньшей степени, он боялся сказать неправду, ибо воспоминания теряли в этом случае не только свою свидетельскую ценность, но и очистительную силу.

Устный разговор, застольная беседа имели, в этом смысле, несомненное преимущество, ибо произнесенное, но не зафиксированное слово тут же как бы уходило в небытие.

У меня сложилось твердое впечатление, что, думая о Сталине, он все время думает в связи с этим о себе. Когда, заговорив о Сталине, я привел последнюю его работу «Относительно марксизма в языкознании» и сказал, что работа эта, поносившая признанных лингвистов, была продиктована комплексом неполноценности нацмена, ставшего хозяином Руси, Симонов с горячностью перебил меня:

— Сталин всю свою жизнь страдал оттого, что был грузин, а не русский. Когда Берия приставил к нему охрану, состоящую из грузин, он сказал ему: «Лаврентий, почему грузины, почему не русские люди? Ты хочешь сказать, что русские любят товарища Сталина меньше, чем твои грузины?»

Борьбу в партии, борьбу за власть Сталин выиграл уже в конце двадцатых годов. В тридцатые годы, сказал Симонов, он добивал оппозицию физически. Но именно на двадцатые годы приходился грубый его просчет с Троцким, которого он сам выпустил, а потом целых одиннадцать лет никак не мог достать, в то время как тот доставал его своими историческими изысканиями и памфлетами.

— В каком-то смысле, — заключил Симонов, — Троцкий оказался сильнее, и Сталин это понимал.

О Троцком в середине шестидесятых годов так говорить еще не было принято. Думаю, что дело здесь было не в панегирике Троцкому, тем более, что личной симпатии у Симонова он не вызывал, а в переоценке Сталина, кто-то «оказался сильнее» Сталина.

Подхваченный волной, на которую вынес его внезапный порыв к развенчанию кумира, он в одном ряду, как оппонентов Сталина, помянул Гитлера, Рузвельта и Черчилля:

— Что он мог! Посадить Гитлера в кутузку, когда тот в сорок первом стягивал свои армии к советским границам, он не мог! Перехитрить Черчилля, заставить его сделать, как надо было ему, Сталину, не мог! Быть умнее, интеллигентнее Рузвельта не мог! А у себя, в России, он что ли забыл июнь сорок первого, когда послал к микрофону вместо себя Молотова, а сам впал, из страха перед Гитлером, в панику, так что Берии приходил его вытаскивать. А октябрь сорок первого, когда Москва чуть не осталась без хозяина, по его приказу подготовлено было уже все к эвакуации Москвы, которую готовы были отдать немцам! Конечно, — продолжал Симонов, — после сорок первого года был сорок пятый год, была победа над Германией и Японией. Слава Сталина никогда не была такой громкой. Россию боялись, но настроение в стране было неважное. Солдаты возвращались из Германии, из Европы, из Маньчжурии и не могли не сравнивать. Сравнение было не в нашу пользу. Сталин знал, какое у людей настроение, это задевало его гордость. В сорок седьмом году, когда меня впервые пригласили на встречу со Сталиным, зашел разговор об отношении интеллигенции к Западу. Сталин как бы спрашивал, задавал вопрос, но по глазам, как они при этом щурились, видно было, что он переживает, страдает. И хотя тогда уже всю развернулась кампания против низкопоклонства перед Западом, все равно боль у него оставалась, потому что сохранялась причина, какая вызывала у людей такие настроения, и Сталин, при всей его власти, не в силах был устранить ее. Незадолго до этого мне дали Сталинскую премию за пьесу «Русский вопрос», и теперь, как я понимал, от меня ждут новой вещи на патриотическую тему. Такую вещь я тогда как раз писал: «Дым отечества». Поскольку вещь не была окончена, я, естественно, о ней ничего не говорил. Но, оказалось, у Сталина свои планы, и получилось так — не буду входить в детали, я сам, можно сказать, попал как кур во щи, — что Сталин дал мне, по сути, прямое задание написать пьесу о том, как наш советский ученый, частью по наивности, частью по разгильдяйству и беспечности, оказывается на поводу у врага, которому передает свое открытие в области микробиологии. У сюжета этого, который я поло-

жил в основу пьесы «Чужая тень» — советское правительство прощает ученого, вставшего на путь невольного предательства — была своя предыстория в реальной жизни, которая кончилась многолетними сроками в лагерях для тех, кто был причастен к ней.

Симонов задумался, раскурил свою трубку, крепко затянулся и сказал:

— «Чужая тень» — самая отвратительная вещь, которую я когда-либо написал. За «Дым отечества», искреннюю, по своему неплохую патриотическую вещь, меня разнесли в пух и прах. За «Чужую тень» дали Сталинскую премию, четвертую по счету. И то и другое — по приказанию Сталина.

Симонов и Бунин

Имя Симонова в первые послевоенные годы хорошо знали в русских эмигрантских кругах на Западе. Известность эта пришла еще раньше, в годы войны, и, как приходилось мне в конце 70-х годов слышать в Нью-Йорке и Париже от эмигрантов первой волны, стихи Симонова «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Если дорог тебе твой дом» были широко известны в эмиграции.

Летом сорок шестого года Симонова отрядили во Францию с заданием вернуть на родину писателя Ивана Бунина, единственного в то время русского писателя лауреата Нобелевской премии. Тогда же была сделана попытка вернуть и Алехина, крупнейшего русского шахматиста, который с двадцать седьмого года был мировым чемпионом по шахматам.

— Обе эти миссии, — сказал Симонов, — были связаны, хотя и выполнялись порознь. И обе по личному указанию Сталина. Нет, встречи со Сталиным перед этой поездкой его во Францию не было. Более того, когда товарищи в ЦК формулировали задание, имя Сталина прямо не было помянуто, но при этом дали ему ясно понять, от кого исходит поручение.

— Я не знал многих деталей, — рассказывал Симонов, — но знал, что контакты с Буниным уже устанавливались прежде, но ни к чему не привели. Ну, а теперь ожидалось, что у меня сложится успешнее. Но могло, конечно, и не сложиться.

В своих записках «Глазами человека моего поколения», надиктованных за несколько месяцев до смерти, Симонов говорит, что с вопросом о возможности возвращения Бунина впервые столкнулся летом тысяча девятьсот сорок шестого года во Франции. Послом во Франции тогда был Богомолов, который устанавливал уже прежде контакты с Буниным, не приведшие, как рассказывал Симонов, к успеху. Неудача Богомолова и привела Кремль к мысли, что надобно отрядить в Париж молодого, знаменитого, дворянских кровей, княжеского рода, боевого офицера и поэта — классический, хрестоматийный для отечественной истории тип барда! — у которого много больше шансов склонить своего коллегу по цеху изящной словесности к возвращению в родные пенаты.

Советский патриотизм сразу после победы над Гитлером едва не вошел в моду в эмигрантской русской среде во Франции, где, под обаянием, какое свойственно было победителям во все времена, готовы были отождествить «советское» и «русское».

Про Бунина распространился слух, что он вхож в советское посольство, где его всячески обхаживают. В какой-то момент Бунину даже пришлось оправдываться перед своими друзьями-эмигрантами.

— Хотя в посольстве, — рассказывал Симонов, — мне не говорили, делали ли прямо предложение Бунину вернуться, я полагал, что делали, может быть, на свой, дипломатический, манер, чтобы, смотря по результату, можно было повернуть так или этак. Ну, а я не дипломат, мне дипломатничать не надо было. Получилось так, что первая встреча произошла случайно в каком-то большом парижском зале, где собралось тысячи полторы народу. Богомолов там выступил официально как посол, а я читал свои военные стихи. Когда кончилась официальная часть, меня познакомили с Буниным и Тэффи, которая, хотя была чуть не ровесницей Бунину, выглядела много моложе, да и много приятнее была всем своим обликом, особенно поведением, я бы сказал, демократичным, в отличие от Бунина, взявшего с самого начала какой-то странный тон демонстративного отчуждения. Что им двигало, не знаю, но, думаю, он сразу хотел установить дистанцию: вот это, дескать, я, Бунин, а это вы,

оттуда, из большевистской Москвы. Вы «Окаянные дни», — перебил вдруг себя Симонов, — читали? Ну, если бы читали, так лучше бы представили себе этого человека, большого, очень большого писателя, но при том и обывателя, очень злого, желчного, с очень сильной личной нотой. Я пригласил его и Тэффи в кафе, она сразу, не скрывая удовольствия, согласилась, а он, все такой же, чопорный старик, совершенно седой, сухопарый, чуть кивнул головой, что, мол, тоже принимает приглашение. Тэффи недолго посидела с нами, сказала, что ей где-то надо быть ко времени, думаю, просто хотела оставить нас вдвоем. Затевать сразу разговор о главном нельзя было. Бунин хоть оттаял немного, но дистанцию продолжал держать. Я предложил ему пообедать в один из ближайших дней, когда ему будет удобно, в ресторане, какой он сам выберет. Он согласился сразу, наверное, ожидал приглашения и уже приготовился про себя, но насчет выбора ресторана опять взял прежнюю ноту, объясняя мне, что в Париже все нынче неимоверно дорого и хороший ресторан недоступен. Я ответил, что нынче как раз я при деньгах, во Франции только что вышли две книжки моих стихов, и я получил за них гонорар. Позднее, читая записки Симонова «Глазами человека моего поколения», я вспомнил его рассказ насчет французского гонорара, который пущен был на угощение Бунина в очень дорогом парижском ресторане на берегу Сены. Вспомнил, читая то место в записках, где Симонов говорит, как перед многомесячной командировкой за границу его пригласил к себе Молотов, естественно, по указанию Сталина, и сообщил о решении правительства выделить ему, Симонову, и двум другим писателям, которые отряжались в Америку, надлежащую сумму, чтобы, по словам Симонова, «мы имели бы достаточно средств на все расходы, включая гостиницы, разъезды, ответные частные приемы и оплату за свой счет переводчиков, которые нам могут понадобиться... Сумма, — замечает Симонов, — которую назвал Молотов, даже поразила меня в первый момент своей величиной».

— Когда делали заказ, — сказал Симонов, — у меня сложилось впечатление, неожиданное для меня, что у Бунина проблемы с французским языком.

— Я еще до ресторана, — продолжал Симонов, — решил, что надо сразу говорить о деле. Бунин тоже, я был уверен, понимал, какого рода разговор предстоит, и наверняка приготовился. Тем не менее, поначалу шло через пень колоду. Заговорили об отношении Бунина к советскому подданству. Тут он вспомнил Куприна, как того привезли — он так и выразился: «привезли» — в Россию и сказал, что не хотел бы, чтобы и его так привезли. Ну, тут показалось мне, что дело на лад идет, коли сам, хотя пока и в отрицательном смысле, Бунин говорит о советском подданстве. Можно, конечно, продолжал Бунин, как будто полемика была не со мной, а с самим собою, принять советское подданство, но остаться во Франции. А для чего, какой резон? Франция не чужая ему страна, за четверть века он полюбил ее, привык к парижским улицам, к здешним людям, к образу жизни. Все это было так, да не так: полюбить-то полюбил и привыкнуть привык, но все равно оставался чужим. Я уже знал из разговоров с другими, что хоть минуло четверть века, а варятся они в своем соку, живут, как и жили, своей колонией. «Как же вы, Иван Алексеевич, — говорю ему, — привыкли к французской жизни, если живете истым эмигрантом и вся ваша жизнь здешняя в русской колонии?» Он ответил не сразу. Я думал, готовит мне отповедь, а он вдруг согласился: да, это так, но и в советской России он будет, как в колонии. Из его поколения кто там остался? Один Телешов, да и тому... Нет, покачал головой Бунин, нет ему резону туда ехать, все чужое.

Симонов задумался, полуобернулся к окну, тряхнул головой, движение было резкое, решительное:

— Это чепуха, что пишут теперь в предисловиях к Бунину: дескать, автор пересмотрел свою позицию. Я на Западе прочитал «Жизнь Арсеньева», «Лику», щемящие по-русски, по всему настрою своему вещи, которые дали мне тогда ощущение, почти уверенность, что есть реальный шанс вернуть Бунина в Россию. В какой-то момент во время разговора в ресторане мне почудилось, он колеблется, надо слегка подтолкнуть его, я спросил: может, он опасается мести, каких-нибудь репрессий со стороны властей? Это явно задело его: «Чего бы я ни говорил, как бы ни писал против

большевизанов, но я же никогда не призывал, как Алешка Толстой, загонять большевикам иголки под ногти!»

Я не знал, что писатель Алексей Толстой, автор романа «Хлеб», первого в литературе соцреализма монументального, в масштабах истории, панегирика Сталину, призывал как раз в годы гражданской войны загонять большевикам иголки под ногти.

Симонов сказал:

— Я тоже не знал. Но расценил тогда эту параллель с Алексеем Толстым в благоприятном для главной цели смысле. Я предложил, в порядке продолжения контактов, устроить у Бунина в доме русский обед. Наши летчики каждый день в то лето летали в Москву. Я объяснил ребятам, какое дело: вот старейший русский писатель Бунин, надо угостить его по-нашему, по-русски, чтобы вспомнил свое, родное, и ребята привезли из Москвы, покупали в магазине Елисеева, черного хлеба, колбасы, селедки, водки, калачей — и все это я приволок в дом к Бунину. Пришли тогда Тэффи и Георгий Адамович. Очень интеллигентный, умный человек, Адамович видел Россию как Россию, без хронологических надобов и рвов. Год или два спустя он выпустил в Париже книжку «Вторая родина», настоящую исповедь любви к России. Гостей было много, ну, наверное, некоторые пришли ради русского стола, но общая нота была хорошая, искренняя. Бунин ел с аппетитом да приговаривал: «Хороша большевистская колбаска!» Опять зашел разговор о возвращении на родину, я прочитал свою поэму об эмигрантах, может быть, надо было выбрать что-нибудь другое, получилось немного прямолинейно. Ну-да слово не воробей.

Симонов умолк, опять уставился в окно. Я ждал продолжения, наконец, не выдержал и спросил: был в этот вечер отдельный разговор с Буниным? Был, сказал Симонов, в этот вечер и после были еще встречи, разговоры.

Услышав его ответ, я вспомнил другой рассказ писательницы Ум-эль-Банин Ассадулаевой, подруги семидесятишестилетнего мэтра, тридцатью пятью годами моложе него, последней, как говорят, его любви — рассказ, который довелось мне прочитать в Нью-Йорке в апрельской и майской книжках журнала «Время и мы» за 1979-й год.

Более всего запала мне в память тональность воспоминаний, с критической, но и с восторженной нотой, писательницы, которая, сколько можно судить по ее рассказу, участвовала чуть не в каждой встрече четы Симоновых с Буниным. Я говорю «Симоновых» потому, что гостей из Москвы было двое: поэт и его жена, актриса Валентина Серова. Симонов, когда рассказывал мне о тогдашней своей парижской миссии, лишь однажды помянул, что в Париж к нему, как выразился он, «подъехала жена». По месту, какое ей отводит в своих мемуарах Ум-эль-Банин, Серова была важной частью «десанта», отправленного тогда Москвой в колонию русских эмигрантов во французской столице.

Серова, по словам мемуаристки, «была образцом тонкости и изысканности... волосы белокурые, стройность, мечтательность, мягкость... Эта женщина вызывала восхищение». Когда она говорила о своей стране, Советском Союзе, и о благах, какими власть одаряет своих писателей, «священный огонь горел в ее васильковых глазах».

Эта обаятельная, обворожительная женщина, по впечатлению, какое сложилось у автора мемуаров, обхаживала Бунина, который и был главным объектом интереса московской четы — поэта и его супруги.

Обед, устроенный Симоновым в доме у Бунина, Ум-эль-Банин представила в деталях, которые стоят того, чтобы передать их в ее собственном изложении.

«Стол был накрыт на русский манер: «Made in Russia». Он ломился от закусок и водки. Колбасы, копченая севрюга, свежая осетрина, анчоусы, селедки, кетовая и паюсная икра, маринованные грибы, пирожки с капустой и с мясом, пышная кулебяка... Заботливый Симонов заказал даже хлеб и масло...»

Серова стала превозносить советские вина, поставив их выше французских. Симонов тут же выступил в поддержку жены, сославшись на достижения советского сельского хозяйства, в особенности его виноделия.

Мэтр, уже и до того несколько подстегнутый выпитым, воскликнул:

— А что, солнце тоже встало на стахановскую вахту и греет жарче, чем при царизме?

Бунин, пишет Ум-эль-Банин, окончательно распустился. «Показывая на икру, он говорил: «Передайте мне этого буржуазного предрассудка»... Водку он назвал «стахановка» и сочинял стишки, где водка рифмовалась с голодовой, чертовкой и забастовкой».

После обеда в доме у него была еще одна беседа с Симоновым. Решался вопрос, ехать ему в Москву или не ехать.

Теперь, однако, настроение Бунина переменялось. Да, говорил он, Симоновы ему понравились, но вопрос оказался «куда сложнее, чем вы себе представляете. Чем больше об этом думаю, тем труднее мне решить...» Конечно, понимал Бунин, в советской России ждали его материальные блага, но за это предстояло дорого заплатить. «Душу я не продаю ни черту, ни большевикам... Если бы я согласился ехать туда, они бы воспользовались моим именем, чтобы завлечь других... Я бы служил им вывеской, меня бы заставили говорить то, чего я не думаю...»

Об этой последней, встрече с Буниным Симонов рассказывал:

— Перед моим отъездом в Москву Бунин просил уладить кой-какие дела его с «Гослитиздатом». Настроение у него держалось, в основном, прежнее. До меня доходило, что Алданов сильно накручивал его против большевиков, но старик все-таки не уклонялся от разговора, видно, оставалось чувство недосказанного. Незавершенного. А когда я воротился в Москву, как раз взяли в оборот Зощенко с Ахматовой, так что Бунин отпал само собою. Само собою, — повторил Симонов.

Рассказывая о своей парижской миссии, Симонов говорил об очень сильной личной ноте в «Окаянных днях», но говорил не обличая, не осуждая, а с видимой досадой и, как мне показалось, грустью.

— А писатель большой. Большой русский писатель. Мне говорили, на Нобелевскую премию было три кандидата из русских: Горький, Мережковский и Бунин. Выбрали Бунина.

Не помню, как именно обернулся разговор — возможно, просто пришлось к слову, — но Симонов вдруг улыбнулся, махнул по привычке своей трубкой и сказал, что, если

верить западным газетам, а они обычно хорошо осведомлены, несколько лет назад он тоже был кандидатом на Нобелевскую премию. И добавил: «Нобелевская премия очень высоко котируется на Западе».

В детали он не стал входить, придумав своим словам какой-то не то юмористический, не то иронический оттенок, так что у меня осталось впечатление, что речь идет о какой-то газетной утке, придавшей его реплике этот полушутливый, даже несколько ернический оттенок. А недавно в Нью-Йорке, просматривая старые газеты, я наткнулся в одном из декабрьских номеров за шестьдесят второй год, «Нью-Йорк Геральд Трибюн» на заметку известного американского журналиста Джона Кросби «Неунывающий русский романист», в которой тот рассказывал о своей встрече с Симоновым в Париже. Встреча была, как объяснял Джон Кросби, вызвана сообщением одной французской газеты, что ближайшим кандидатом на Нобелевскую премию, поскольку Борису Пастернаку советское правительство в свое время запретило принять премию, является Константин Симонов — исключительно популярный романист, книги которого разошлись тиражом в 20 или 30 миллионов экземпляров. Джон Кросби спросил Симонова, примет ли он, в случае присуждения ему, Нобелевскую премию, на что Симонов, у которого он нашел большое портретное сходство с Вильямом Фолкнером, ответил с юмором, что ни в малейшей степени не видит себя на ролях Нобелевского лауреата.

Выбрали тогда американца Джона Стейнбека. А три года спустя Нобелевскую премию по литературе дали Михаилу Шолохову.

— Вы помните, наверное, полемику о псевдонимах, какая у меня была с Шолоховым в пятьдесят первом году. Ну, наши отношения с тех пор теплее не стали, хотя я узнал, что Шолохов не сам ввязался в полемику, где занял махровую позицию, а подбил его один правдинский журналист, — Симонов назвал имя, которое мне было хорошо известно. — Я почти уверен, что и статью против меня писал не сам Шолохов, а этот правдист. Но с Нобелевской премией я сам поздравил его, потому что «Тихий Дон», если говорить по делу, много больше заслужил меж-

дународную литературную награду, чем пастернаковский «Доктор Живаго», вещь, в общем, средняя, а местами просто слабая. Я думаю, — добавил Симонов, — что Алексей Толстой, который сказал однажды, что «Тихий Дон» что-то вроде «Войны и мира», но, дескать, в областном масштабе, был неправ: «Тихий Дон» не пособие по краеведению, а большое художественное произведение. А насчет слухов, что будто бы не Шолохов автор романа, — чепуха. Ну, толчок какой-то извне, возможно, был. Но только толчок, не больше. Хотя, — улыбнулся Симонов, — толчок в нашем писательском деле — это тоже не мало.

Булгаков

За несколько дней до приезда в Москву я прочитал в январской книжке журнала «Москва» окончание «Мастера и Маргариты», хотел сразу написать Симонову, поблагодарить его, председателя Комиссии по литературному наследству Михаила Булгакова, за публикацию, которая стала центральным событием для всей читающей России.

Письма я, помнится, так и не написал, и вот, встретившись в начале 67-го года с Симоновым за чашкой кофе, я стал рассказывать ему, что уже две или три недели стоят передо мною картины древнего Ершалаима, фигуры Иешуа Га-Ноцри и прокуратора Иудеи Понтия Пилата, то освященные ослепительным левантийским солнцем, то скрытые в ночном сумраке Иудеи.

Самое поразительное, что Москва двадцатых годов, какой представляет ее Булгаков, видится как нечто эфемерное, призрачное в отличие от двухтысячелетней давности Ершалаима, со ступающими по его мостовым Иешуа Га-Ноцри, Понтием Пилатом, Иудой из Кириота, которые видятся отчетливо, как хорошо освещенные фигуры перед глазами наблюдателя, могущего при желании обойти их со всех сторон и даже пощупать руками.

Сжав пальцы в кулак, Симонов сделал резкое, с усилением движение рукой, как будто наносил удар:

— Великолепная проза! Представляете себе, всю эту линию — Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри — они хотели выки-

нуть. Я доказывал в ЦК, что булгаковский Иисус — никакой не сын Божий, а просто историческая фигура, живой человек, каких было немало в то смутное время на Ближнем Востоке. А они, в ЦК, твердят свое: Понтий Пилат и Иисус — другая тема, никакого отношения к роману не имеет.

— Ну, — сказал я Симонову, — по-своему они правы, если не считать того, что «Мастер и Маргарита» — это роман о двух чудесах, разделенных почти двумя тысячами лет. Одно чудо — Иешуа Га-Ноцри в Ершалаиме, другое — сталинская Москва 20-30-х годов.

— Вы так прочитали, — усмехнулся Симонов. — Ну, можно и так прочитать. Они этого не говорили, но, может быть, чувствовали так же или близко к этому. Но, конечно, не устраивала их и сама по себе евангельская тема в романе, и рядом будни Москвы с ее социалистическим строительством. Был момент, нехороший момент, я терял уже всякое терпение, думал, черт с ним, пусть летит все в тартарары. И вдруг мне пришло в голову...

Симонов задумался, видимо, подыскивая слово, махнул рукой и повторил:

— И вдруг мне пришло в голову: надо говорить о длиннотах в романе. В романе есть длинноты. Булгаков был смертельно болен, продолжал шлифовать каждую страницу, но времени уже не было. На этом, решил я, надо делать акцент, — Симонов опять задумался, взгляд сделался тяжелый, неподвижный. — Собаке надо бросить кость: пусть грызет! Я заранее, отправляясь в ЦК, намечал фразу, абзац, сцену, которые можно уступить. Пусть грызут. Иногда приходилось импровизировать, смотря по настрою, по реакции, какую вызывало у них то или иное место. Дрались за каждое слово, с ударами кулаком по столу, угрозой с моей стороны послать все к чертовой матери, пусть делают, что хотят, а я отказываюсь от публикации романа: двадцать шесть лет рукопись пролежала в архиве, рукописи не горят, еще полежит. Тактика оказалась правильная. Сработала.

— Что значит сработала? — удивился я. — Если резали по живому телу романа, без автора, который уже не мог постоять за себя.

— Слушайте, — Симонов крепко затыкнулся, шумно пыхнул, выдувая с яростью клубы дыма, — решалась судьба романа.

Вопрос стоял так: увидит роман свет, дойдет до читателя или не дойдет? Я говорил, что откажусь от председательства в Комиссии по булгаковскому наследству, пусть назначают другого. И бросал ... одну кость, другую, третью...

Он снова повторил, что надо бросить кость, чтобы грызли. Надо дать им грызть, чтобы чувствовали: кость в зубах.

— Из значительных по объему кусков, — сказал Симонов, — выбросили сон Никанора Ивановича и сцену в торгсине. Поверьте, роман от этого не пострадал. Читатель читает настоящего Булгакова.

Я подтвердил: ни у кого нет сомнения, что читают Булгакова. У людей ощущение праздника.

— Вот, вот, — обрадовался Симонов, — роман дошел до читателя. А это главное: дошел до читателя. Если будет возможность сравнить полный текст «Мастера и Маргариты» с опубликованной версией, вы сами увидите, что купюры незначительны, а иногда, — Симонов засмеялся, сделал движение рукой, как будто бросает что-то на пол, — так... кость.

Среди «костей», как мне представлялось тогда, брошенных на Старой площади, была еще одна, связанная с местом публикации «Мастера и Маргариты». Незадолго до появления романа прошел слух, что «Новый мир» в ближайших номерах даст Булгакова. В ноябре вдруг обнаружилось, что дает Булгакова не «Новый мир», не Твардовский, а дает его «Москва», где редактором был тогда Евгений Поповкин, от которого никто, кажется, никаких сюрпризов не ожидал.

Я спросил Симонова, почему «Мастер и Маргарита» не дали в «Новом мире»: это что, тоже была «кость»?

— Никакой кости, — сказал Симонов резко и, как мне показалось, раздраженно, — не было. Я предлагал Твардовскому роман. Он прочитал рукопись. Восторга, как у меня, роман у него не вызвал. Ну, я отчасти был готов к этому. Когда давали в «Новом мире» булгаковский «Театральный роман», он потратил два года, чтобы пробить его. Теперь надо было начинать сызнова. Думаю, просто не хватило нервов. Да и вообще, с Твардовским не все так просто. А тут позвонила из «Москвы» Евгения Ласкина, мать моего сына Алеши: «Костя, у нас в январе юбилей, «Москве» десять лет. Дай нам что-нибудь юбилейное». Я сказал, есть Булгаков, «Мастер и Маргарита», и переслал рукопись в

«Москву». Поповкин, как водится, поблагодарил, а сам пошел в ЦК выяснять, как быть с подарком, какой, дескать, получил от Симонова. Пошел, не поставив меня в известность, так что ситуация получилась двусмысленная. Нехорошая. Был у нас по этому поводу разговор. Ну да, Бог с ним. Главное, что дело сделали: напечатали роман.

Дневники, не увидевшие света

Публикация «Мастера и Маргариты» — со всеми сопровождавшими ее маневрами, с «бросанием костей», со счастливой, в общем, развязкой — давала, как представлялось мне, повод вернуться к другому делу, очень близкому по времени (осень шестьдесят шестого года), которое кончилось для Симонова далеко не столь благополучно.

В десятой книжке «Нового мира» за шестьдесят пятый год было объявлено, что в планах журнала на следующий год — публикация дневников Симонова военных лет. Помню, об этих дневниках еще раньше шли слухи, что гвоздь их — октябрьские дни сорок первого года в Москве, когда Сталин приказал эвакуировать правительство в Куйбышев и сам уже приготовился к отъезду. По слухам, дошедшим с тех лет, два дня в середине октября город был предоставлен самому себе.

О предстоящей публикации, приуроченной к двадцатипятилетию обороны Москвы, Симонов говорил, как о деле, решенном в самых высоких инстанциях, где определялась судьба такого рода литературы. И в голосе его отчетливо звучали ноты удовлетворения и, как слышалось мне, гордости. Гордости не за себя, а за правду истории, которой удалось пробиться, хоть и четверть века спустя, через всякие преграды и препоны.

Совершенно уверенный, что в середине октября сорок первого года он был в Москве, я спросил Симонова, действительно ли положение в городе было столь критическое, как теперь, более двадцати лет спустя, доводится слышать.

Бросив мгновенный взгляд — такой взгляд, как бы оценивающий, взвешивающий, я замечал у него и прежде, когда возникала неожиданная тема — Симонов ответил, что

в те октябрьские дни был на севере, на Карельском фронте. Но про положение в городе имел сведения от газетчиков, очевидцев, которые только что прилетели из Москвы.

— Это просто чудо, — сказал Симонов, — что немцы тогда не двинули свои танки. В тот день они, пожалуй, могли бы прорваться в Москву. В городе уже начались грабежи, мародерство — верный признак безвластия. Поначалу на окраинах, а потом и ближе к центру, в Садовом кольце, грабили магазины, склады, прохожих на улицах, в подворотнях. Пошел слух про Сталина, что он с правительством вылетел в Куйбышев, а вместо себя оставил в Кремле своего двойника. Насчет двойника Сталина позже, в ноябре, тоже ходили в Москве слухи. Чепуха, конечно.

По рассказу Симонова, самые тяжкие для Москвы дни пришлось на 15-16 октября, когда в городе, как казалось, покинутом властями, людей уже охватывала паника.

— К общим опасениям и страху за Москву, какие были у всех у нас тогда, у меня был еще свой личный страх за стариков, мать и отца, которых надо было вывезти, пока была возможность, а я не позаботился, не вывез, и теперь не знал, как они там, что с ними.

Итак, в Москве ждали выхода октябрьской книжки «Нового мира» с обещанными дневниками. В октябре, однако, когда должен был выйти десятый номер, в «Известиях» мне сказали, что тираж с дневниками Симонова пущен под нож. Позднее я узнал, что тогдашний шеф печати Романов на замечание об истраченных на тираж деньгах ответил: «Когда речь идет об идеологии, мы денег не считаем».

Между тем, я вспомнил историю с дневниками и спросил, правда ли, что тираж десятой книжки «Нового мира» пущен был под нож.

— Кто сказал вам? — восторженно спросил Симонов.

Я ответил, сказали в издательстве «Известий». Не отрицая, не подтверждая моих слов, Симонов тут же стал рассказывать, как требовали от него в ЦК купюр, авторской и редакционной правки, а он решительно отказался, стоял на своем, либо пусть печатают как есть, включая октябрь сорок первого в Москве, либо пусть никак не печатают.

— Ничего, — Симонов раскурил свою трубку, крепко затянулся, — ничего, придет время — напечатают. Придет время.

Я сказал: где гарантия? Булгаков ждал двадцать шесть лет, и то с купюрами пошел. Произнеся эти слова, я вдруг сообразил: и симоновским дневникам почти столько же - четверть века.

- Ничего, - уверенно повторил Симонов, - придет время!

В 1982-м году вышел, через три года после его смерти, двенадцатитомник Симонова, с дневниками автора «Разные дни войны». В Нью-Йорке в библиотеке Колумбийского университета, просматривая в 8-м томе военный дневник писателя лета и осени сорок первого года, в главе семнадцатой, которая начинается с многоточия, я нашел несколько строчек о Москве: «... 17 октября... в Мурманск только что прилетел кто-то из газетчиков, вылетевших из Москвы накануне, и он во всех подробностях рассказал Мишке (Бернштейну, военному фотокорреспонденту - А. Л.) о происшедшем в тот день. Я услышал это уже из вторых уст, но все равно это произвело на меня тягостное впечатление. Что это такое, я представлял себе и по Борисову, и по Днепропетровску, и по другим местам, но, думая о Москве, особенно тяжело было узнать об этом... Становилось уже ясно, что немцы угрожают непосредственно Москве».

Вот и все о Москве середины октября сорок первого - страшных днях мародерства, грабежей, убийств в почти брошенной хозяевами столице, красноречивой белокаменной Москве.

Во время войны, отвечая на вопрос американского телеграфного агентства о долге писателя вести военные записки, Симонов сказал: «Что бы они (писатели) ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили читатели - все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали на войне за войну, окажутся именно их дневники».

В шестьдесят шестом году, отказавшись сделать купюры в публикации для «Нового мира», Симонов уповал на будущее: «Придет время!»

Четыре года спустя в «Записках молодого человека», куда вошли дневниковые записи октября сорок первого, автор сообщает, что узнал «некоторые подробности происшедшего» — и уточняет: «в тот день» — в Москве, ему «было почти

непереносимо думать о том, что происходит там». Но каковы были эти узанные им подробности, читателю не сообщил.

Купюры, от которых Симонов отказался в шестьдесят шестом, сделаны были им в семидесятом.

Еще двенадцать лет спустя, три года по смерти его, в самом фундаментальном собрании сочинений писателя, где дневники военных лет составили два тома из двенадцати, в том месте, где надлежало быть рассказу о роковом дне Москвы, поставлены были издателями многоточия.

В ремесле хрониста конец сказа спокон веков обозначается, как известно, точкой.

Спор о роли писателя

Весной шестьдесят восьмого года, наконец, вышла в «Советском писателе» моя книга рассказов «Большое солнце Одессы», которые Симонов отдал в отдел русской прозы издательства три года назад. Перечитывая книгу, я испытал вновь чувство, которое бывало у меня уже прежде.

Короче, мне надоело мое собственное присутствие в книгах, которые я пишу. Жизнь должна рассказывать самое себя, как будто нет никакого автора, нет никакого рассказчика, даже стороннего, даже самого беспристрастного.

Я говорил об этом с Симоновым прежде. Он возражал мне, что такое изображение, во-первых, невозможно, а во-вторых, даже если бы и было возможно, все равно читатель хочет знать, какова позиция автора. Я отвечал, что писатель не проповедник, не учитель жизни, и задача его не наставлять читателя, а показать жизнь объективно, по крайней мере настолько, насколько это доступно человеку.

Мы вышли из кабинета Симонова в доме кинематографистов, в двухстах метрах от станции метро «Аэропорт», он сказал, ему надо в центр, если мне по пути, можно подбросить. Мне было не по пути, я проводил его к машине, которая ждала на противоположной стороне Ленинградского проспекта. Зажегся красный свет, мы остановились у перехода. Продолжая разговор, я опять повторил, что автор не должен присутствовать в своих вещах и в романе об Одессе, который собираюсь начать в апреле, автора не

будет, а будет жизнь, будничная одесская жизнь, существующая сама по себе, как существуют, скажем, одесские лиманы, черноморская степь или главный городской рынок.

В те дни я искал название своему роману — «Двор, в котором я живу», «Наш двор», «Мой двор» — все с четким обозначением пространственных границ, которые, однако, как я чувствовал, должны были подчеркнуть не уникальность моего двора, а, напротив, его типичность.

Симонов, когда я стал перечислять названия, ни на одном из которых не мог остановиться, вдруг перебил меня и громко воскликнул:

— При чем здесь «мой двор», «наш двор», «ваш двор»? «Двор», — сказал он, — просто «Двор», огромный, как вся империя!

Эти слова — «Двор, огромный, как вся империя!» — произнесенные чужим голосом, внезапно отделили от меня картину, какую до этого момента я чувствовал как бы в себе, отделили и сделали чем-то сторонним, что можно наблюдать, как спектакль, где есть, конечно, постановщик, но увидеть этого постановщика невозможно, а видны только актеры, которые живут полноценной жизнью, уверенные, что действуют по собственному своему желанию, по собственной воле.

Симонову не нравились эти мои суждения, он говорил, что так можно докатиться черт знает до чего. Писатель должен установить для себя границы, а иначе получается по ту сторону добра и зла, русской литературе это всегда было чуждо, нравственная нота искони была в ней сильнее, чем в любой другой литературе.

У меня от этих разговоров оставался неприятный осадок, как бывает, когда при полной, казалось бы, искренности и откровенности все равно сохраняется чувство недосказанности, утайки чего-то самого главного, самого важного, без чего и весь разговор вызывает ощущение досады и ненужности.

Было в этом, видимо, ощущение, точнее, предощущение неминуемых размолвок, расхождений не по одним только вопросам литературной эстетики, хотя отношение Симонова ко мне было в те дни самое дружеское, с неизменной готовностью практически помочь, когда возникала в том нужда.

Кто основал Одессу!

В 1969-м году Одесса отмечала свое 175-летие. Праздничная кампания, затеянная хозяевами города загодя, обернулась настоящим шабашем, венцом которого, как намечалось, должно было стать низвержение памятника герцогу Ришелье у Потемкинской лестницы и установка на его месте памятника генералиссимусу Суворову, по партийной версии подлинному основателю Одессы.

Увы, свидетельства самого генералиссимуса ревнители отечественной славы из секретарских кабинетов обкома партии придавали так же мало значения, как и всяким другим свидетельствам истории.

Я обратился к Валентину Катаеву с просьбой заступиться за Дюка — одесситы называют герцога Ришелье на французский манер «Дюк» — и за историю родного города.

Катаев внимательно выслушал меня и сказал:

— Если надо, чтобы кто-нибудь считался основателем Одессы, так пусть это лучше будет Суворов, чем кто-нибудь другой.

— Валентин Петрович, но есть же история.

— Что значит история! — вскинулся он. — Нет никакой истории, есть память людей о событиях, у каждого по своему.

Воротясь из Переделкина, где у меня была встреча с Катаевым, я позвонил Симонову, рассказал о разговоре, какой там произошел, и закончил просьбой:

— Константин Михайлович, вы автор поэмы «Суворов», в сорок первом году были военным корреспондентом в осажденной Одессе. Помогите.

— Давайте, — сказал Симонов, — садитесь в метро, приезжайте.

Я приехал. Сели за стол, он налил кофе, кивнул головой:

— Рассказывайте.

Рассказ получился длинный, с экскурсами в российскую историю конца XVIII века, приобретая слишком лирическое направление. Надо как-то повернуть к главному. Симонов, должно быть, заметил это и резко, по своему обыкновению, прервал:

— Короче, давайте ближе к делу. Что вы предлагаете? У вас есть план?

Никакого плана у меня не было. Я представлял себе, что Симонов напишет статью, очерк, опубликует в «Правде» или «Известиях», на худой конец, в «Литературке», а дальше все завяжется само собой.

— Нет, — сказал Симонов, — это не годится. Я вижу, вы не продумали. Тут нужно коллективное письмо историков, литераторов, деятелей культуры. Начинать надо с историков. Вы знаете академика Державина? Не знаете. Обратитесь к нему. Сошлитесь на разговор со мной. Приготовьте заранее текст. Державин скажет, к кому еще он рекомендует обратиться. Когда подпишут историки, приходите ко мне: я подпишу.

Ни к Державину, ни к другим академикам-историкам я не обратился. Идея коллективного письма историков, литераторов, деятелей культуры была неприятна мне, хотя бы и по такому делу, где требовалось отстоять подлинную историю моего родного города.

Вскоре в «Неделе» появился мой очерк «Одесские катакомбы», а затем в одесской газете «Знамя коммунизма» — набранное едва заметными буквами сообщение, что Комитет по геодезии и картографии при Совете министров СССР объявил памятник Ришелье в Одессе «под охраной закона».

Резидент международного сионизма

Несколько месяцев спустя, весной семидесятого года, в Одессе вдруг затеяли против меня дело. Я никогда не был членом партии, но дело началось именно с этой организации, обкома партии, куда предложил мне явиться заведующий идеологическим отделом Ануфриев.

— У нас, — сказал он, — имеются неопровержимые данные, что вы главарь одесского сионистского подполья и резидент международного сионистского клуба Бабеля в Варшаве. В Москве у вас есть связи и пособники.

В середине августа меня вызвали в КГБ, к генералу Куварзину.

— Данные о вашем сотрудничестве с иностранными центрами, — сказал Куварзин, — не подтвердились. Но граждански вы нас не устраиваете. Эстетически вы талант, но граждански, — повторил он, — вы нас не устраиваете. Ваши книги — еврейские книги.

— Я русский писатель, — ответил я, — к изданию моих книг не причастен ни один еврей. Директор издательства «Советский писатель» Николай Лесючевский — антисемит, писатель Константин Симонов — русский дворянин, редактор моей книги Юрий Рюриков — сын сталинского идеолога Бориса Рюрикова.

Глядя на меня в упор, Куварзин выложил руки кулаками на стол:

— Они все заражены еврейским духом.

Вскоре я выехал в Москву по литературным своим делам, по приезде сразу позвонил Симонову, чтобы договориться о встрече: я не сомневался, раньше или позже он узнает, что на меня завели в Одессе дело.

В шесть, без пяти минут, я был на станции «Аэропорт», ровно в шесть поднялся на лифте, дверь открыл Симонов, поздоровался, не протягивая руки, и провел к себе.

Знакомству нашему, с лета шестьдесят четвертого года, пошел седьмой год. Никогда прежде я не видел Симонова таким: хмурый, причем без малейшего желания скрыть эту свою хмурость, напротив, даже, как казалось мне, намеренно подчеркивая ее, он не глядел в мою сторону, рукой указал на стул, сам присел к столу, опустил голову, с полминуты сидели молча, вдруг поднял голову, однако все так же, по-прежнему не глядя в мою сторону, сказал:

— Расскажите, что у вас там стряслось.

Я ответил: ничего не стряслось, был ложный донос от братьев-письменников, вызывал генерал КГБ Куварзин, сказал, что данные о моем сотрудничестве с иностранными центрами не подтвердились, но предостерег, как бы не застрять, потому что книги мои заражены еврейским духом. Кроме того, генерал Куварзин объяснял, что есть писатели, которые, будто бы объективно изображая Сталина, на самом деле в своих романах о войне поносят его. А Сталин еще пригодится.

Симонов внимательно слушал, я был уверен, он сейчас засмеется, ну, не засмеется, хоть улыбнется, но нет, не засмеялся, не улыбнулся, взял свою трубку, набил табаком, закурил, посмотрел, наконец, мне в глаза и воскликнул с досадой:

— И всюду-то вы суετε свой нос! Иван Гайдаенко говорил мне про вас: способный литератор, но смутьян, везде

сует свой нос, куда полезет, обязательно что-нибудь заваривается. А вы писатель, занимайтесь своим делом. Дело писателя — писать. И тогда не будет нужды в литературных консультантах из органов. А генералу вашему, — Симонов тряхнул трубкой, — передайте: пусть внимательнее читает материалы партийных съездов.

Впервые не захотелось мне долее оставаться здесь, захотелось скорее уйти, хотя не оставляло чувство недоговоренности, недосказанности, какой-то нелепой, унижительной двусмысленности.

Память человеческая своенравна. Сколько ни пытаюсь сейчас вспомнить, как же дальше проходила эта наша встреча, о чем говорили, на какой ноте закончилась, перед глазами моими возникает только черная ниша, без единого просвета, какое-то чуждое человеку пространство, и сразу за ним возникает другая картина, полная света, летнее утро шестьдесят второго года, когда я опять в гостях у Симонова, но не в квартире его, а в конторе, тут же, неподалеку, в доме кинематографистов.

Весной в Одессе, через пять лет, помеченных унижительными отказами, меня, наконец, приняли в Союз писателей. Теперь предстояла следующая ступень, чисто формальная: утверждение решения правления одесской писательской организации в Киеве.

В Киеве принял меня секретарь республиканского правления Солдатенко, незадолго до того переведенный, как говорили мне, из столичного горкома партии.

— Ваши документы о приеме, — сказал Солдатенко, — мы не рассматривали и рассматривать не будем, потому что рекомендации написаны по-русски. А у нас украинская писательская организация, и кто рекомендует, пусть пишет свои рекомендации, как положено, по-украински.

Рекомендовали меня Константин Симонов, Борис Полевой, несколько позднее присоединился к ним Валентин Катаев — все русские писатели, все секретари или члены тогдашнего общесоюзного правления Союза писателей.

— Ну и что ж, что русские писатели, ну и что ж, что секретари правления, — отвечал Солдатенко, — а если посылают свои рекомендации в украинскую организацию, так пусть пишут тем языком, каким надо. И собственноручно подпишутся.

Симонов, когда я рассказал ему обо всем, что приключилось со мной в Киеве, пришел в возбуждение, которое было полной для меня неожиданностью. Он буквально заметался по кабинету, держась левой рукой за грудь и выкрикивая:

— Этого я так им не оставлю! Они хотят рекомендацию в переводе на украинскую мову, я переведу им, на какую угодно мову; тут у меня есть еще пара недобитых евреев, они переведут им хоть на идиш, хоть на иврит! Нет, я ничего подписывать не буду. Пусть попробуют. Пусть попробуют!

Потом он успокоился, сам предложил принять по стопке, спросил, как движется роман. И вдруг, улыбнувшись, сказал:

— Я вижу, вам очень хочется, чтобы я подписал. Ну, давайте сюда свою бумагу, я подпишу.

Я положил на стол украинский текст, под которым значилось, отпечатанное на машинке, имя: «Костянтин Симонов».

— Костянтин, — произнес он вслух, опять улыбнулся и подписал.

Прощание

В феврале семьдесят третьего года я тяжело заболел, а после болезни позвонил Симонову, сказал, что провел два месяца в больнице, но теперь опять на ногах, две книги «Двора» закончены, отредактированы и перепечатаны, прошу в гости.

Симонов ответил, что занят сейчас своим делом, времени для встречи нету, предложил позвонить недели через три-четыре.

Через три-четыре недели оказалось, со временем у него по-прежнему туго.

— Позвоните, — сказал он, — где-нибудь в августе-сентябре.

Я вернулся в Одессу, где, говоря языком гоголевского героя, ожидало меня пренеприятное известие.

Семен Цвилюк, директор местного издания «Маяк», в прошлом обкомовец, пригласил меня к себе и, плотно заперши дверь, сказал:

— После выступления Грушецкого, сам понимаешь, председатель президиума Верховного совета Украины, тебя занесли в черные списки. Печатать больше не будут.

По приезде в Москву я снова позвонил Симонову.

— Вы где? — спросил он. — В Москве? Ну, приезжайте где-нибудь так к концу недели. Устраивает? Четверг, пятница? Добро, в пятницу.

Симонов сказал, ему удобнее часика в два. Если нет возражений, на том и порешим: четырнадцать ноль-ноль.

Времени до встречи оставалось немного. Во-первых, надо было еще раз просмотреть экземпляр «Двора», приготовленный для Симонова; во-вторых, надо было обдумать, как подать ему последнюю новость насчет черных списков. Ну, для начала надо было все-таки уточнить, действительно ли Москва дала это распоряжение, и если верно, что Москва, то что он, Симонов, мог бы в этом случае сделать.

Отворив дверь, он движением руки пригласил меня в дом, усадил за стол, сел напротив, вполоборота ко мне, руку положил на стол, слегка согнув пальцы, и как бы приготовясь барабанить, спросил, как самочувствие, я ответил, самочувствие нормальное, он тут же подхватил:

— Ну что ж, это хорошо, что самочувствие нормальное. Так и должно быть. А врачи что говорят?

Я сказал, профессор Василенко, директор института гастроэнтерологии, где лечили меня, тоже считает, что самочувствие должно быть нормальное — это главное.

— Это какой Василенко? — спросил Симонов. — Который проходил в пятьдесят третьем году по делу врачей? Да, помню, был такой, затесался в компанию.

Профессор Василенко, сказал я, очень удивлен, что писатели до сих пор не взяли за тему о средневековых процессах ведьм, которые сами на себя доносили инквизиции.

— Интересная тема, — кивнул Симонов. — В истории много парадоксов. Ладно, что там у вас опять стряслось в Одессе?

До этого момента он сидел вполоборота, теперь повернулся лицом ко мне, смотрел прямо в глаза, я ответил, что ничего нового, повторяется история семидесятого года, только теперь вмешался голова украинской Верховной рады Иван Грушецкий, и комитет по прессе внес меня в черные списки.

— Какие черные списки! Кто сказал вам? Директор одесского издательства? Прекрасно! Вот он, ваш одесский

директор издательства, пусть покажет вам это распоряжение комитета.

Я ответил:

— Вы сами знаете, он не может показать. Не имеет права.

— Короче, — перебил Симонов, — вы ждете от меня помощи. Я не могу вам помочь. Ничем. Сами впутались — сами выбирайтесь.

Он взял свою трубку, выбил пепел, положил табаку, закурил.

— Что еще у вас?

Я вынул из портфеля рукопись «Двора», около тысячи машинописных страниц, хотел положить на стол, но так и не положил, продолжал держать в руках:

— Константин Михайлович, хочу знать ваше мнение. С вами был первый разговор о романе, когда «Двор» был задуман. Вы дали название роману.

— Не буду читать, — решительно заявил Симонов. — Нет времени. Свои рукописи лежат. Нет на все времени.

— Константин Михайлович, есть свободный экземпляр рукописи. Я оставляю. Найдется когда-нибудь время — прочитаете.

— Не надо оставлять! — мотнул головой Симонов. — Не найдется времени. Заберите рукопись.

Это были не последние слова. Были еще какие-то слова, но какие, сколько ни напрягаюсь, ни всматриваюсь в тогдашнюю сцену, не могу вспомнить. Опять, как в эпизоде семидесятого года, возникает черная ниша.

Совершенно выпало из памяти, как прощались мы, проводил ли Симонов меня до дверей, перед глазами стоит только он, с поднятой, в отмашке, правой рукой, странно изменившийся в размерах, возможно, оттого что наклонился и во все время разговора так, не выпрямляясь, и стоял.

Вот эта поза его, с поднятой, в отмашке, правой рукой, и ярость, с которой он отверг предложение оставить у него рукопись, поразили меня поначалу больше, чем сам отказ. За минуту, за две до этого, когда сказал он, что нет на все времени, я сам нашел ему оправдание. Но теперь оправдание это потеряло смысл, потому что взять у автора рукопись, положить ее на полку или в ящик стола — для этого достаточно протянуть руку.

Я вышел на Ленинградский проспект. Был солнечный октябрьский день, вроде воротилось бабье лето, местами между желтыми листьями протянулись серебристые нити, внезапно при едва ощутимом дуновении ветра отдававшие синевой, какая бывает у натянутой стальной струны.

Рукопись «Двора» лежала у меня в портфеле. Она была в доме у Симонова. Теперь ее там нет. Я отчетливо услышал полос Симонова: «Не надо оставлять. Заберите рукопись!»

Был тысяча девятьсот семьдесят третий год.

В семьдесят шестом, в июне, я оставил Одессу, оставил Москву, два самых любимых моих города — два города — оставил землю, где я родился.

Незадолго до отъезда я позвонил Симонову:

— Константин Михайлович, я уезжаю.

Вопросов не было. Была только пауза, и вслед за ней слегка приглушенный грассирующий голос Симонова:

— Решили. Ну что ж... С Богом, пусть будет у вас все хорошо.

Три года спустя в Нью-Йорке, в последний день лета семьдесят девятого года, я прочитал, что 28 августа, на шестьдесят четвертом году жизни, в Москве скончался писатель Константин Симонов. В «Литературной газете» написали: «Неповторимая личность неповторимой эпохи». В газете «Нью-Йорк Таймс» написали: «Автор романа «Дни и ночи», ставшего американским бестселлером... Автор романа «Живые и мертвые», гневной и проникновенной книги... В 1968 году отказался подписать заявление в поддержку вторжения советского блока в Чехословакию».

ПЯТОЕ ЛИЦО УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ

К 125-летию со дня рождения

Живопись — это добрый приятель, с которым можно проделать большую часть путешествия по жизни... Это друг, чьи холсты, как экраны, отгораживают нас от завистливого глаза времени и неизбежного приближения смерти... Когда я вознесусь на небеса, я намерен значительную часть первого миллиона лет потратить на живопись, чтобы проникнуть в глубины этого предмета. Но тогда мне понадобятся куда более яркие краски, чем те, которыми я пользуюсь сейчас.

Уинстон Черчилль.

Уже на склоне лет сэр Уинстон признавался своему другу Джону Ротенштейну — тогдашнему директору лондонской галереи Тейт: «Если бы не живопись, я не смог бы жить; я бы не выдержал напряжение бытия». Творчество было для Черчилля своего рода психотерапией, уходом от сверхчеловеческого напряжения, которого требовала деятельность четырех других его ипостасей. Когда он выпадал из политической активности, а это не раз случалось в его карьере, когда на него наваливалась (по собственному его выражению) «черная собака меланхолии», Черчилль брал мольберт и отправлялся на природу, или в тиши кабинета писал рассказы, статьи, исторические сочинения, или просто выкладывал кирпичную ограду в своем саду. Им написано 50 книг, 1000 статей в газетах и журналах, он был удостоен Нобелевской премии по литературе, он был избран почетным членом Лондонской Королевской академии, и его картины выставлялись на ее ежегодных Летних выставках, вполне выдерживая конкуренцию с работами многих представленных здесь маститых академиков.

В своей книге «Живопись как досуг» Черчилль так описывает начало своего увлечения, которое уже не покидало его до конца жизни: «Когда в конце мая 1915 года я ушел из Адмиралтейства (в результате неудач на фронте)..., я оказался в положении человека, который знает все и не может ничего... Как рыбе, извлеченной из глубины, мне грозила опасность взорваться от внутреннего давления. В момент, когда всеми фибрами своего возбужденного существа я был готов к действию, мне приходилось быть

лишь зрителем жестокой трагедии, разыгрывающейся на фронте. И тогда мне во спасение пришла Муза Живописи... и сказала: «А может быть, вам придется по вкусу эти игрушки? Некоторых они забавляют». Черчиллю было тогда за сорок, и он понятия не имел о живописи. Тем не менее он купил мольбертик, кисти, набор красок и отправился на пейзаж. «Палитра сверкала пятнами красок, холст излучал чистоту и белизну, но девственная кисть, налитая тяжестью неотвратимости, в нерешительности повисла в воздухе. Моя рука казалась парализованной каким-то немимым запретом. Но, помимо всего прочего, небо в тот день было голубым, причем бледно-голубым, и не оставалось сомнений, что надо смешать голубую краску с белой и наложить смесь на верхнюю часть холста». А десять лет спустя, когда он послал на анонимный конкурс художников-любителей один из своих пейзажей, председатель жюри (сэр Джозеф Дювин) резко протестовал против присуждения первой премии, потому что считал, что картина слишком хороша для художника-любителя и что какой-то профессионал просто пытается подсунуть сюда свою работу.

Черчилль писал натюрморты, портреты друзей и — главное — пейзажи — виды тех мест, где он побывал за свою долгую жизнь: от юга Франции до Палестины и от Египта до йоркширских холмов. Все они сделаны в традиционной реалистической манере, но их отличает яркость и сочность живописи, обилие солнца и воздуха и — самое главное — здесь всегда присутствует точный глаз, схватывающий богатство мира, и уверенная рука мастера, способная перенести это богатство на полотно. «Как удивительно находить столько разнообразия в пейзаже... Как много оттенков на склонах холмов, как отличаются они в тенях и на освещенных местах; какими блестящими отражениями сверкает вода; каким нежным светом себрыются или золотятся контуры вещей, окрашенные в оттенки розового, оранжевого, зеленого, фиолетового... И как я мог прожить сорок лет, не замечая всего этого!». И если бы надо было описать картины самого Черчилля, то лучшие слова для этого трудно найти.

Политика и война поглощали большую часть жизни Черчилля. Но и там и здесь творческое начало было основой его побед и достижений. Чистый холст служил ему полем для решения стратегических задач, а поле битвы представлялось картиной, которую надо завершить. Художник и полководец руководствуются одними и теми же принципами: «Во всех сражениях две вещи требуются от главнокомандующего: создать общий план для армии и, во-вторых, обеспечить сильный резерв. Но обе эти вещи обязательны и для художника».

Как художник Черчилль не имел никаких амбиций. Когда в 1949 году на одном благотворительном аукционе его кар-

тину продали за солидную по тем временам сумму в 1500 фунтов, Черчилль, узнав о цене, отреагировал со свойственным ему юмором: «Какой вздор! На 70% это за мою дурную славу, на 20% это благотворительность, ну, а на 10%, надеюсь, за качество». Однако после войны цены на его картины пошли вверх и достигли потолка, когда недавно на аукционе Кристи один его пейзаж был продан за 180 тысяч фунтов. Дело тут, конечно, не в его «дурной славе» или в величии имени. Гитлер тоже был художником и в молодости даже зарабатывал на жизнь продажей своих картинок. Сейчас, говорят, его работу можно купить за три тысячи фунтов, а если бы не имя, они не стоила бы и тридцати. Как и немецкий диктатор, Черчилль тоже не любил модернизм: переусложненность и душевный надрыв были чужды его цельной натуре. Он восхищался Матиссом, но не понимал Пикассо, а когда увидел знаменитую картину Стенли Спенсера «Воскрешение из мертвых», реакция его была однозначной: «Ну, если это воскрешение, тогда я уж лучше буду спать вечным сном». Но в отличие от Гитлера Черчиллю и в голову не могла прийти идея административного вмешательства в творческий процесс. В 1947 году на торжественном заседании по случаю присуждения ему звания почетного члена Королевской академии художеств Черчилль в своей речи, кажется, единственный раз в жизни, изложил свои взгляды на соотношение искусства и политики: «Было бы слишком рискованным полагать, что какие бы то ни было меры регламентации совместимы с искусством... Без традиции искусство — стадо овец без пастуха. Без новаторства — это труп».

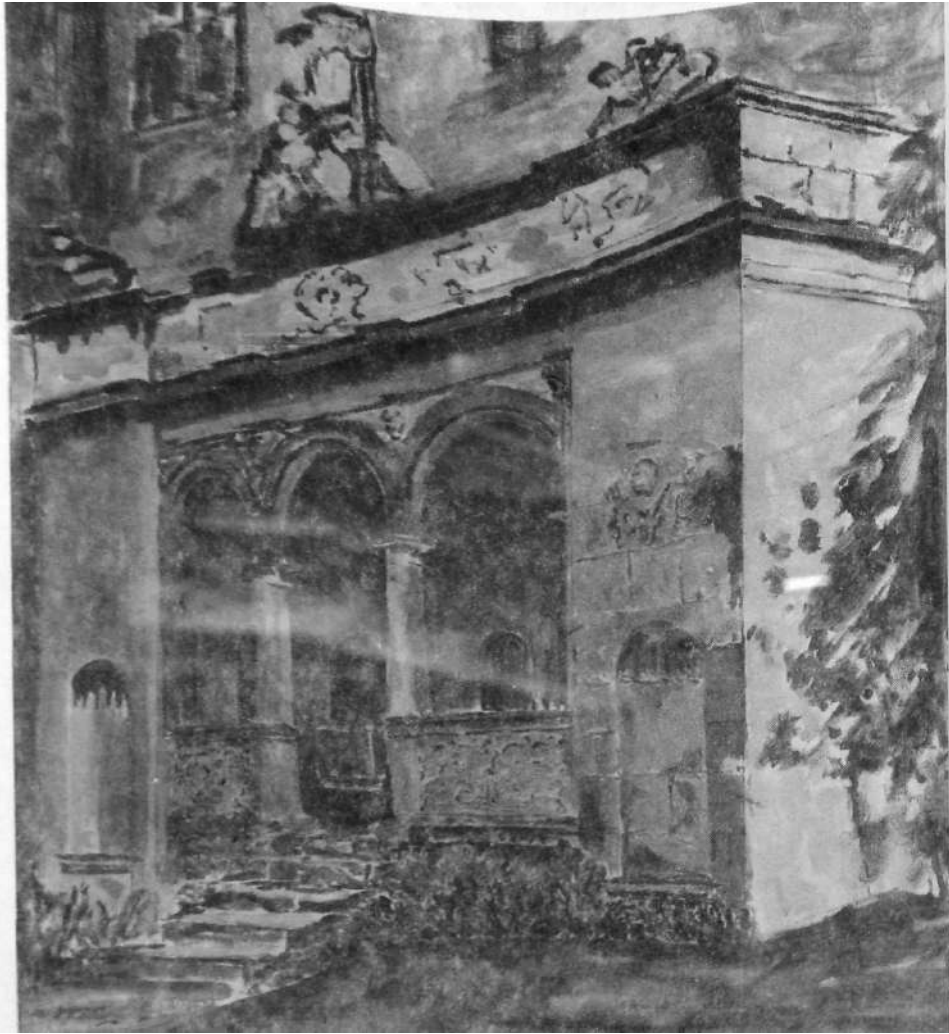
Влияние Черчилля на художественную жизнь Великобритании сводилось к нулю. Он не оставил после себя трактатов об управлении искусством, а только сотни картин и небольшую, но мудрую книгу «Искусство как досуг», написанную им в начале 20-х годов. По сути, это советы людям напряженного интеллектуального труда, как переключать свое сознание на совершенно иную область деятельности: «Подобно тому как человек протирает локти своего пиджака, он точно так же изнашивает определенные участки головного мозга их постоянным употреблением. Однако существует разница между живыми клетками мозга и неодушевленными предметами: вы не можете залатать дырку на локте, отрезав кусок от рукава; но усталые участки сознания могут восстановиться и укрепиться путем использования других его участков. Недостаточно просто выключить свет в пространстве ваших главных и повседневных интересов; надо осветить их другие области». И лучшим средством такого переключения Черчилль считал занятие живописью.

*И. Голомшток
Лондон*

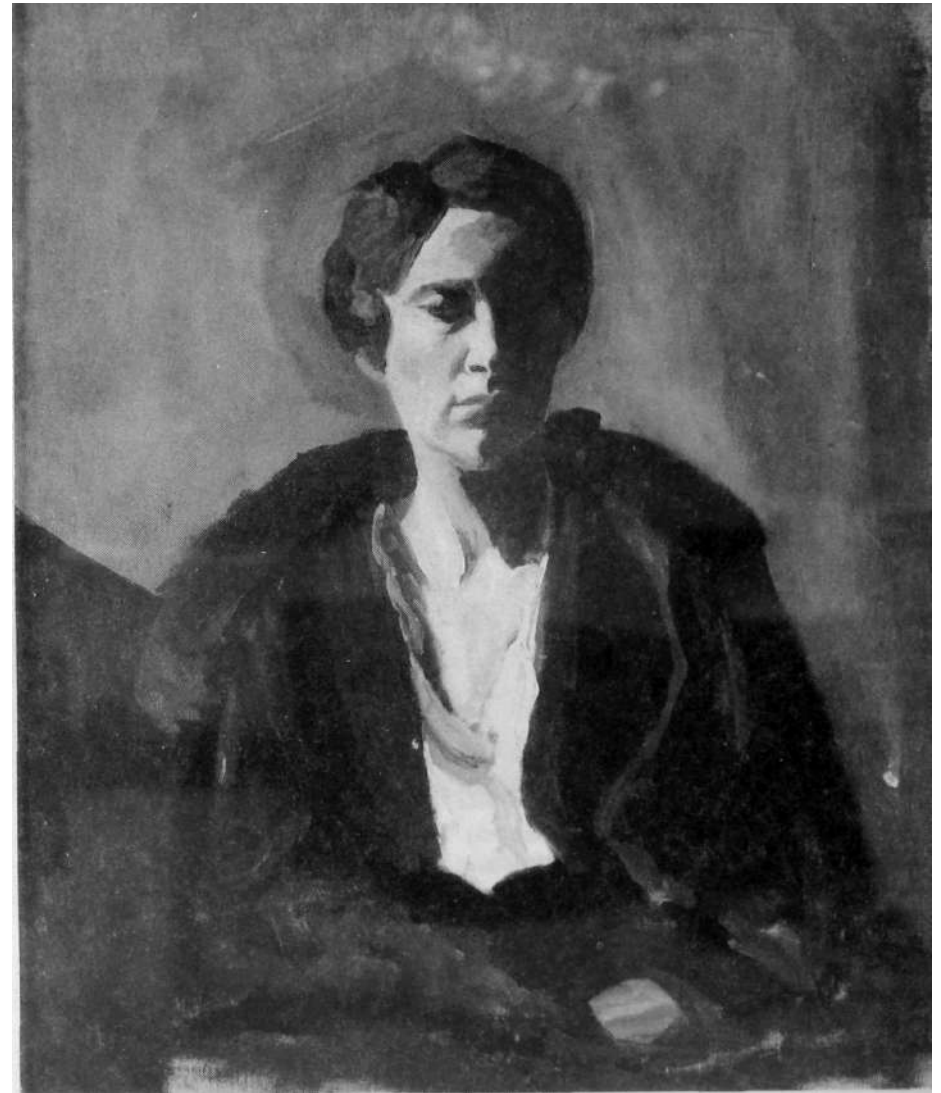


Уинстон Черчилль в своей мастерской, 1946 г.

290



Фасад усадьбы Кранборн, 1932 г
Масло, холст



Портрет Леди Черчилль. 20-е годы.
Масло, холст



**Вид на озеро, 1946-47 гг.
Масло, холст**



**Канал в Брюгге, 1946 г.
Масло, холст**



**Поднос с бутылками, 1932 г.
Масло, холст**



**В графстве Сари, начало 1920 гг.
Масло, холст**

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Борис ХАЗАНОВ (Геннадий Файбусович). Родился в 1928. После войны, будучи студентом МГУ, был арестован и провел восемь лет в сталинских лагерях. Писательская известность пришла к Борису Хазанову в середине семидесятых годов, когда в журнале «Время и мы» была опубликована его повесть «Час короля», присланная автором из Москвы. В 1982 году Борис Хазанов покинул Москву и поселился в Мюнхене, где в течение нескольких лет редактировал журнал «Страна и мир». Борис Хазанов — автор ряда книг, в том числе «Я Воскресение и Жизнь», «Запах звезд», «Миф-Россия» и др. В настоящее время постоянно выступает с художественной прозой и публицистикой, является автором «Литературной газеты» и других периодических изданий.

Борис Леонидович РАХМАНИН, родился в 1933 г. в г. Ленинград. Работал на заводе, и заочно учился в Литературном Институте в Москве, который закончил в 1961 году. Журналист, писатель, член пенОклуба. Автор более 10 книг поэзии и прозы, сценариев кинофильмов, пьес, по которым поставлены спектакли. Лауреат литературных премий.

Владимир ФРИДКИН. Доктор физико-математических наук, профессор, является сотрудником института кристаллографии РАН, также профессором университетов в Тренто (Италия) и в Линкольне (США). Российскому читателю известен как автор двух книг о Пушкине и его времени — «Пропавший дневник Пушкина», «Чемодан Клода Дантеса» и многих рассказов. На вопрос о том, как ему одновременно удается быть и физиком и лириком, В. М. Фридкин отвечает так: «Большинство людей использует только одно полушарие головного мозга, правое, ведающее искусством, или левое, отвечающее за рациональную сферу. Я выбрал более легкий путь, попеременно работая обеими».

Лариса МИЛЛЕР. Родилась и живет в Москве. Окончила Московский институт иностранных языков. Член Союза писателей России. Публиковаться начала с 60-х годов, но ее первый сборник стихов «Безымянный день» вышел в свет в 1977 году, а второй — «Земля и дом» — в 1986 году. Автор ряда стихотворных сборников, система-

тически публикуется в российских литературных журналах. В течение ряда лет Лариса Миллер преподавала и преподает английский язык, а также «Алексеевскую гимнастику» — пластическую систему, ведущую свое начало от Айседоры Дункан.

Наум БАСОВСКИЙ. Родился в 1937 году в Киеве. Окончил Киевский пединститут, работал учителем физики и математики в сельской школе на Украине. В 1962 г. переехал в Москву. Более четверти века работал в области технической акустики, окончил еще одно высшее учебное заведение — Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Автор более 30 научных статей и изобретений. Первая поэтическая публикация относится к 1977 году (журнал «Новый мир»). Печатался также в журналах «Нева», «Юность», «Студенческий меридиан», сборнике «День поэзии». В 1989 г. в Москве вышел сборник стихотворений и поэм «Письмо заказное». С февраля 1992 года живет в Израиле. Печатался в журналах «Алеф» и «22». Участник Международного фестиваля поэзии в Иерусалиме (1993).

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. Родился в 1933 году в Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Публиковался в журналах: «Юность», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и др. Автор книги «Песня скорбных душой», выпущенной в 1998 году издательством «Книжный сад». Автор слов песни «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой...»

Ирина МАШИНСКАЯ. Родилась в Москве. Окончила географический факультет МГУ. Эмигрировала в США в 1991 году. Работает учителем естествознания в средней школе.

Дмитрий БЫКОВ. Родился в Москве в 1967 г. Обозреватель еженедельника «Собеседник» и журнала «Столица». Лауреат призов Союза журналистов России, Москвы и премии журнала «Огонек». Поэт, автор двух сборников стихов: «Декларация независимости» (1992) и «Послание к юноше» (1994). Член Союза писателей. Печатался в «Литературной газете», «Искусстве кино», «Огоньке», «Экране и сцене», «Синтаксисе».

ДУБНОВ Вадим Павлович, род. 22.07.1962, г. Киев, журналист. В 1984 г. окончил факультет технической кибернетики Московского института инженеров железнодорожного транспорта, специальность — инженер-математик. С мая 1994-го года работает в журнале «Новое время».

Виктор ПЕРЕЛЬМАН. Издатель и главный редактор журнала «Время и мы». Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 год был обозревателем израильской газеты «Аль Гамишмар». В 1975 году основал журнал «Время и мы». В 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Покинута Россия» (удостоена второй премии Иерусалимского университета) и «Театр абсурда», романа «Грехопадение Цезаря».

Рабби Адин ШТЕЙНЗАЛЬЦ. Родился в 1937 году в Иерусалиме. Окончил Иерусалимский университет. В течение ряда лет преподавал в израильских школах. В последнее время — научный сотрудник института Ван Лир, руководитель отдела фундаментальных исследований еврейской культуры. Возглавляет работу по подготовке нового издания Талмуда.

Андрей НУЙКИН. Родился в 1931 году в Новосибирске. Закончил Новосибирский пединститут. Автор более девятинадцати книг и более пятисот газетных и журнальных статей, секретарь Союза писателей Москвы, член Комиссии по правам человека при президенте РФ. С 1993 по 1995 годы — депутат Государственной Думы (Комитет по образованию, культуре и науке).

Владимир ШЛЯПЕНТОХ. Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Стал известным в стране своими национальными опросами общественного мнения в 60 — 70-е годы. В эти годы он опубликовал около 10 книг и множество статей, в частности в «Литературной газете». В 1972 году эмигрировал в США, где стал одним из ведущих экспертов по России. В частности, на протяжении многих лет он консультирует американское правительство по проблемам России. Работая по вопросам социологии в Мичиганском государственном университете, он опубликовал за время деятельности в Америке 12 книг и десятки статей. Его статьи печатались в New York Times, Washington Post и других ведущих американских газетах.

Аркадий ЛЬВОВ. Писатель. Учился в Одесском университете. В 1946 году исключен с мотивировкой «За клевету

на советский народ и еврейский буржуазный национализм». Лишен был права продолжать учебу в высших учебных заведениях, в дальнейшем, однако, добился возможности закончить университет.

По окончании университета работал в средней школе преподавателем истории и русской литературы. Опубликовал в СССР шесть книг, кроме того в журналах, альманахах и газетах — более 200 рассказов, очерков и статей. В настоящее время живет в Нью-Йорке. После эмиграции вышло 12 книг, в том числе роман «Двор» (русское, французское и американское издание), американские рассказы, «Опыт исследования еврейской ментальности» (Бабель, Мандельштам, Багрицкий, Светлов и т. д.).



Был он интеллигентом в самом высоком смысле слова

Умер член нашей редколлегии Эдуард Штейн. Он долго и мучительно болел, но от того, что умер столь недавно, нет никакой возможности смириться с этим... Особенно мне, одному из ближайших его друзей. И к тому же человеку, которому он однажды полушутя сказал: «Послушай, если со мной что-нибудь стряется, ты напишешь обо мне некролог, договорились?».

...Стоял 1073 год. Я хорошо помню и день этот, и час, осенью, кажется, в ноябре или декабре,

когда в дверь нашего номера в израильском ульпане «Бейт Бродецкий» постучал, совсем еще молодой человек и, галантно раскланявшись, представился: «Не взыщите за вторжение, — профессор Эдуард Штейн из Соединенных Штатов. Зашел без определенной цели, потолковать о жизни...»

В какие-то несколько минут я о нем узнал все: что преподает он в Ейле, что он мастер по шахматам, что увлекается поэзией, что коллекционирует редкие книги. Господи! Чего только в жизни не изведет этот человек! За свои диссидентские взгляды сидел в польской тюрьме, был пресс-атташе Виктора Корчного, разъезжая с ним по всему миру, писал книги о шахматах и поэзии, преподавал русскую литературу в военной школе в Монтерее, был переводчиком в американских судах, от безденежья одно время ушел в сторожа, чуть не заделался почтальоном, выступал с лекциями в Санкт-Петербургском университете, почетным профессором которого был избран... А в последние годы стал крупнейшим собирателем поэзии русского рассеяния. Был он интеллигентом и книжником в самом высоком смысле этого слова, какие все реже попадают в наши дни, но уж если появляются, то оставляют после себя неизгладимый след. И не только в культуре. Он еще был великим жизнелюбом

и тончайшей души человеком, какие, возможно, только и встречаются один на тысячу. Вот только какими словами выразить его черты? Может вспомнить, как ее месяц перед своим концом он торжественно поклялся, что так просто не сдастся, что будет стоять до последнего. Так и сказал: «Да, да, до последнего!» Так и держался, приговоренный и поддерживаемый своей героической женой Ольгой как солдат, отдававший пядь за пядью свои ослабевшие позиции. И уже в самом конце обратился к моей жене: «Алла, вы же знаете, как я к вам отношусь, но скажите, я ведь тоже сделал кое-что для «Время и мы»! И тебе, великий, я тоже это говорю, — выразительно посмотрел он на меня. — Эх, умер редактор! Вот кто меня понимал!...» Редактором он называл нашего израильского пса Чарлика, которого встречал перед нашим приездом в Америку. Произнесено это было в его неповторимом, забавно-ерническом стиле, за которым легко угадывался его ломкий, тонко чувствующий характер. Что еще добавить к этой грустной, человеческой истории? О том, как мы жили, спорили, валяли дурака, а потом один из нас взял... и умер, а другой... Что другой? Что, скажите на милость, делать другому? Другой сидит и пишет о своем друге... некролог. Изводя себя тем, что ничего путного так и не сказал.

В.П.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

Ежемесячный журнал Союза русских писателей
в Германии

Postfach 800833

65929 Frankfurt am Main, Germany

Выходит с апреля 1998

ПРОЗА*ПОЭЗИЯ*ПУБЛИЦИСТИКА*ИСТОРИЯ
МЫ И ЛИТЕРАТУРА*ВОСПОМИНАНИЯ*
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГУЛКИ*АРХИВ*ЮМОР
ИСКУССТВО ПЕРЕВОДЫ*РЕЦЕНЗИИ
СТРАНИЦА РЕДАКТОРА*ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФОТО*РИСУНКИ

Издатель — Союз русских писателей в Германии

Редактор — *Владимир Батшев*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

единственный ежемесячный

литературный журнал в Европе

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

журнал не только русских писателей в Германии

и Европе, но и русских читателей в мире

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ

единственное независимое ни от кого издание,
которое издается сугубо на деньги подписчиков

ПОДПИСКА на 12 номеров с любого месяца

(с доставкой)

В США - 72 \$

Konto-Frankfurter Sparkasse: Verband russische
Schriftsteller 652482 BLZ 500 502 01

ВИССАРИОН СИСНЁВ

В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ

Роман



LIBERTY PUBLISHING HOUSE
NEW YORK • 1999

«Эта книга не автобиография в буквальном понимании, но безусловно автобиографическое повествование — в том смысле, какой придают этому понятию слова известного рассказа Хемингуэя. Его герой, умирающий писатель, вспоминает, как в молодости, женившись на девушке из высшего общества и попав в среду олигархии, говорил себе, что «он напишет об этих людях, о самых богатых; что он — не один из них, а соглядатай в их лагере; что однажды он покинет этот лагерь и напишет о нем, и это впервые будет сделано человеком, который знает то, о чем он пишет». А дальше — сожаления о том, что «сладкая жизнь» затянула, как тряпина, обезволила, не оставила решимости исполнить задуманное»...

В. Сиснёв

Виссарион Сиснёв дебютировал в 1961 г. в журнале «Юность». Впоследствии он стал постоянным автором «Нового мира», «Москвы» и многих других толстых журналов. Его повести и рассказы составили девять сборников.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 2000

Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки - 63 доллара, с целью экономической поддержки редакции - 69 долларов; для библиотек - 94 доллара.

Цена в розничной продаже - 19 долларов.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в адрес корпорации "Времяи мы" по следующему адресу:

49 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55

Подписной талон

фамилия.....
Имя.....
Адрес.....

Подписной период.....
Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы"
на.....год.
Высылать номера..... Журнал высылается обычной
(авиа) посылкой по адресу:

Подпись.....

Редакция оставляет за собой право давать в отдельных случаях скидки в размере до 50 % от стоимости подписки.

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

113303, Moscow, Kakhovka str., 6-26

(095) 3181046

**На первой странице обложки:
работа Вагрича Бахчаняна**

**На четвертой странице обложки:
Уинстон Черчилль "Лесное озеро"**

Отпечатано в ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6.
Заказ № 1377

